Новый Журнал



THE NEW REVIEW

Нью-Йорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1959.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Michael M. Karpovich, 44 Mount Pleasant St., Cambridge, Mass.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Michael M. Karpovich, 44 Mount Pleasant St., Cambridge, Mass.; Secretary, Alex Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semiweekly, and triweekly newspapers only).

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 14th day of October, 1959. Marie G. Maher, Notary Public, State of New York, No. 31-7667675, Qualified in New York County, Term Expires March 30, 1960.



М. М. Карпович †

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

Восемнадцатый год издания

КН. LVIII
1959

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, September, 1959
Quarterly, No. 58
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price $7. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

А. Керенский — М. М. Карпович 5
Г. В. Вернадский — М. М. Карпович. Памяти друга 9
Фируз Каземзаде — М. М. Карпович. Памяти учителя 12
М. Вишняк — М. М. Карпович — политик 15
Роман Гуль — М. М. Карпович — человек и редактор 24
М. Карпович — К друзьям и читателям «Нового Журнала» . 30
Из литературного наследства И. А. Бунина 32
Н. Берберова — Черная болезнь 34
Иван Елагин — Небо 83
Гайто Газданов — Судьба Саломеи 87

СТИХИ:

Георгий Иванов — Посмертный дневник (106), *А. Величковский* (121), *Ирина Одоевцева* (107), *Екатерина Таубер* (109) *Александр Туроверов* (82), *Николай Туроверов* (111), *Вл. Корвин-Пиотровский* (112), *Семен Лифтон* (114), *Юрий Трубецкой* (115).

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Ирина Одоевцева — О Николае Моршене 116
Вяч. Завалишин — Николай Заболоцкий 122
Георгий Адамович — О чем говорил Чехов 135

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

К. Ф. Штеппа — Ежовщина 143
Письма Марины Цветаевой к Роману Гулю 169

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Прот. В. Зеньковский — Памяти Гоголя 190
М. Вишняк — Ревизия социализма 205
М. Поливанов — Русский социализм и русское земство 216

БИБЛИОГРАФИЯ:

Н. С. Тимашев — The Soviet Citizen by A. Inkeles and R. A. Bauer. *Екатерина Таубер* — Роман Гуль. Азеф. *Зоя Юрьева* — С. В. Бенэ. Дьявол и Даниель Вебстер и др. рассказы. *М. Поливанов* — Проф. А. А. Боголепов. Церковь под властью коммунизма. *В. Булгакова* — Stanislavski's Legacy by Elizabeth Reynolds Hapgood. *В. Варшавский* — Воздушные пути. *Ирина Одоевцева* — Е. Рубисова. Нью Иорк. *К. Солнцев* — The Kilgour Collection of Russian Literature (1750—1920) 229

В издательский фонд «Нового Журнала» 254
Книги для отзыва 256
Указатель содержания 58-ми книг «Нового Журнала» (1942-59) 257

Printed by Rausen Bros. 142 East 32nd Street, New York 16, N. Y.

М. М. КАРПОВИЧ

М. М. Карпович скончался на 72-ом году жизни. Но о нашей тяжкой утрате нельзя сказать с примиряющей грустью: «почил, пресытившись днями своими...». Нет, он еще нужен был людям. А жажда его к жизни и работе для людей была неутолима. В последний раз я видел его, в Нью Хевэне, в мае этого года. Тяжкая болезнь уже отсчитывала ему последние месяцы жизни. А он с увлечением говорил, какую из предположенных книг он будет писать — первой; с удовлетворением рассказывал, что с осени приглашен вести семинар в Иэльском Университете; на столе же лежала только что вышедшая книжка «Нового Журнала» с его волнующей статьей о Е. Д. Кусковой. О болезни он говорил мало. Жаловался только, что «утомила» она его очень. — «Вот теперь едем в деревню к Д.; тишина, и люди они уютные; там наберусь сил к осени...». Осенью, 7-го ноября, его не стало.

Удивительная судьба была у Карповича. Он был, как будто, предназначен отдать все свои духовные, творческие силы на службу России *вне России,* за ее рубежом — в Соединенных Штатах Америки.

*

Еще в Тифлисе, в гимназии, он увлекся Историей. Время в России в 1904-1906 гг., когда Карпович был в старших классах, было предреволюционное, бурное, увлекавшее молодежь. Юнейший Карпович тоже захотел не изучать, а «делать историю» в подпольных революционных кружках (С-Р). Однако история «писанная» победила. Впрочем, в 1907-ом году студента Карповича опять потянуло в революционную среду, но ненадолго. В это время уже начинались пореволюционные, конституционные годы. Культурная молодежь, как пишет М. М. Карпович в одном из своих «Комментариев» в «Новом Журнале», в своем большинстве, интересуясь политикой и не впадая ни в какую «реакцию», с головой отдалась творческой работе в науке, литературе, искусстве. 1908-14 годы, вообще,

были временем необыкновенно быстрого хозяйственного, культурного и политического расцвета России. Этот эволюционный процесс (от конституционной к парламентарной монархии) был сорван катастрофической для нас войной, начавшейся 19-го июля 1914 года. Как раз весной этого рокового года, М. М. Карпович, блестяще сдав государственные экзамены в Московском Университете, был оставлен при нем по кафедре истории, лучшей тогда в России, и стал усиленно готовиться к магистерскому экзамену. Призыву в армию он не подлежал, как единственный сын в семье. В 1916-ом году, из-за чрезмерной убыли людей на фронте, эта привилегия была отменена. Карпович был призван в армию, но попал не на фронт, а в секретариат при Особом Совещании по Обороне.

Раз весной 1917-го года, — рассказывал Михаил Михайлович, — он встретился на Невском Проспекте с Б. А. Бахметевым. Они близко знали друг друга еще по Тифлису, где их семьи были знакомы домами. Товарищ министра Торговли и Промышленности во Временном Правительстве, Б. А. Бахметев только что получил назначение послом в Вашингтон. Он, тут же на улице, предложил молодому Карповичу ехать с ним в составе «чрезвычайной миссии» в Соединенные Штаты. Уезжать из России нужно было «на короткий срок», т. к. предполагалось, что миссия вернется в Петербург к Рождеству. Этим коротким сроком колебания Карповича были сразу устранены. Он согласился. Короткий срок оказался сроком на целую жизнь...

*

Свой путь жизни в США Карпович нашел не сразу, только после того как весной в 1924-ом году Российское Посольство было закрыто. За несколько лет жизни в Вашингтоне Карпович часто видел, что «русская политика» в США слишком зависит от меняющихся международных конъюнктур, от случайных и частно заинтересованных влияний; видел, что американское общественное мнение почти совсем не знает России и поэтому в текущих событиях там совершенно не разбираются, часто принимая легенды за факты, а факты за легенды.

После же первой мировой войны, когда Россия превратилась в тоталитарное государство, а США стали руководящей мировой демократической державой, туманное пятно в сознании американского общественного мнения на месте России нужно было в жизненных интересах обеих стран — уничтожить.

Этого сделать «со стороны» было нельзя. Нужно было создать внутри самих Соединенных Штатов ядро авторитетных людей, знающих прошлое и настоящее России. Для этого прежде всего нужно было подготовить для правильного понимания России студенческую молодежь — будущих педагогов и ученых, будущих дипломатов и государственных деятелей.

*

В 1927-ом году Карпович был приглашен в Харвардский Университет преподавать русскую историю. Опираясь на свой широкий исторический кругозор, на свое глубокое знание политической и духовной истории России[1], на свои исключительные способности педагога и на свой дар кратко, чётко и логически безупречно обосновывать свои положения, — опираясь на всё это, он открыл путь к познанию действительной, а не воображаемой России своим ученикам и создал целую новую школу американских историков, освоивших существо политико-социального и духовного развития нашей Родины.

Своих учеников Карпович любил, как своих духовных детей. Старался развить в них самостоятельность в толковании исторических фактов. Вообще всячески помогал каждому студенту в отдельности, не считаясь ни со своим временем, ни со своей занятостью. Об исключительном же трогательном отношении студентов к своему учителю и наставнику есть не совсем обычное свидетельство. Когда в прошлом году М. М. Карповичу исполнилось 70 лет, двадцать семь выдающихся его учеников, ставших уже профессорами, поднесли ему сборник своих очерков с посвящением: «Михаилу Карповичу в знак преклонения, любви и благодарности».

*

Университетская деятельность в жизни Карповича была только частью его службы России вне России. Эта служба требовала его участия в общественной и политической жизни русской эмиграции. Но в ней он занял свое собственное особое место. Его глубокое знание не только политической исто-

[1] За время своей работы в Харварде проф. М. М. Карпович проводил три курса: «Введение в историю России», «Русская Литература 19-го века» и «История идейных течений в России».

рии России, но и ее культурного и духовного развития, давно привело его к твердому выводу, что Россия, русский народ, обязательно преодолеет диктатуру. В прошлом году, «в эпоху Хрущева», он еще раз повторил этот свой вывод: «В том-то и заключается Немезида тоталитарного советского режима, что он не может ни подавить до конца естественных стремлений человеческой природы (к бытовой, хозяйственной и интеллектуальной свободе), ни дать им достаточное удовлетворение без риска разрушить свой собственный фундамент. В борьбе между тоталитарной утопией и человеческой природой — я готов сделать ставку на человеческую природу. Многим это вероятно покажется слишком неопределенным и проблематичным, но ведь и революция столь же, если не более, проблематична...».

Историк высказывает свои убеждения проблематично, во внешне смягченной форме, а политик делает это в форме категорической. Убеждение, высказанное в условной форме делает возможным некоторые соглашения между разномыслящими; выраженное же в категорической форме, разномыслящих разделяет еще больше. Карпович не мог быть «определенным», активным, политическим деятелем потому, что был по призванию историком. Но он не мог быть *только* историком потому, что его с ранней юности тянуло «делать историю», тянуло к политике. В условиях, в которых находится сейчас русская эмиграция, думал он, для реальной политической борьбы, которая требует точного разделения борющихся партий, нет места. Ее задача другая: сохранить внутри себя основные религиозные, интеллектуальные и культурные ценности, выношенные русским народом за долгие столетия и самой не выродиться в скопление безликих беженцев.

Вот эту задачу удержать эмиграцию на высоком культурно-духовном уровне, на котором уже стояла Россия перед войной 1914-го года, сохранить в ней на будущее основы этой культуры, эту задачу и преследовал Карпович, и в этом была его служба России; и поэтому он занял в эмигрантской среде такое особое место. В конце концов, вся деятельность Карповича и в Харварде и в русском обществе вдохновлялась стремлением утвердить в сознании людей величайшую сверхнациональную ценность — неприкосновенность свободы творческой, человеческой личности.

А. Керенский

12 ноября 1959 г.
Станфорд

М. М. КАРПОВИЧ

ПАМЯТИ ДРУГА

Мы встретились больше полувека тому назад — студентами историко-филологического факультета Московского Университета. Вместе слушали Ключевского, работали в семинарах Богословского, Петрушевского, Савина. Вместе принимали участие в студенческой общественной жизни. С тех пор близкая, спаянная общим интересом к русской истории дружба установилась у нас на всю жизнь.

М. М. Карпович приехал в Соединенные Штаты в 1917 году — на десять лет раньше меня, но преподавание русской истории в Америке мы начали почти одновременно. Он был приглашен в Гарвардский Университет весной 1927 г., а я в Йельский Университет осенью того же года.

Михаил Михайлович преподавал русскую историю в Гарвардском Университете в течение 30 лет. Его коллеги по историческому департаменту говорили мне, что он считался лучшим лектором в департаменте. Курсы его всегда привлекали большое количество студентов. Для студентов, желавших специализироваться по русской истории, Михаил Михайлович был вдумчивым и вдохновляющим руководителем. Из его семинара по русской истории вышел ряд профессоров русской истории, ныне преподающих в различных американских университетах. (См. ниже статью его ученика, профессора Фируза Каземзаде «Памяти учителя»). Помимо преподавания, М. М. принимал деятельное участие в заседаниях исторического департамента и его комиссий и вдобавок в течение пяти лет состоял председателем Славянского департамента (1949-1954). Кроме того его постоянно приглашали читать лекции в других американских университетах.

Такая тяжелая академическая нагрузка уже сама по себе оставляла ему мало времени как для его собственной исследовательской работы, так и для писания исторических трудов. К этому надо прибавить деятельность Михаила Михайловича как редактора «Нового Журнала», его участие в различных просветительных русских организациях Нью Йорка, и его

всегдашнюю готовность читать доклады и лекции для поддержки этих организаций.

Михаил Михайлович делал всё это не только по любви к русской культуре, и по чувству долга, но и по внутреннему влечению. От природы исключительно общительный и живой, наделенный богатыми душевными дарами, он всегда стремился к живому общению с окружающими. К тому же, при его необыкновенной доброте он никому не был способен отказывать, и только уж в последние годы, будучи тяжко болен, вынужден был ограничить свои поездки в Нью Йорк.

При таких условиях Михаилу Михайловичу трудно было сосредоточиться на писании. Приходится удивляться тому, что он всё же успел многое сделать в этом отношении. В 1932 г. он издал превосходную книжку «Императорская Россия», а несколько лет спустя написал отдел о России в коллективной «Экономической Истории Европы» (то и другое по-английски). Напечатал и несколько ценных статей по русской истории. В 1956 г. слушатели курса Михаила Михайловича об умственных течениях в России XIX века записали эти его лекции стенографически. Михаил Михайлович начал подготовлять курс к печати, но не успел закончить обработку стенограммы. Можно надеяться, что книга эта будет издана в недалеком будущем.

В конце 1930-х годов, ввиду всё растущего в Америке интереса к России и введения преподавания русской истории во многих американских университетах, мы с Михаилом Михайловичем нашли своевременным предпринять издание подробного курса русской истории в десяти томах. К этому предприятию отнесся с живым интересом бывший русский посол в Америке Б. А. Бахметев (в качестве секретаря которого М. М. приехал в Соединенные Штаты в 1917 году). Бахметев обеспечил и финансовую поддержку издания через посредство Юманитис Фонд в Нью Йорке. Йельское университетское издательство согласилось осуществить это дело. К настоящему времени изданы первые четыре тома этой серии. Михаил Михайлович взял на себя написать последние четыре тома серии — Россия в XIX и XX веках. По изложенным выше причинам Михаил Михайлович вынужден был всё время откладывать работу над этими томами.

Прошлой зимой (1958-1959) Михаил Михайлович был уже в тисках тяжелой болезни. Только силой духа он её преодолевал. Он так загорался при встрече с интересными для

него людьми и при разговорах на живые для него темы, что многие, не знавшие о его физическом состоянии, не подозревали как серьезно он болен. И несмотря на болезнь М. М. решил приступить к обдумыванию и подготовке одного из предположенных им томов, начав с того тома, который должен был быть посвящен думскому периоду. Написать этот том ему уже не было суждено. Горько думать об этом, так как это была бы проникновенная книга исключительной ценности и широты кругозора. Но конечно достижения Михаила Михайловича и без того имеют очень большое значение для распространения как среди американцев, так и среди русских знания русской истории и понимания русской культуры.

В последний раз я видел Михаила Михайловича в живых недели за две до его кончины в туберкулезной санатории в Кембридже. Он меня узнал, но разговор его был уже большей частью бредовой, только с минутами просветления. В одну из таких минут он сказал: «Всё хорошо. Я всем доволен. Как-нибудь я засну, а потом проснусь и узнаю, что жизнь кончилась». Видимо в эту минуту он был уверен, что после жизни придет пробуждение.

Г. В. Вернадский

М. М. КАРПОВИЧ

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

С 1927 по 1957 год Михаил Михайлович Карпович преподавал в Гарвардском университете, занимая посты лектора, доцента, профессора и заведующего отделением славянской словесности. За эти тридцать лет тысячи студентов прослушали его лекции по общей истории Европы, по русской истории, по истории русской культуры и по русской литературе.

В лекциях Михаила Михайловича, каждая из которых была произведением искусства, богатство материала замечательно сочеталось с тонкостью анализа и совершенством формы. Прекрасное знание английского языка и умение пользоваться словом придавали его лекциям редкий блеск. Он умел в нескольких словах выразить сущность целой эпохи. Труднейшие исторические вопросы разрешались им с легкостью, свидетельствовавшей о глубине его знаний и неподражаемом мастерстве. Полузабытые события, личности, покрытые туманом веков, герои и злодеи, движения человеческой мысли и государственные учреждения, дипломатия и войны оживали в его ярком и талантливом изложении. Он умел захватить свою аудиторию, перенести ее в прошлое, открыть ей смысл событий, установить цепь причин и последствий. Он заражал слушателей своим энтузиазмом, возбуждая в них жажду знаний и желание понять исторический процесс.

Михаил Михайлович любил Россию. Близкое знакомство с Западом и Востоком не охладило его чувства к родной стране. Но чувство никогда не ослепляло его. Он брал русскую историю целиком, с ее темными и светлыми сторонами. Он не принадлежал к тем историкам, которые претендуют воспроизводить прошлое с объективностью бездушной машины. Михаил Михайлович не скрывал этических позиций, с которых он оценивал людей, движения и события. Эта добросовестность, это откровенное выражение своих моральных предпосылок давали его лекциям полную человеческую объективность. Политическая атмосфера, в которой он жил, преходящие вкусы среды и научные моды никогда не могли подчинить его своему

влиянию. Слушатели быстро понимали, что профессор Карпович не пропагандист, не апологет какой-нибудь политической системы, проникались доверием к нему и глубоко ценили его беспристрастность.

Обладая твердыми убеждениями, Михаил Михайлович никогда не навязывал их своим ученикам. Прирожденный такт и уважение к человеку делали его прекрасным собеседником и справедливым критиком.

Для Михаила Михайловича преподавание не было побочным продуктом научной деятельности. Работа исследователя и работа педагога составляли для него одно нераздельное целое. Иногда даже казалось, что он получал большее удовлетворение от научных достижений своих учеников, чем от публикации своих собственных трудов. В этом ярко проявлялись его альтруизм и бескорыстие.

Особенно много времени и внимания Михаил Михайлович уделял работавшим под его руководством аспирантам. Он щедро дарил им из сокровищ своих знаний, тактично, но твердо исправлял их ошибки и всегда подавал им пример честного и непредвзятого подхода к истории.

За тридцать лет работы в Гарварде Михаил Михайлович создал целую школу американских историков России. Ими уже напечатаны десятки книг по самым разнообразным вопросам русской истории. В 1957 году, когда Михаил Михайлович вышел в отставку, его ученики посвятили и преподнесли ему сборник статей, озаглавленный «Русская мысль и политика». Разнообразие тем свидетельствовало о широте интересов, а различные точки зрения говорили яснее всяких слов, что Михаил Михайлович никогда никому не навязывал своих взглядов, а, напротив, поощрял в своих учениках свободную, нескованную мысль.

Между Михаилом Михайловичем и его аспирантами всегда устанавливались дружеские отношения. Его не только ценили как ученого, но и любили как близкого человека. Глубокое уважение, сознание его превосходства в знаниях смягчались чисто личным чувством, почти что сыновней нежностью. В своем кругу они звали его ласкательным именем «Карпи» и гордились, что принадлежат к тесному собратству его учеников.

Сам Михаил Михайлович говорил шутя, что он чувствует себя императором, чьи многочисленные вассалы правят разны-

ми странами. Сейчас его ученики преподают более чем в двадцати университетах и колледжах, среди которых такие ведущие учреждения, как Гарвардский, Иельский, Калифорнийский и Чикагский университеты.

В сердцах его учеников светлая память о Михаиле Михайловиче, историке, учителе, друге — не померкнет никогда.

Фируз Каземзаде

М. М. КАРПОВИЧ — ПОЛИТИК

Говорят, нет незаменимых людей, а только — легче и быстрее заменимые и заменимые с трудом и медленнее. Бывают, однако, исключения. Незаменимы гении — Пушкин, Толстой, Герцен, Мусоргский, Шаляпин, — каждый на свой лад. И особые обстоятельства иногда делают определенных лиц незаменимыми. Так условия, в которых оказалась за 42 года русская эмиграция, сделали Михаила Михайловича Карповича совершенно незаменимым.

Не будем говорить, кем был М. М. и кем останется в памяти своих близких, родных и друзей. Он совершенно незаменим, конечно, в «Новом Журнале», с которым был связан с 1943 года (с 5-ой книги), а единоличным руководителем коего стал с 1946 г. (с 14-ой книги), после смерти М. О. Цетлина и фактического ухода из редакции М. А. Алданова. М. М. Карпович будет незаменим и в ряде других литературных, научных, общественных, благотворительных учреждений, русских и американских, в работе которых активно участвовал, как «муж совета», лектор, авторитетный эксперт.

Несравнимое ни с чьим положение М. М. в русской эмиграции за последние, скажем, 15 лет объясняется в первую очередь его личными качествами, его *благожелательным* отношением ко всем — к первому встречному так же, как к старому приятелю, к человеку с именем, как к лицу, ничем не выдающемуся. От М. М. исходила именно благожелательность, а не благодушие, прикрывающее порой безразличие. В каждом М. М. предполагал доброе, пока не доказано обратное, и сомнение толковал в благоприятную сторону. Ему гораздо легче было сказать «да», нежели «нет», — которое всегда смягчал всякого рода оговорками. Это, естественно, вызывало встречный отклик и располагало к М. М., — не думаю, чтобы у него были недоброжелатели, если не считать коммунистов и крайних правых. «Карпович» стал адресом, по которому

обращались с просьбами со всех сторон по разным делам, личным и общественным, серьезным и мелким.

М. М-чу было отпущено много даров. Он был замечательный, первоклассный лектор и преподаватель; незаурядный ученый; и писал он отлично на самые разнообразные темы — как историк, публицист, литературовед. Он был превосходный и внимательный редактор. От него не могли укрыться «неувязки» авторов и он умел ладить с сотрудниками. Из многих даров одним из самых важных — и редких среди русских интеллигентов — было чувство равновесия и меры, с которыми Карпович взвешивал факты и расценивал доводы, свои и чужие. Это позволяло ему согласовывать и примирять взгляды, сближать и мирить людей.

Мне приходилось присутствовать при том, как мнение М. М. не только примиряло, но полностью удовлетворяло стороны, державшиеся, казалось бы, противоположных взглядов. И дело тут было не только в удачной формулировке, которую можно растянуть, как резину, в разные стороны. Дело было и не в механическом отсечении крайностей. Дело было в уравновешенном, всестороннем, реалистическом и ответственном учете вопроса и спора в целом.

М. М. имел, конечно, свои убеждения, которые защищал и отстаивал, но — не безапелляционно, как истину непогрешимую, единственную и абсолютную. Он приветствовал и поиски других, хотя бы частичной и относительной истины. Собственные свои статьи он неизменно сопровождал оговорками: о «неизбежном субъективном восприятии», «насколько я знаю», «боюсь, что ничего нового и оригинального сказать не могу», — хотя и старое, и известное М. М. освещал все-таки по-своему. Это не было ни равнодушным отношением к истине, ни эклектизмом или, того хуже, оппортунизмом. Это была терпимость к чужим мнениям, заблуждениям и ошибкам. Он никогда не требовал, а — предлагал и облекал свои предложения в такую форму, что они доходили до оппонента не задевая его.

Личные данные как бы предназначали Карповича к роли *посредника* и *объединителя*. Приобретенные же с годами признание и авторитет сделали его и *арбитром*, на которого можно положиться и чье суждение трудно оспорить. Личным свойствам, психологии, пришла на помощь и «идеология» М. М., или его взгляд на исторический процесс и политические события.

***

Уже 15 лет назад огорчался М. М.: «Иногда даже не удается письма порядочного написать — не то что книгу... Сейчас прямо задыхаюсь в спешке» (16.XI.44). И он неизменно отклонял предложение отложить в сторону второстепенное и заняться «вечными темами русской историографии», которыми «по обстоятельствам времени и места» никто другой заняться не может.

К М. М. Карповичу приложимы слова, которыми он начинает статью «П. Н. Милюков как историк»: «Если бы не та огромная роль, которую он сыграл в общественно-политической жизни русской эмиграции, можно было бы выразить сожаление о том, что политика отняла его у исторической науки. Впрочем, я должен сразу же оговориться: 'отняла' в данном случае не совсем точное слово». И на самом деле Карпович, как Милюков, «на протяжении всей своей жизни не только сохранил интерес к проблемам русской истории, не только не переставал пристально следить за исторической литературой, но и сам продолжал время от времени печатать работы на исторические темы».

Полностью приложима к М. М. и его характеристика отношения Милюкова к вопросу о сходстве и различии русского исторического процесса от истории других европейских стран. Карповичу, как Милюкову, чужды были обе крайности: сходство, доводимое до тождества, и своеобразие, достигавшее степени исключительности и несравнимости. Карпович занимал промежуточную позицию: «строил русский исторический процесс на синтезе обеих черт — сходства и своеобразия», как говорил о себе Милюков.

Огорчительно, что М. М-чу не удалось осуществить свои научно-литературные планы и, в частности, систематизировать взгляды на историю как науку и жизненный процесс. Однако, в статьях его здесь и там разбросаны отдельные высказывания по этим вопросам. Из них прежде всего следует, что история для М. М. Карповича не отвлеченная категория и не архаическая дисциплина, а непосредственно связанная с жизнью и современностью. События, протекавшие в «личном времени», по выражению М. М., личный жизненный опыт он считал необходимым осознать в перспективе «времени исторического». В этом одна из причин, почему исторические суждения М. М. часто переплетаются с суждениями морально-политическими.

Не разделял М. М. и другой крайности — «очень распространенной во второй половине прошлого века, да и сейчас еще имеющей достаточно много приверженцев», — что история царство необходимости и что история господство одного только случая. Он не уставал повторять, что не приемлет исторического детерминизма, которому присваивали абсолютный характер и в который «совершенно незаконно» вносили телеологию не провиденциального, а материалистического характера. И такой истории, «не руководимой ни провидением, ни мировым разумом, ни человеческой волей, приписывали цели, и притом самые благие». М. М. напоминал, что Герцен еще сто лет назад восставал против такого «антропоморфизма», утверждая, что «история пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу дверей».

«Очень часто историки признают неизбежным просто то, что произошло», пишет М. М., «а от признания неизбежности легко переходят к утверждению благотворности совершившегося». Такое «фактопоклонство» М. М. отвергает и противоядием ему считает не обычную апелляцию к «суду будущего историка», — что его «особенно не беспокоит». Гораздо важнее суда истории для Карповича «суд *над* историей». Как и для «историков свободных стран», для М. М. история — «сфера относительной свободы и относительной необходимости». Не существует «закономерности исторического процесса», как и не господствует в истории только случай. Но существует «какая-то преемственность времен» или взаимозависимость между событиями, и человеческий разум и человеческая воля могут вносить цели и смысл в стихийный исторический процесс.

Отрицая монистическое толкование истории, М. М. считал, что историческое событие происходит «в результате совпадения в одном пункте» действия многих факторов, иногда очень разнородных по своему характеру. Так, говоря о «большой или всенародной» революции, М. М. пишет: «Ни политические партии без поддержки трудящихся, ни трудящиеся массы без руководства политических партий, ни интеллигенция без народа, ни народ без интеллигенции, ни общественное мнение без физической силы, ни физическая сила без общественного мнения, — сами по себе победить в такой революции не могут и фактически никогда не побеждали».

Так было и с русскими революциями 1905 и 1917 гг. «Февральская революция была одновременно случайна и неслучайна. Случайна по тем конкретным обстоятельствам, в которых она протекала, и не случайна по своим историческим корням

и своему смыслу. Её могло бы и не быть, если бы обстоятельства сложились иначе. Но вместе с тем она была завершением всего русского освободительного движения и воплощением стремлений русского народа к свободе и социальной справедливости». М. М. отвергает мнение, будто «при русском историческом наследии и в условиях, созданных войной, задача эта (задержать революцию в определенных границах) вообще была неразрешима и Февраль был обречен на поражение». Отказываясь и в данном случае стать на позицию абсолютного детерминизма, М. М. соглашается с тем, что такое мнение логически ведет к историческому оправданию Октября. «Несмотря на все трудности, созданные и русским прошлым, и войной, торжество большевизма всё-таки не было неизбежным. Как известно, не считал его неизбежным и сам Ленин».

М. М. отрицает, что «при оценке исторических явлений можно говорить только о причинах, но никак не о чьей-либо вине. Всякая историческая оценка неизбежно включает в себя элемент нравственного суждения, и историки, провозглашающие свою полную объективность, такое суждение тоже выносят — только делают это контрабандным путем, часто сами того не сознавая». Оставаясь историком, Карпович утверждает свое право и на «моральную оценку исторических деятелей. Но есть всё-таки разница между судом историческим и судом уголовным так же, как есть разница между покаянием, актом глубоко-личным и интимным, и коллективным обсуждением общенациональной трагедии».

В этой последней «все виноваты: и народ, и интеллигенция, и старый режим, и Временное Правительство, и правые, и левые, и социалисты, и либералы (не говоря уже о большевиках, которые, конечно, в первую очередь 'виноваты в большевизме'!). На таком общем утверждении остановиться, однако, нельзя. В каждом отдельном случае ошибки должны быть уточнены, как должна быть с возможной точностью определена и мера индивидуальной или групповой ответственности».

Тут от исторических взглядов М. М. Карповича прямой переход к его политической установке.

**
*

Как известно, в юные годы М. М. Карпович отдал дань революции. 16-19-летним гимназистом в Тифлисе и студентом в Москве состоял он членом партии социалистов-революционеров, подвергся аресту и высылке из пределов кавказского

наместничества. Вместе со всем поколением, примкнувшим к революции на ее подъеме, в 1904-05 году, М. М. от нее отошел во время ее спада в 1907 г. Была, однако, при этом черта, которая оставила след на всей последующей его жизни и о которой М. М. вспоминает в таких выражениях: «Если от революции мы и отошли, то без всякого 'ренегатства', без проклятий по ее адресу, без переходов в стан врагов, без утраты нашего свободолюбия. Не было у нас ни полного ухода от политики, ни равнодушия к общественности. Правда, политика уже не играла в нашей жизни той исключительной, всеподавляющей роли, какую для многих из нас она играла в революционные годы. Но ведь освобождение от этой монополии политических интересов и эмоций не означает еще бегства от жизни».

Политически М. М. Карповича можно определить, как беспартийного демократа, сторонника «всё более социально окрашенного» либерализма, имевшего близких друзей и в социалистическом лагере. Свой «пафос либерализма» М. М. понимал «не как политическую или экономическую программу («манчестерство»), а как общественную философию», как «пафос свободы и свободы личности — в первую очередь». Более чем когда-либо, писал он, в наш «жестокий век» нужен подлинный либерализм, который бы снова «восславил свободу». В свое время Токвиль был озабочен тем, чтобы «либерализировать» политическую демократию. С тех пор прибавилась и другая задача, утверждал Карпович, — «либерализировать» демократию социальную.

М. М. чрезвычайно высоко ставил лидеров русского либерализма, П. Н. Милюкова и В. А. Маклакова, почти постоянно находившихся в оппозиции друг к другу, доходившей порою до прямого конфликта. Политическую философию Маклакова М. М. характеризовал, как «философию компромисса», и явно ей сочувствовал. «В русском либерализме были люди, идеал которых выражался словами 'правовое государство' гораздо лучше, чем 'народное волеизъявление' и 'политическая свобода'. Наряду с 'рыцарями свободы' и 'рыцарями социальной справедливости', они были 'рыцарями законности' — законности понимаемой прежде всего как защита интересов отдельной человеческой личности». К этому он прибавлял: «в русском политическом (да и не только политическом) языке слово 'компромисс' давно приобрело дурной оттенок. 'Он ни на какие компромиссы не пойдет' звучит для русского уха как высочайшая похвала общественному или политическому деятелю... По-англий-

ски, для англичан и для американцев одинаково, 'неспособность к компромиссу' чаще всего есть порок, связанный с нетерпимостью, с догматизмом, с отсутствием чувства реальности — и с непониманием сущности демократии».

М. М. не раз возвращался к поискам истоков «нашей национальной трагедии», — к тому, что вызвало Февраль и привело к Октябрю. Он рисует такую схему: «Неустойчивость русского государственного и общественного строя делала революцию, при неблагоприятных условиях, *возможной*. Война превратила эту возможность в *вероятность*. И только возникший во время войны острый политический кризис сделал революцию в конечном счете *неизбежной*. А за этот политический кризис ответственность лежала целиком на близорукой, более того — безумной политике власти». К этому заключению М. М. пришел, опираясь на то, что «большинство оппозиции не только не хотело революции, но было озабочено тем, как бы ее предотвратить». Когда началась война, трудовая группа в Государственной Думе, устами А. Ф. Керенского, обратилась к народу с призывом отложить дело внутреннего освобождения страны до освобождения от врага внешнего. Власть отнеслась безучастно не только к этому призыву с левых скамей. Она оставалась глухой и ко всем последующим предостережениям, исходившим от членов Государственного Совета, от Совета Объединенного Дворянства, даже от членов императорской фамилии.

С другой стороны, — «в крушении Февраля повинны не только внешние обстоятельства, но и человеческие действия». Ответственно, конечно, Временное Правительство, но не одно оно, — а вся русская демократия. «И по своему происхождению, и по своей структуре, и в силу ограниченных пределов *фактической* своей власти, Временное Правительство не было и не могло быть самодовлеющим фактором, — хотя бы даже в той мере, в какой, на свою беду и на беду России, пыталось быть царское правительство предреволюционного времени». Требовалось не только предельное напряжение воли и разума правительства, но еще и гораздо бóльшее сплочение и единодушие всей русской демократии. «Если это совершенно необходимое единство достигнуто не было, то виною тому явились некоторые пороки русской демократической психологии, анахронические пережитки эпохи подпольной революционной борьбы с самодержавием. Сюда можно отнести и настойчивое противопоставление 'революционной' демократии 'цензовой' или 'буржуазной', и органическое недоверие к го-

сударственной власти, сказавшееся в пресловутой формуле 'постольку — поскольку', и заботу об 'углублении революции', и преувеличение страха перед возможностью контр-революции справа... Если бы она (русская демократия) тогда действовала как единое целое, если бы все демократические партии безоговорочно сплотились вокруг Временного Правительства, если бы они все вели решительную борьбу с максималистскими тенденциями, как в своей собственной среде, так и в народных массах, — то шансы на преодоление большевистской опасности и на спасение России от катастрофы несомненно возросли бы во много раз».

Это свое понимание М. М. противополагает «концепции русских событий 1917 г., которая распространена среди эмигрантских противников и обличителей Февраля и которая может быть сведена к следующим положениям: — в предреволюционное время Россия благоденствовала и для революции никаких оснований не было. К революции стремились и ее старались устроить только левые интеллигенты — либералы, демократы, социалисты. В феврале 1917 г., воспользовавшись трудностями военного времени, они ее и устроили. Но, получив власть в свои руки, они обнаружили полную неспособность и неподготовленность к государственному управлению и погубили Россию».

М. М. решительно с этим не согласен и приводит множество фактов, опровергающих эту «концепцию». Он считает, что «февральская революция была для России периодом всестороннего и общенационального освобождения... Она завершала долгий и трудный процесс русского раскрепощения — завершала дело, начатое освобождением крестьян и продолженное конституционными реформами начала века. Только она, сделав возможным восстановление патриаршества, принесла с собою конец тому 'вавилонскому пленению' русской церкви, о котором в свое время писал Достоевский... В отрицательных явлениях недостатка не было, но было и нечто другое и более существенное».

Не все, конечно, разделят установку М. М. Карповича, его суд над «текущей историей». Труднее будет оспорить его общий «суд над историей». Тут он говорит: «Человеческая история полна неудач, но далеко не все из них оказались творчески бесплодными. В истории не бывает ни окончательных побед, ни окончательных поражений, и в ходе времени иная победа может обернуться поражением, а поражение превратиться в победу. И это относится особенно к революциям

крупного масштаба. Непреложных законов в истории нет... Но тем не менее в общем развитии различных революций всё-таки можно установить некоторую закономерность, основанную на относительном постоянстве психологической их основы — человеческая природа, если и меняется, то чрезвычайно медленно... В исторической перспективе победившие в революции (английской и французской) оказались побежденными, а потерпевшие поражение — победителями. И произошло это потому, что то, чего добивались и чего не могли добиться революционные 'неудачники', по существу отвечало назревшим народным потребностям и, в этом смысле, было поставлено историей на очередь.

Таким же рисуется мне и будущее Февраля. И потому я думаю, что хоронить его еще рано... Человеческую природу даже и тоталитарному режиму изменить не удалось — и прежде всего не удалось искоренить в человеке стремление к свободе и справедливости».

Так думал и так политически верил М. М. Карпович, пронеся эти думы и веру сквозь мрак и невзгоды долголетнего эмигрантского существования. Все его труды и дни, как историка и как политического деятеля, озарял образ России, бывшей и будущей. Для русской эмиграции он был и останется незаменимым — навсегда связанным с ее историей.

М. Вишняк

М. М. КАРПОВИЧ — ЧЕЛОВЕК И РЕДАКТОР

Я не знаю, удастся ли мне сказать о Михаиле Михайловиче так, как хотелось бы. Но я твердо знаю, как *не надо* писать и говорить о М. М.: не надо писать преувеличенно или излишне чувствительно. Всего этого М. М. не любил. И никогда не писал так об ушедших близких ему людях. Я думаю, и о М. М. нужно писать просто и правдиво. М. М. любил простоту и в литературе и в отношениях с людьми. И очень не любил какие бы то ни было ходули, излишества, преувеличения.

Я не могу назвать себя близким другом М. М., но мы были с ним хороши. Познакомились мы сначала по переписке после войны, в конце 1945 года. Тогда я из Парижа послал ему для «Нового Журнала» рукопись «Коня Рыжего». М. М. ее одобрил, ответил, и у нас завязалась переписка. Но встретился я с М. М. только в 1950 году в Нью Йорке на собрании сотрудников «Нового Журнала». А с 1952 года стал секретарем редакции.

За семь лет мы виделись с М. М. часто и переписывались много, потому что он постоянно жил в Кэмбридже, а я в Нью Йорке, и то и дело «перезванивались» по телефону. В моем архиве множество писем М. М., в большинстве длинных и интересных, страниц по 10-15 его мелкого почерка. За эти годы непрерывного общения с М. М., мне кажется, я составил себе ясное представление о нем, как о человеке и, в частности, как о редакторе.

Некоторые некрологи, появившиеся в русской печати, были написаны, конечно, с самыми добрыми чувствами, но пишущие невольно как-то хотели приблизить М. М. *к себе*, и это помешало правильности образа. Одни подчеркивали, что М. М. был очень церковный человек. Другие, что М. М. был не только демократ, но социалист. Все это у меня с обликом М. М. как-то не связывается.

Если бы меня спросили, как я коротко охарактеризовал бы М. М., я бы ответил может быть неожиданно для многих. Я думаю, по своему облику М. М. прежде всего был русский

барин. Именно — барин. Но, конечно, не в бытовом, «классовом», а в утонченном и духовном смысле этого понятия. Вот таким барином был Герцен. К тому же типу людей принадлежал покойный И. Г. Церетели (барин — социал-демократ). Разумеется, М. М. был и ярким представителем русской интеллигенции, да. Но в характере М. М. не было ничего от разночинца. В его природе была духовная смесь барства и интеллигенции. И на мой вкус этот тип русского человека — самый обаятельный, самый притягивающий к себе духовно. К сожалению он уже исчезает.

И по отцу и по матери М. М. происходил из старой дворянской семьи. От его близких друзей я слышал, что по семейным преданиям польский род Карповичей когда-то имел двойную фамилию (Кораб-Карповичи)и графский титул. Мать М. М. — М. Е. Преснякова, сестра известного профессора-историка. И эта духовно хорошая порода в М. М. чувствовалась всегда и во всем. В особенности, в его изумительном такте и благородстве при общении со всеми людьми, кто бы они не были. И еще была у М. М. необыкновенно-привлекательная черта. Он всю жизнь не знал, что такое деньги. Деньги уходили у него между рук, он их не только не копил (что в Америке обязательно), но и тратил, не считая. И умер совершенно без всяких средств. Некоторые не особенно честные люди вытягивали у М. М. деньги, прося, например, поручительства для заема в банке. М. М. тут же без всяких возражений немедленно ставил свою подпись, а потом... выплачивал, один раз 2000 долларов, другой раз 1000 долларов. И это было тогда, когда ему самому было очень трудно жить с большой семьей. Когда М. М. кому-нибудь помогал, он помогал последними деньгами, но так, как будто у него этих денег видимо-невидимо. М. М. «умел давать» и это тоже дар того же самого духовно высокого воспитания.

Когда-то в ранней юности М. М. был эс-эром. Я как-то спросил его об этом. М. М. улыбнулся и сказал: «Ах, это так... несерьезно... это по случайности...». Дело тут не в партии с. р., конечно, а в политических партиях вообще. По своей природе М. М., по-моему, никогда не мог бы быть партийным человеком.Это было чуждо его натуре. По своему мировоззрению и общественно-политическим взглядам М. М. был, конечно, русский либерал. Это тоже тип человека, уже уходящего с русского горизонта. Но и тут я не представляю себе М. М. заседающим в Ц. К. либеральной партии. М. М. не был «существом политическим». Он был прежде всего и больше

всего связан с вопросами культуры, истории, литературы. И был человеком думающим независимо, широко, свободно. Поэтому-то М. М. и был, как все это отмечают, при всех обстоятельствах естественным арбитром в спорах самых различных людей.

М. М. был очень остроумен. И ценил в других остроумие и дар рассказчика. Какое-нибудь остроумное сравнение часто заставляло его заразительно смеяться. Помню, как М. М. передавал мне рассказ Н. Д. Авксентьева, и рассказ этот ему очень нравился. Было это в дни Временного Правительства, когда Авксентьев был министром внутренних дел. Беспрерывные дневные и ночные заседания шли в Зимнем Дворце, где Авксентьев временно жил. Во дворце служила еще старая царская прислуга. И перед ночными заседаниями, чтобы не беспокоить старика-швейцара, Н. Д. Авксентьев по интеллигентской привычке, сам спешил к выходной двери, чтобы отворить ее приезжавшим. И выбегал он так до тех пор, пока старик-швейцар не сказал ему сердито: «не для того вы сюда посажены, чтобы двери открывать!».

В М. М. была природная мягкость и доброта. Расскажу один эпизод, выражающий эту черту. По просьбе М. М. одному, жившему в Европе, больному писателю одно американское благотворительное общество должно было послать 200 долларов. По ошибке вместо 200 было послано 800. Обнаружив ошибку, общество обратилось к М. М.: что делать? Что же сделал М. М.? Он стал убеждать ни под каким видом не просить о возврате денег: человек болен, нуждается, этого делать нельзя. И М. М. убедил. Очень довольный М. М. звонил мне по телефону из Кэмбриджа в Нью Йорк, говоря: «Ну, я очень рад... всё устроилось... никаких возвратов... пусть отдохнет, подлечится, и слава Богу...»

М. М. был чужд всякой литераторской мелочности. В нем не было ничего от «братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое». В редакциях вообще (а в эмигрантских особенно) чего только нет: нежданные и негаданные обиды, «выяснения отношений», требования «объяснений», письма в редакцию и наконец даже третейские суды. М. М. всё это обходил своим удивительным тактом. Помню, как один поэт обидевшись (как мы узнали) на то, что его стихи не были напечатаны на первом месте, а шли по алфавиту всех поэтов, вылил свое негодование в статье против «Нового Журнала» вообще и «ядовитые стрелы» пустил именно в М. М. Эту статью М. М. прочел при мне, все «стрелы» ее, конечно, понял, улыбнулся

и шутливо сказал: «но почему собственно мы должны печатать его первым, когда его фамилия в конце алфавита... но, конечно, отвечать, на статью мы уж не будем...».

Вообще, ко всяким печатным отрицательным отзывам М. М. относился шутливо. В одной газете отзывы о «Н. Ж.» часто бывали неблагоприятными и с обязательными «шпильками» кому-нибудь из авторов. Об авторе этих отзывов М. М., шутя, говорил: «странный он человек, он почему то не рецензирует журнал, а ставит всем сотрудникам отметки...». В этих отзывах бывали частые фактические ошибки. Я как то предложил М. М. письмом в редакцию исправить эти ошибки рецензента. Но М. М. сразу же воспротивился: «Нет, что вы... Бог с ним, пусть пишет... разве это так уж важно?..». К письмам в редакцию (жанру чрезмерно распространенному в эмигрантской литературе) у М. М. было какое-то неодолимое отвращение. И если ему всё-таки приходилось — хоть и очень редко — прибегать к письмам в редакцию, то только в защиту своих друзей или общественного дела. Для себя он считал этот литературный жанр «малоприемлемым». В той же связи вспоминаю как не так уж давно один русский журнал ни с того ни с сего поместил грубо-бранную заметку против «Н. Ж.». и лично против М. М. Атаковали, так сказать, с «идейных позиций». М. М. прочел это и та же формула: «Ну, Бог с ними... давайте перейдем к очередным делам».

М. М. был в очень хороших отношениях со многими людьми. Была ли это дружба? Не думаю. В М. М. полностью отсутствовала русская черта — «душа на распашку». По-настоящему близких друзей у М. М. было, по-моему, немного. Не называю живущих. Назову только одного покойного человека, которого М. М. действительно любил и с кем душевно был крепко связан. Это — Е. Д. Кускова. Когда она умерла, обычно очень сдержанный М. М. сказал мне: — «Вы знаете, Е. Д. для меня была, как родная... мне даже писать о ней будет чрезвычайно трудно». Е. Д. отвечала ему тем же. Будучи уже тяжело больна, сколько раз она писала мне, прося подробно ответить о состоянии здоровья М. М. и ответить «только для нее». Она знала давно о тяжелой болезни М. М. и очень о нем беспокоилась. Пережил он ее ненадолго.

Как редактор М. М. был, конечно, незаменимым. И эта незаменимость не только в его большой интеллектуальной и духовной культуре, но и в душевных свойствах. Полная терпимость ко всякому мнению, если только оно серьезно и на подлинно культурном уровне. Благожелательность ко всем пи-

шущим, а поэтому всегда — широкий диапазон сотрудников журнала. И — что не часто встречается у людей его профессии — подлинное чувство литературы, будь то художественная проза или стихи. Вне пристрастий к каким бы то ни было «измам» М. М. безошибочно отличал подлинное от фальшивого. Конечно, душой он был с классиками. Он говорил, что в литературе кораблю современности он предпочитает корабль вечности. И Осип Мандельштам, с которым они в юности дружили в Париже, сердито набрасывался на него, говоря, что корабль современности это и есть корабль вечности. М. М. с ним не соглашался. Но вот помню, как в «Н. Ж.» пришли стихи одного парижского поэта «очень авангардного». М. М. дал их мне и спросил мое мнение. Я сказал, что стихи по-моему прекрасные, я бы их напечатал. «По-моему, тоже, в нем что-то есть...», сказал М. М. и стихи появились в «Н. Ж.». Но вот я как-то дал М. М. одно из стихотворений этого же поэта, но уже «авангардное до чрезвычайности». М. М. прочел, спросил: «Вам нравится?» — «По-моему интересно». Но М. М. болезненно сморщился, на лице выразилось истинное страдание и он отрицательно покачал головой: «Нет, Р. Б., никак не могу... ну, просто не в силах проглотить...». И тут же, как всегда, прибавил: «Только вы пожалуйста уж напишите ему что-нибудь успокаивающее, чтобы он не обиделся и скажите, чтоб прислал другие...».

Но иногда благожелательное отношение к пишущим перевешивало в М. М. чувство литературы, и М. М. «против сердца» отдавал в набор то, что ему не нравилось. Так было с одной вещью. Против ее помещения я возражал. М. М. был вполне со мной согласен. Но, как бы и меня и сам себя уговаривая, М. М. говорил: «Но всё-таки, как же быть? Ведь мы же убьем его, ведь человек пишет, у него есть какой-то свой собственный творческий мир, есть какое-то право писать именно так», — и вдруг, как бы почувствовав всю несостоятельность своих же доводов, М. М. говорит, — «знаете что, давайте просто зажмуримся и сразу проглотим эту пилюлю... ну, покричат, пошумят, а потом забудут...». Так «пилюля» и пошла в набор при «зажмуре» редактора. Но такие случаи, разумеется, были редкими исключениями.

В правке рукописей (а М. М. не пропускал в журнале ни строчки, всё хотел просмотреть сам, прокорректировать) М. М. был мастер. Он никогда не мог поранить рукопись, как это бывает с людьми без слуха к «звукосмыслу» фразы. И если правил, то рукопись всегда улучшал. Только «тайна редакции»

знает, какие маститые авторы подвергались иногда «некоторым исправлениям», разумеется, с их ведома и согласия. Вспоминаю здесь один забавный эпизод. В одном романе, отрывки из которого у нас печатались, одно действующее лицо, американский полковник, произносил известную фразу Юлия Цезаря — veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил) — ультра-американски: — винай, вайдай, вайсай. Этого М. М. «проглотить» не мог. «Зачем это? Не понимаю. Во первых, никакие американцы так не говорят, в этом уж я могу автора уверить! Это гротеск, и нехороший гротеск!». И с согласия автора американский полковник был спасен от чрезмерной «американизации» фразы римского полководца.

За семь лет работы в «Новом Журнале» было много интересных и любопытных литературных историй, из которых не все еще можно предать гласности. Помню, как один раз мы с М. М. спешно правили по телефону Кэмбридж—Нью Иорк — статью одного ныне здравствующего автора. Правка заняла минут сорок. Телефонный счет был громадный. Но статья вышла в полном порядке.

Я счастлив, что близко знал Михаила Михайловича и так долго вместе работал с ним в «Новом Журнале». За все годы работы у нас не было даже малейшего недоразумения. Мы работали душа в душу. И для меня это общение с М. М. было большим духовным наслаждением.

Роман Гуль

К ДРУЗЬЯМ И ЧИТАТЕЛЯМ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

В восемнадцатый год своего существования «Новый Журнал» вступил в состоянии острого кризиса. Кризис этот впрочем можно было предвидеть. При всем известном положении русского эмигрантского рынка трудно было ожидать, чтобы «толстый журнал», выходящий четыре раза в год, мог стать самоокупаемым. До середины 1951 года «Новый Журнал» выходил нерегулярно: за эти восемь с половиной лет вместо 34 книг вышло только 25. Но и это оказалось возможным лишь благодаря самоотверженным усилиям небольшой группы людей, несших всю работу по его изданию, и той финансовой поддержке, которую оказывали журналу некоторые его русские друзья.

С середины 1951 года и до конца 1955 г. «Новый Журнал» получал субсидию от East European Fund — филиала Ford Foundation, созданного для оказания поддержки культурной работе русской эмиграции, и только эта помощь позволила установить регулярный выход журнала четыре раза в год.

С решением Фордовского Фонда прекратить свою «русскую акцию» эта субсидия прекратилась, но при ликвидации деятельности Восточно-Европейского Фонда оказалось возможным уделить для «Нового Журнала» некоторую сумму денег, которая и позволила нам, хотя и с возрастающими трудностями, продолжать издание журнала в течение последних трех лет. Теперь и эти средства пришли к концу и ни на какие дальнейшие поступления из американских источников рассчитывать, повидимому, не приходится.

Это значит, что дальнейшее существование журнала зависит от его русских друзей и читателей. К ним я и обращаюсь с настоятельной просьбой о помощи.

Не мне судить о достоинствах и достижениях «Нового Журнала». Но если в нашей эмиграции есть достаточно людей, которые считают, что журнал для них важен и нужен, что он

занимает какое-то определенное место в культурной жизни эмиграции и что его прекращение оставит в ней серьезный пробел — то я уверен, что они сделают всё возможное, чтобы этого не допустить.

В Нью-Йорке группа лиц, верящих в необходимость дальнейшего существования журнала, приступила к созданию Общества Друзей «Нового Журнала». Мы со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы увеличить по возможности наш тираж и сократить наши организационные расходы. Но на всё это потребуется некоторое время, а ждать нельзя. Мы готовим к печати следующую книгу, так как чрезвычайно важно обеспечить беспрерывность выхода журнала. Поэтому я и прошу Вас — помогите нам теперь же, немедленно. Не откладывая, присылайте ваши пожертвования в издательский фонд «Нового Журнала». Всем, кто откликнется на этот мой призыв, вперед приношу свою горячую благодарность.

М. Карпович.

Чеки и почтовые переводы следует выписывать на The New Review и отправлять по адресу «Нового Журнала»:

The New Review, 2700 Broadway, New York 25, N. Y.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА И. А. БУНИНА

Разбирая архив Ивана Алексеевича, я обнаружила ряд записей 1916 года. Из них особый интерес представляют две рукописных страницы «Игроки». Впоследствии «Игроки» (в законченном виде) были напечатаны в издании «Петрополис». Но первый текст «Игроков» с заметкой Ивана Алексеевича о зарождении этих стихов представляет большую ценность.

Публикую и стихи 1922 года.

В. Муромцева-Бунина.

С. Васильевское, 23 июля 1916 года.

Все последние дни — неотступная жажда написать пушкинский рассказ. Приходило в голову заглавие: Игроки. Что дальше? Преднамеренно что-нибудь простое, обычное для тех дней, не новое. Он, она, их общая первая любовь — и не судьба «быть счастливыми». У него на всех путях — его удачливый соперник. Они как бы всю жизнь ведут борьбу, игру, в которой Стоцкий неизменно проигрывает — и в любви, и в свете, и по службе. И вот соперник Стоцкого уже давно генерал и женат, — на ней, на той, чье сердце втайне навеки отдано ему, Стоцкому, — и уже давно Стоцкий постепенно и неуклонно разоряется, от времени до времени встречаясь с генералом и проигрывая в карты состояние ему, втайне прекрасно знающему чувства и своей жены к Стоцкому, и его к ней и наслаждающемуся спокойно, с жестокой усмешкой, даже как бы с сожалением и с ядовитыми намеками при разговоре с женой о Стоцком: «Нет Стоцкому удачи *ниоткуда!*» — Сложилось пока только начало этой «пушкинской повести» и не в прозе, а в стихах:

Овальный стол, огромный. Вдоль по залу
Проходят гости, слуги, — на столе
Огни свечей, горящих в хрустале,
Колеблются, — и скупо внемлет балу,
Гремящему в банкетной, и речам
Мелькающих в гостиной милых дам,
Круг игроков. Все курят. Беглым светом
Блестит огонь по жирным эполетам.
Зал, белый весь, прохладен и велик.
Под люстрой тень. Меж золотисто смуглых
Больших колонн, меж окон полукруглых —
Портретный ряд: вон Павла плоский лик,
Вон шелк и груди важной Катерины
Вон Александра узкие лосины...
За окнами вся снежная Москва
И звездной зимней ночи синева.

И вновь морская гладь бледна
Под звездным благостным сияньем
И полночь теплая полна
Очарованием, молчаньем —
Как, Господи, благодарить
Тебя за всё, что в мире этом
Ты дал мне видеть и любить
В морскую ночь, под звездным светом!

Засыпая в ночь
с 24 на 25 VIII. 22. *Ив. Бунин*

ЧЕРНАЯ БОЛЕЗНЬ

РАССКАЗ

Серьги лежали в ломбарде девять лет. За этот срок наверное было не мало событий в мире, ослепительных, оглушающих человека событий! А серьги лежали в казенной коробке за номером, и девять лет я платил за них проценты. Когда деньги лежат в банке, каждый знает, что они там не лежат, а текут куда-то, в капиталистический ручей, в поток, и возвращаются, когда в них есть надобность. Но с серьгами дело обстоит иначе. Со старой одеждой, граммофонами, серебряными ложками тоже: они лежат, пока платишь проценты, потом, когда их платить перестаешь, они навсегда уходят за пределы досягаемости.

Городской ломбард в Париже — одно из самых отвратительных мест, какие я знаю. Пахнет дезинфекцией, стены крашены в серый цвет, два ряда скамеек. Ни для кого не тайна, для чего все сюда собрались. Служащий в сером халате принимает вещь, дает номерок, уносит ее, и через несколько минут раздается крик:

— Номер двадцать третий! Семьсот.

Это значит, что дают семьсот за принесенный тобой предмет. Ты идешь к окошечку и говоришь:

— Хорошо.

И получаешь деньги. Или говоришь:

— Мало. Не могу.

Тебе возвращают твое имущество и ты уходишь. Идти некуда. Иногда, когда закладываешь драгоценность, можно сказать:

— Натяните еще немножко, будьте добры.

Но драгоценностью считается здесь только золото, платина и бриллианты. Рубины, изумруды и сапфиры называются цвет-

ными камнями и за них почти ничего не дают. За жемчуг же не дают ничего — он имеет свойство умирать вдали от хозяина. И тогда, конечно, ему грош цена.

Люди сидят рядышком на длинных скамейках и ждут приговора. Девять лет тому назад сидел там и я. Женщина, сидевшая от меня справа, и принесшая четыре старых простыни, ничего не получила за них. Мужчина с бородкой, сидевший слева, похожий на Ленина, принес какую-то ветхую книгу и ему предложили за нее двести. Он попробовал объяснить, что это — издание 1747 года, но раздался крик:

— Да или нет?

И он сказал: да.

За серьги мне, как я и предполагал, дали кучу денег. В каждой было по бриллианту размером с небольшую пуговицу, и оба были чистейшей белизны. Дают обыкновенно треть стоимости, и я подумал: да, так оно и выходит, она столько раз мне говорила, что если продать серьги, то можно на них прожить вдвоем около полугода; это значит, что я один мог бы прожить на них целый год.

Все деньги в тот же день ушли в уплату счетов по госпиталю и ее похоронам. Только один счет остался неоплаченным: двух последних переливаний крови. Тогда я продал ее маленькие золотые часы и выкрутился. Ювелир, купивший их, велел мне придти через неделю:

— Если я выгодно продам эти часы, — сказал он, — я вам еще доплачу немного.

Когда я пришел через неделю, он сказал:

— Вам причитается еще десять процентов, я продал часы вчера и выгодно продал. Я никогда не наживаю больше двадцати процентов. Это мое правило.

Я поблагодарил.

— Я люблю правила, — добавил он, сконфуженно улыбаясь, — другим они кажутся скучными. Но жить без правил я считаю свинством.

Это было девять лет тому назад. За эти годы у меня никогда не было денег, чтобы выкупить заклад. И вот я затеял

переезд в Америку, я решил сдвинуться с насиженного места. Я не умею и не всегда могу сделать нужное усилие, но я сказал себе: пришло время, дальше так жить нельзя. А в мыслях в это время были серьги — они должны были мне помочь устроить мою судьбу. Неделю тому назад пришла моя виза и билет уже был заказан, за него надо было вот-вот заплатить, и на первые месяцы жизни на новом месте тоже нужны были деньги. Без продажи серег я тронуться не мог. Всё было высчитано, вымерено; не в моем характере сидеть вечерами с карандашом в руке и делать вычисления, но я знаю, что это делают все, и я делал — арифметика эта была маленькой частью великой истины: познай самого себя.

Прежде чем серьги продать, мне необходимо было, чтобы кто-нибудь мне их выкупил. О том, чтобы выкупить их самому, конечно, не могло быть и речи. И вот я пошел к тому же ювелиру.

Он внимательно осмотрел ломбардную квитанцию.

— Да, я занимаюсь этими делами, — сказал он, — и я выкуплю ваши серьги завтра утром. Обыкновенно при закладе дают треть. Похоже, что можно будет продать их за хорошие деньги. Приходите завтра, в обед.

Я пришел на следующий день; в лавке не было никого, за занавеской, отделявшей магазин от мастерской, чувствовалось чье-то присутствие. Я кашлянул и стал разглядывать кольца и брошки под стеклом; вся лавка тикала часами — большими и малыми.

Он вышел, держа в руках раскрытый бархатный футляр, подбитый белым атласом.

— Я должен вас огорчить, — сказал он, — если бы я мог предвидеть то, что случится, я бы никогда не взялся за ваше дело. Один камень не годится никуда. В нем черная болезнь. Вот, посмотрите сами.

Он вставил мне в глаз стекло и я нагнулся над футляром. И в то время, как я разглядывал весь насквозь черный камень, мне казалось, что земля колеблется под моими ногами, разверзается щель, куда я лечу, какие-то рушатся надо мной этажи,

Сан-Франциско, Мессина, Лиссабон — что-то из старых киноземлетрясений, видимо, застряло в памяти и теперь вдруг выскочило в мозгу.

— Это не могло произойти за девять лет. Это может произойти за миллион лет, — говорил ювелир, и что-то грустное было в этом голосе, в этой склоненной на бок седой голове, — я не могу себе объяснить, как это возможно, чтобы они там так ошиблись. Они никогда не ошибаются, у них там эксперт сидит. Возможно, что он посмотрел хороший камень, а на второй не взглянул. Хорошо, если вы выручите за оба то, за что они были заложены. Чтобы вернуть мне мои деньги. Я эти серьги продать не могу.

— Не можете? А кто же может?

— Об этом мы сейчас подумаем. Вы попали в беду.

— Когда вам надо вернуть деньги?

Он посмотрел на меня поверх очков.

— Войдите в мое положение, — сказал он своим ровным голосом, — я вам выкупил вещь, я вынул из кармана сумму. Я хотел бы иметь ее сегодня к вечеру. Кроме того, ведь я рискую, что вы не вернетесь.

Он принес телефонную книгу и я стал рыться в ней, ища адреса людей, к которым он советовал мне обратиться.

— Продавайте их тому, кто даст больше, — говорил он. — Вот еще есть Огинсон. Он дает иногда хорошую цену.

— Огинсон... О.... — Я стал листать толстую книгу, вперед и назад, в уме моем всё мутилось. — Как странно, после М сразу идет Н. Никакого О почему-то нет.

— О после Н, — терпеливо сказал он.

— После Н идет П, — бормотал я, — а О в этой книге вообще нет. Очевидно вырваны страницы.

— Этого не может быть, — сказал он печально. — О всегда было.

— Оно до П или после П?

— Посмотрите сразу после Н! — закричал он вдруг в испуге.

Я нашел Огинсона. Мы оба успокоились.

— Знаете, что бы я еще сделал на вашем месте, — сказал он, — я бы вернулся в ломбард и попробовал их заложить за прежнюю цену, если дадут.

Я поблагодарил его за совет, еще раз вставил в глаз стекло. Миллионы лет. Черная болезнь. Камень прочно сидел в золотых лапках.

— Я надеюсь, — сказал ювелир, — что вы не подозреваете меня в том, что я переменил ваш камень?

— Нет, — ответил я, — этой мысли у меня не было.

— Это было бы свинство, — и он пошел в угол, — у меня есть правила.

— Я вам клянусь, что я об этом не думал!

— Я верю вам. И не думайте, что это могли сделать в ломбарде. Они запечатывают сразу, никто не имеет доступа.

Мы посмотрели друг на друга.

— Вы знаете, — сказал он, — иногда бывает в жизни, что объяснения факту нет, нет ответа на вопрос. Редко, но это бывает. Я сидел однажды у себя в комнате и со стола пропало одно письмо. Оно стоило больших денег. Его никогда не нашли. Никто взять не мог, никто не входил. Но оно исчезло. Чем больше я думаю, тем больше прихожу к заключению, что эксперт не мог не посмотреть второго камня.

Мессина и Лиссабон, подумал я, и буква О, которая вдруг пропала, и всё это похоже на кошмар, еще сегодня утром всё казалось просто, а теперь и поездки никакой не будет. Но время терять было нельзя. Я завернул футляр в носовой платок.

— Не потеряйте его, — сказал ювелир, — и, пожалуйста, принесите сегодня деньги.

Я прежде всего отправился в ломбард. В этом омерзительном месте была толпа народу. Мне дали шестьдесят четвертый номер, я сел. Слева от меня сидела женщина, у нее на коленях было старое одеяло, ей вернули его, ничего не дав, и она, видимо, не знала, что ей теперь делать. Справа сидел прилично одетый пожилой человек, похожий на Николая Второго, я видел, что он принес черепаховый веер. Я не знаю на свете гнуснее места, — думал я.

— Шестьдесят четвертый! — крикнули в окошечке.

Теперь они посмотрели оба камня и сумма была предложена в два раза меньше прежней.

— Это недоразумение, — сказал я, волнуясь, — серьги эти были выкуплены сегодня утром. Вы давали за них гораздо больше.

Человек в сером халате секунду смотрел на меня, ушел за перегородку, вернулся с футляром.

— Вам дают за один камень, — сказал он, и я увидел, что на одном глазу у него бельмо. — Другой ничего не стоит. Вы можете взять его обратно.

Получалось совершенно так, как с его глазами: один не стоил ровно ничего.

Я прошел коридором, лестницей, двором. Я обегал не то пять, не то шесть ювелиров в тот день. Никто ничего не давал за вторую серьгу, за первую давали недостаточно, чтобы я мог уплатить долг. Было почти шесть часов, когда я, наконец, оказался у Огинсона. Это была квартира, не магазин, и мне открыла какая-то женщина. Дверь была на цепочке.

— Кто вы?

Я не знал, что ей ответить.

— Кто вас послал?

Я объяснил. Она ушла, шлепая туфлями. Прошло довольно много времени. Наконец, дверь открылась и меня через длинную, темную прихожую провели в длинный, темный кабинет. Толстый человек неподвижно сидел за совершенно пустым, гладко отполированным столом, две канарейки щебетали в клетке, у окна, над самой его головой.

Он был толст, бледен, стар, неподвижен, и во всё время нашего разговора отражался глыбой в гладкой поверхности огромного, пустого стола.

— Сколько хотите? — спросил он, рассмотрев камни, двигая одними кистями рук. Я назвал цену, которую был должен. Он посмотрел куда-то мимо меня.

— Это с трудом можно будет выручить за один камень, и

то только переделав его в кольцо, — сказал он. — Второй мне не нужен.

Наступило молчание. Канарейки качали клетку, сквозь закрытые окна был слышен уличный шум, пахло пылью и табаком. Во мне всё дрожало от напряжения.

Он еще раз рассмотрел серьги.

— С самого начала, — сказал он медленно, — в нем уже была эта болезнь. Еще человека не было, а уже в нем сидела эта зараза.

Я перевел дыхание.

— Но я вам заплачу то, что вы просите. И я передумал, я возьму и второй камень тоже.

Он вынул бумажник из кармана, отсчитал деньги. Выходя, я громко сказал: Прощайте! Но он не ответил. На улице я с минуту стоял, как оглушенный: мне показалось, что и Мессина, и Лиссабон пронеслись над моей головой и оставили меня живым. Когда я вернулся домой, отдав деньги, голодный и усталый, я повалился на постель и пролежал так до темноты. Если бы мне дали бомбу в тот вечер и сказали: бросай, в кого хочешь, я бы бросил ее.... в кого бы я бросил ее? В первого ювелира? Во второго ювелира? В человека в сером халате? В господина Огинсона? В эксперта городского ломбарда? Нет, нет, нет, — говорил я себе, — я бы бросил ее в этот страшный зал, где пахнет дезинфекцией, я бы бросил ее у входа, в надпись: либертэ, эгалитэ, фратернитэ. Но, как говорит мой сосед по комнате, человек без профессии Мишель Нерон, русские удивительно умеют устраиваться и всегда ловко выкручиваются. Русским необычайно везет.

— В чем везет? — кричал я поздно ночью, когда он зашел ко мне. — В чем? В чем?

Но он, конечно, не знал, что ответить; он терпеть не может крика и продолжал молчать, пока я не надоел ему своим вопросом до такой степени, что, пожав плечами, он молча ушел к себе.

На следующий день была суббота, и когда настало воскресенье, у меня было время обдумать, что делать. Если все те

вещи, которые мне принадлежат, постараться продать, вместо того, чтобы раздать, то я могу выручить приблизительно одну четверть того, что мне нужно, чтобы заплатить за билет. Это было мне ясно и без того, чтобы заниматься вычислениями. Откуда добыть остальное? Я мысленно перебрал в уме всё, что имел. Даже если продать всё, оставив только то, что на мне, да бритву, да зубную щетку, — больше четверти не наберется. Безвыходность была полная и я даже стал подумывать о том, чтобы завтра утром пойти отказаться от пароходного билета. Ехать было не на что. Чем скорее забыть обо всем этом, тем лучше. Занять такие деньги тоже было не у кого. Писать же Дружину в Чикаго было совершенно бесполезно по одной простой причине, о которой сейчас рано говорить. В этом месте моего рассказа достаточно сказать, что Дружину писать письма было бессмысленно.

«Есть два обручальных кольца, — подсчитывал я, — и книги, и одежда, и радио, старое, но еще хорошее». День тянулся долго и надо было что-то решить. Впрочем, минутами мне казалось, что решать ничего не надо было: всё и так решено. Обо всем, чем скорее забыть, тем лучше.

В шестом часу ко мне постучался коридорный: «Вас спрашивают внизу, — сказал он, — какая-то барышня».

Я пригладил волосы, надел пиджак и спустился, не чувствуя никакого любопытства. На нижней площадке стояла незнакомая мне молодая женщина в брюках и с папиросой во рту. Кругом не было ни души, где-то надрывалось радио.

— Здравствуйте, — сказала она по-русски, протягивая руку. — Меня зовут Аля Иванова. Можно к вам?

— Здравствуйте, — ответил я. — У меня в комнате беспорядок, простите. Если хотите, поднимемся....

Она быстро взглянула на меня два раза и потом еще раз, словно у меня было какое-то необыкновенное лицо, между тем, насколько я понимаю, у меня очень банальная внешность.

Когда мы вошли в комнату, она оглядела стены, мебель и села на единственный стул у окна. Я сел на кровать.

— Не знаю, как вам всё объяснить, — сказала она и по-

смотрела на меня черными, блестящими глазами. Лицо у нее было тонкое, с оттенком болезненности, но в тонких руках видна была энергия и сила. — Я узнала, что вы уезжаете в Америку. Не спрашивайте меня, кто мне сказал. Это было совсем не просто узнать, я даже заплатила за это деньги. Есть такой человек, который адреса продает. Он знает про всех, которые уезжают. Вы приходите к нему, он вынимает лист, и там — по районам. Это, когда хочешь снять комнату.

Я быстро ответил:

— При чем же тут я? Обратитесь вниз, к хозяйке.

Она потушила окурок.

— Если я обращусь к хозяйке, она или мне не сдаст, а сдаст тому, кто у нее в очереди записан, или сдаст ровно в три раза дороже, чем платите вы, живя здесь много лет. Вы платите дешево и вам набавить не могут. Если я поселюсь с вами здесь и проживу месяц, то комната останется за мной за ту же цену. Я могла бы переехать завтра утром.

— Но здесь, как вы видите, одна постель.

— Это неважно. Я будут спать на этом диванчике.

В углу, около умывальника, стоял трехногий диван, на котором мог улечься разве что ребенок.

— Вы разве никогда не слыхали о таком способе заработать деньги? По закону, я должна прожить здесь с вами не менее месяца, чтобы комната осталась за мной. Вам будет неудобно, я знаю, я стесню вас, но что же делать! Я заплачу вам за это.

Я кашлянул.

— Я заплачу вам часть денег завтра, при переезде, а часть, скажем, через две недели. Мы оба рискуем: я, что вы прогоните меня, взяв деньги, вы — что я не доплачу вам последнюю часть. Но как же иначе? Мне сказали, что есть люди, которые привлекают к такому делу третье лицо, свидетеля; если хотите — я согласна. Но, по-моему, лучше делать такое дело без свидетелей. Может быть, можно сделать его на доверии?

Она помолчала, не спуская с меня глаз. Она, видимо, ждала, не скажу ли я, что ничего нельзя делать на доверии. Я сказал:

— Вот вы говорите, что заплатили, чтобы мой адрес узнать, и мне платить собираетесь. Что же у вас, денег много? И если много, то почему вам так важно иметь дешевую комнату?

— Чудак вы! — улыбнулась она и я увидел, как красит ее улыбка, глаза ее стали блестеть еще больше, — денег у меня немного, но я, давши вам пятьдесят, буду потом за комнату платить шесть в месяц. А сейчас я живу не у себя и плачу двадцать. Понятно?

«Она мне даст пятьдесят, можно будет постараться как-нибудь», — подумал я.

— Сейчас я живу не у себя, — повторила она и вдруг по лицу ее пробежала какая-то тень, — и не могу больше там оставаться. Я должна выехать.

Я встал, прошелся по комнате и опять сел на кровать.

— Рассудим об этом как можно спокойнее, — сказал я. — Предположим, что я останусь здесь еще месяц, это я могу, я приблизительно так и собирался сделать. Вы будете жить здесь, на диванчике, конечно, буду спать я, а не вы. Мы можем также класть матрац на пол, это, пожалуй, еще удобнее. Один без матраца на кровати, другой на матраце на полу. Утром вы когда уходите?

— Я утром не ухожу.

— Вы не работаете?

— Я работаю вечером.

— Тогда это, пожалуй, еще удобнее. Вы приходите поздно, я уже сплю. Утром я ухожу — вы спите.

— Почему вас так беспокоит вопрос сна? — спросила она. — Я привыкла с детства в летних лагерях спать на земле, в мешке, в палатке со всеми вместе, и вообще — это совсем для меня не вопрос. Я думала для вас важнее будет оформить всё это на бумаге. Я хочу сказать: условие между вами и мной.

— Что же можно сделать на бумаге? Мы с вами делаем незаконное дело и ничего оформить по существу не можем.

— Незаконное? Простите, какое же мы делаем незаконное дело? Вы не выдаете меня ни за сестру, ни за жену. Никого не обманываете. Мы живем месяц вместе, а потом вы

уезжаете — мы не обязаны говорить, что навсегда. Комната остается за мной, а через год, когда вас всё нет, они автоматически переведут ее на мое имя.

— А вы не можете въехать сюда накануне моего отъезда?

— Тогда меня немедленно выкинут отсюда.

Она открыла сумку и показала мне пачку денег.

— Тут двадцать, и вы получите их завтра. Двадцать я заплачу вам через две недели и десять — накануне отъезда. Мне сказали, что это так делается.

Я встал, подошел к ней и неожиданно для самого себя сказал:

— Я хочу все пятьдесят на этой неделе. Мне нужно заплатить за билет. Я не могу ждать.

Она нисколько не испугалась, даже, по-моему, обрадовалась.

— Хорошо, — сказала она, — пусть будет так. Я не знала, что вы такой жадный.

И она улыбнулась, бесстрашно глядя мне в лицо.

— Пойдемте, если у вас есть время, выпьем кофе, — предложил я, чувствуя, что больше не могу сидеть так и смотреть на нее. Мы спустились по лестнице, вышли на улицу. У входа, на тротуаре, стояла хозяйка, мадам Бово, и проходя мимо нее, Аля Иванова спокойно положила мне руку на плечо, будто объявляя и ей, и прохожим, и всему городу: это мой собственный, мне принадлежащий, пленный человек, — как принято у женщин в Париже.

Мы сели за столик в кафе и Аля, едва отхлебнув кофе, пошла звонить по телефону. Будка стояла в трех шагах от меня и я мог слышать обрывки разговора: она говорила с какой-то Зиной и сказала ей, что «он» требует все пятьдесят на будущей неделе, просила спросить Жано́, что он думает, что надо делать. Потом, видимо, отвечая на поставленный вопрос, она ответила: да, внушает. Абсолютно внушает. Но требует.

Мы сидели с полчаса, она всё курила, задумывалась и молчала, а я рассматривал ее: она вся была какая-то длинная, словно вытянутая вверх. Волосы были гладкие, короткие, уши

узкие, лицо ровным овалом и шея, чуть длиннее, чем надо. Белизна или бледность ее была какой-то особенно чистой, ясной, вся она производила впечатление ясности, ни в глазах, ни в улыбке никогда не мелькало скрытого смысла, двусмысленности, загадки — это шло от ее ясных черных глаз, от взгляда, которым она смотрела вокруг и взглядывала на меня.

На душе у меня было невесело, я чувствовал смущение при мысли, что беру ее деньги. Месяц, который мне предстояло прожить с ней в одной комнате, представлялся то мучительно неудобным в самом простом житейском смысле — без сна, без одиночества, с постоянным чувством стесненности и тесноты, то чем-то вдруг легким, немножко смешным и во всяком случае — ни на что не похожим.

Она переехала на следующий день, у нее был один чемодан, старый, черный, потрепанный, из которого она почти ничего не вынула, чтобы не стеснять меня, кроме яркого театрального костюма; широкой малиновой тюлевой юбки и лифа, расшитого блестками. Его пришлось повесить на дверь, на крюк, и он занял четверть комнаты. Мы вместе стянули матрац на пол и каждый постелил свою постель (она привезла две простыни и думку), после чего она умылась, переоделась, подвела глаза и в этой малиновой юбке, стараясь ее не смять, села на край стула и рассказала мне, что танцует в «Ампире», что у нее там два номера в программе, что она работает с партнером вот уже четыре года, и одно время они даже выступали в «Казино де Пари». Десять лет тому назад, еще подростком, она училась у Ольги Осиповны и думала, что будет балериной, но «так случилось», что это не вышло.

— А кто партнер? — спросил я.

— Партнер три месяца тому назад мне палец сломал, но я не могу его бросить: обоих выгонят. Отдельно мы не нужны.

— Нарочно сломал или нечаянно?

— Нарочно, конечно. А главное — во время исполнения. Что-то ему не понравилось, он такой неврастеник. Взял, когда подхватил меня с воздуху, и сломал мне мизинец со злости. Я потом три дня в госпитале была, резать хотели, но обошлось.

Она вытянула свой левый мизинец и внимательно посмотрела на него.

— Кривой?

— По-моему, нет.

— А по-моему, кривой остался, — сказала она и сдвинула брови. Углы ее рта опустились, но уже через минуту она улыбалась мне.

— Я костюм в «Ампире» оставлю, я устроюсь, а то он здесь вам всю комнату загромоздил. Хороший костюм? Вам нравится? Мне его Гончарова нарисовала.

Когда она ушла и я остался один, тысяча мыслей налетели на меня, разрывая меня на части. Ощущение позора, бессилия, всей моей человеческой никчемности и слабости охватило меня. Я почувствовал — в который раз — мою постыдную неспособность обновляться, возрождаться, жить, как другие люди. Что бы сказал Дружин, если бы узнал? Жаль, что я не могу написать ему об этом!.. Потом я посмотрел на всё случившееся с точки зрения Мишеля Нерона, то есть, взглянул на самого себя с точки зрения здравого смысла, с точки зрения трезвого человека. Выходило так: вчера мне заменили хороший драгоценный камень — дурным, сегодня вселились в мою комнату. Вчера я не пошел жаловаться, сегодня я никого не выгнал. А есть люди, как стальная пружина. А есть люди, которые, как тугой теннисный мяч. А есть люди, которые, как каменный бицепс. Никаких денег она мне не заплатит, а с Огинсоном, у того всё заранее было условлено.

Но это, конечно, была только минута, а потом мысли повернули в другую сторону: старые деревянные ширмы, скрывавшие умывальник и табурет со спиртовкой, сковородкой и чайником, должны были сыграть главную роль в нашей будущей общей жизни. Их можно было легко переносить и расставлять, сдвигать туда и сюда; впрочем, как показали первые же дни, в ширмах нуждался только я. Але они были совершенно не нужны: привыкнув в театрах раздеваться и одеваться где придется и при ком придется, она спокойно и без тени смущения сбрасывала с себя одежду, оставалась в маленьком черном трико

и узком черном лифчике, и шла мыться. И ее тело, где каждый мускул был разработан и которое своим мастерством или искусством кормило ее, было таким же, как ее лицо: чистым, ясным и немножко бесплотным.

В среду утром она передала мне все деньги и я сейчас же заплатил за билет. Два обручальных кольца дополнили остальное. К концу первой недели в нашей с ней жизни уже образовалась рутина, в которой для меня ничего не было тягостного, кроме мысли, что я взял у нее деньги за что-то, что мне, в сущности, не принадлежало. Рутина образовалась сама собой: я вставал утром в семь часов, Аля крепко спала, лицом к стенке; в восемь я уходил (я работал тогда у архитектора по подбору цветных кафелей для мозаик и даже иногда делал рисунки для этих мозаик, за что меня называли «художником»). Возвращался я в половине девятого вечера, работая сверхурочные часы, благо была работа. Когда я приходил (уже пообедав), Али не бывало. В комнате всё было аккуратно прибрано, матрац был вдвинут под кровать, на столике стояли анемоны в стакане и бусы ее висели на гвозде у окна. Кофейник был полон кофе, я согревал его и пил, ложился в двенадцатом часу, и обычно засыпал до ее возвращения, — она приходила около часу и когда зажигала лампу на столе, то сейчас же загораживала ее.

Помню, это было, вероятно, дней за десять до моего отъезда, я проснулся ночью и увидел, как она сидит в своем старом халатике у стола, ест плитку шоколада с хлебом и читает какую-то книжку. Лампа была заслонена чем-то синим. Синий отсвет падал на ее босую ногу, на длинную, вытянутую, бледную ступню. Она не могла оторваться от книги. И от ее профиля, склоненного так внимательно над страницей, от всей ее черной головки, от вида ее худой длинной руки, перебирающей волосы, что-то вдруг защемило мне сердце; я почувствовал странную радость от того, что она со мной.

— Пора спать, — сказал я тихо.

Она вздрогнула, отвела руку, улыбнулась.

— Как вам там на полу? Не спится? — спросила она.

— Мне чудно. Мне очень хорошо на полу. А какое вам, в сущности, до меня дело? Зачем вы спрашиваете?

Она, не переставая улыбаться, продолжала читать, я закрыл глаза и стал слушать звуки, которые доходили до меня: вот скрипнул ее стул, вот она перелистнула страницу; хрупхруп-хруп грызла она шоколадную плитку; и тихонько, в этой колеблющейся вокруг меня музыке звуков, я стал засыпать, и среди всей этой радости только одно мучило и отравляло меня где-то глубоко на дне моей совести: ее деньги.

Через несколько дней, выйдя со службы, во время завтрака, я встретил присяжного поверенного Н., которого давно не видел. Мы обрадовались друг другу.

— Вы мне посланы судьбой! — сказал я ему. — Вы знаете, я только вчера думал о вас. Я хотел идти к вам за советом.

Мы вместе пошли завтракать и я дал ему сначала рассказать о себе: он жаловался на родственников жены, с которыми у него были какие-то запутанные денежные отношения. Потом, исчерпав эту тему, он спросил меня, в чем состоит мое «дело».

— Или лучше, может быть, зайти ко мне в контору?

Мы пошли к нему в контору, которая оказалась поблизости и там, под непрерывный телефонный трезвон, я рассказал ему про Алю и спросил, выселят ее из моей комнаты или оставят, когда я уеду?

— Ее должны оставить, — сказал он, — она совершенно права. Она — молодец. Никто ее выгнать не сможет, и надбавить плату тоже не сможет, она поступила ловко. А вы, голубчик, продешевили. Я мог бы найти вам лучшего клиента. Почему вы не обратились ко мне?

— Я понятия не имел. И вы не считаете, что с моей стороны было нечестно взять с нее деньги?

— Нечестно? Что за слово! Абсолютно неподходящее выражение. Все это сейчас делают. Вы были бы просто дураком, если бы упустили такой случай. А ей повезло. Невероятно повезло. Вы себе не представляете, какие бывают комбинации. Вот у меня сейчас дело в суде: человек не выехал. Проходит ме-

сяц, другой, третий, так и живут вдвоем. Я ей говорю (в этом случае она должна была выехать, а он — остаться), я ей говорю: что же вы, мадам, слово дали (кроме слова ее я, конечно, видел и паспорт ее, и билет), а теперь сидите, как пришитая. Деньги взяли, а сами никуда не едете! А она мне: куда мне ехать? Мне и тут хорошо, мне ехать некуда, мы дружно живем. Это ей кажется, что дружно, а он в суд на нее подает. Моей теще, может быть, тоже кажется, что мы с ней дружно живем.

Потом наступило последнее воскресенье. В воскресенье у Али бывали утренники, так что уходила она в час, возвращалась в четыре, а в восемь опять уходила. В воскресенье мы всегда вместе обедали. Я ждал ее и мы отправлялись на угол, там у нас был «свой» столик в маленьком ресторане, где толстая подавальщица приносила нам наши порции, напевая что-то, и куда приходил гармонист, седой венгр, и играл, сидя на табурете, который ему выносил сам хозяин.

— Аля, — сказал я, — ведь это последнее наше воскресенье. В четверг я уплываю. Вы довольны?

Она удивилась вопросу:

— Довольна? — повторила она. — Не могу ответить на это. С одной стороны, конечно, да, потому что этого я хотела, когда пришла к вам. Но с другой стороны, я к вам так привыкла. И было очень уютно, хоть и тесно немножко. Может быть, вы еще раздумаете и останетесь?

Я так удивился этим последним словам, что не нашелся, что на них ответить.

— Не останетесь, — продолжала она и даже вздохнула. — Вас там ваш Дружин ждет. И фамилия как нарочно — от «дружбы».

Я посмотрел на нее и сказал, стараясь делать вид, что это говорится не совсем всерьез:

— Ждет давно, подождет еще. Я предупреждаю вас, Аля, что я деньги вам обратно пришлю, всё, что вы мне дали. Это я легко смогу сделать, как только начну работать, в четыре месяца, может быть, и в три. У меня эти деньги днем и ночью в

мыслях стоят, что́ бы я ни думал, всё о них. Так это не может дальше идти. Я их при первой возможности вам вышлю.

Шутки никакой не получилось и она серьезно ответила:

— Вы мне ничего не должны, Евгений Петрович, напрасно вы думаете об этом. До вас я снимала комнату у людей в квартире, хорошая, большая комната была, но она меня разоряла, кроме того, там было четверо детей и очень тяжелая обстановка.

— Шумно?

— Не шумно, жалко их было. Отец с матерью разводились и они были совершенно одни целый день. Никто не учил их, а как им хотелось учиться! Ведь старшему мальчику было уже двенадцать, и девочке — десять. Они прямо глотали всё, что я им рассказывала, а что я знаю? Когда я училась у Ольги Осиповны, у меня времени не было книжку прочесть, а потом надо было зарабатывать, бороться, не до чтения было. Я совершенно необразованная, я решительно ничего не знаю, но эти дети просто прилипали ко мне, им хотелось всё знать, и ни одной книжки во всем доме. Так было тяжело, что я плакала, когда они от меня уходили. Они никогда не были в школе, родителям было не до них. Целый день они разговаривали друг с другом, они никогда ни во что не играли, даже маленькие, они только всё обсуждали: почему то, почему другое? И вы знаете, что я сделала? Я донесла на них в полицию. И тогда мне пришлось уехать.

— На кого донесли?

— На родителей. Вы знаете, что закон есть: родители обязаны отправлять детей в школу. Иначе — штраф и насильно пошлют учиться. Так вот я пошла в полицейский участок и донесла. Сначала хотела анонимное письмо комиссару писать, а потом решила: надо быть храброй, пойду сама. Сказала: они все четверо такие особенные, они никогда не дерутся и не разбили ничего. Они арифметике друг друга учат на палочках, собственный способ изобрели, и только спрашивают целыми часами: отчего гром? отчего звезды? что за звездами? сколько лет собаки живут? кто был Наполеон? Сделайте что-нибудь, говорю, чтобы помочь. И комиссар поблагодарил меня и, представьте, они всё

сделали, что нужно, и я недавно узнала: трое в школе, четвертый — в детском саду, и все четверо первыми в классе. Как они счастливы, воображаю!

Я молчал.

— Вы думаете, что дурно доносить в полицию? — спросила она, сдвинув брови, выжидательно смотря на меня.

Я всё молчал. Наконец, я сказал первое, что мне пришло в голову:

— Если бы мне дали бомбу и сказали: бросай в кого хочешь, я бы бросил ее так, чтобы весь мир разлетелся.

— Кто же вам бомбу даст, Евгений Петрович? — сказала она совершенно серьезно. — Да и какая же это должна быть бомба, чтобы разлетелся мир!

Через четыре дня я уехал. Аля пошла провожать меня на вокзал. Хозяйке я сказал: моя подруга остается, а я уезжаю. Она ответила, подмигивая (у нее была привычка подмигивать, вероятно, это был тик):

— Мне всё равно, кто живет, лишь бы платили. — «Ах, сказал я, в этом отношении она еще аккуратнее меня: первое число месяца для нее священный день». Мы пожали друг другу руки.

Когда поезд отошел и Аля махнула мне платком, мне показалось, что в ее лице мелькнуло что-то незнакомое мне, чего я никогда не видел в нем, какая-то внезапная грусть, и серьезность, и замутнение ясности, — не знаю слов, чтобы это назвать. Как много вообще случается в жизни, чему нет выражения, нет названия. Как много вопросов остается, в конце концов, без ответа (например: можно ли доносить в полицию?); как много есть такого, чего нельзя объяснить (черную болезнь, которая сидит во мне самом уже миллион лет). Мишель Нерон тоже пришел на вокзал. Он относился к Але равнодушно, у него были свои две подруги. Он тоже махнул платком. И два моих приятеля, два свидетеля моей одинокой парижской жизни, некоторое время шли рядом с окном, в которое я высунулся, и говорили мне:

— Пиши, Женя, пиши нам, как и что. И помоги выбраться отсюда. Не будь сволочью, слышишь?

2

Бывает иногда, что в мае, после двух-трех теплых, летних дней, вдруг наступает холодная, дождливая погода. Для деревьев и птиц, едва прилетевших, время, если и не идет назад, то наверное останавливается. Едва показавшиеся листья так и не распускаются, ждут, сложенные в кисточки, когда это можно будет сделать; птица, едва прощебетавшая как-то утром, забилась под карниз и пережидает непогоду. На дворе льет дождь без остановки целую неделю, небо легло на дома, ветер носит тучи, холодно. И от прохожих на улице пахнет камфарой и нафталином. Это они опять вынули и надели на себя теплые кофты, куртки и пальто, спрятанные было до будущей осени.

Запах камфары и нафталина, как всем известно, убивает любовь. Возможно, что не все нафталинные шарики, не все камфарные осколки выпотрошены из обшлагов, возможно, что люди так поспешно вытянули теплые вещи из шкафов, что не успели вывернуть все карманы. То тут, то там на улицах тянет нафталином, а камфарой особенно сильно пахнет в домах. И так как и то, и другое убивает любовь, то никто в этом мае (похожем на ноябрь) не думает про любовь, не понимает любви и даже как-то осуждает любовь — свою и чужую.

Но на Льва Львовича Калягина никакая погода вообще уже давно не действовала: из дому он почти не выходил, в окна не смотрел; в доме зимой и летом была всегда одна и та же температура, автоматически что-то включалось и выключалось, был один и тот же свет, и только когда он выходил на улицу — очень редко и с большими предосторожностями — он предварительно справлялся о месяце, о дне недели и о температуре — по Цельсию и Фаренгейту.

Я служил у него уже около года. Приехав в Нью-Йорк, я не сразу попал к нему. Целый месяц, живя впроголодь, я шатался по городу, нанимаясь то на одно место, то на другое, и только когда последние Алины деньги подошли к концу и в гостинице

появился счет, за который заплатить было нечем, я прочел в газете его объявление: требовался секретарь.

Он принял меня сначала стоя, но к концу разговора сел сам и палкой с резиновым наконечником указал мне кресло.

Взгляд у него был орлиный, а голос дребезжащий. Он говорил:

— В ваши обязанности, Арсений Петрович...

— Евгений.

— ...будет входить печатание на машинке моей корреспонденции на двух языках, аккуратное ведение дел; у меня две тяжбы, одна здесь, другая — в Европе. У меня жена в Швейцарии живет, все ее счета я оплачиваю. Я мемуары пишу. Необходимо разобрать архив, всё перенумеровать, по папкам разложить... Дочь живет со мной, но она отказалась помогать мне. У меня, Арсений Петрович...

— Евгений.

— ...трудное положение. С одной стороны, надо еще столько сделать — обязан перед будущим. С другой — сколько времени для этого осталось — неизвестно. То есть, начисто никому неизвестно, — секрет судьбы!

Величественно он повернулся ко мне профилем и стал похож на ястреба.

— А сейчас, если вы не спешите, я бы попросил вас, — он вдруг издал странный звук, похожий на хныканье, — я бы попросил вас прогладить мне один носовой платок, мой любимый. Я его выстирал сам, но гладить — судьба не научила. А Людмила, моя дочь, она в разводе и у нее стал от этого характер тяжелый.

В это время где-то за стеной в квартире стало слышно какое-то движение, хлопнула дверь, другая, раздались быстрые шаги и в комнату вошла женщина лет тридцати пяти, небольшого роста с жестким, довольно красивым лицом. Она посмотрела на нас обоих и, ничего не сказав, с выражением глубочайшего презрения на лице, повернулась, вышла и сильно хлопнула дверью.

Калягин не обратил на этот грохот никакого внимания.

— Скажу вам еще: совестно вас беспокоить, но мне необходимо срочно пришить одну пуговицу, вот уже три дня, — он опять захныкал, — как я без этой пуговицы живу. Просто срам. Но вдеть нитку в иголку — нет, этому нас в молодости не учили! Чему учили, то я всё помню, но вдевать иголку в нитку...

— Нитку в иголку.

— ...этому не принято было учить.

Противоположная дверь кабинета тихо открылась в эту самую минуту, Людмила Львовна просунула голову в комнату и сказала:

— А меня вы учили чему-нибудь?

Калягин виновато улыбнулся.

— Познакомьтесь, это моя дочь.

— Здравствуйте! — Она вошла и стала посреди комнаты. Я встал тоже.

— Сидите. Я не хочу мешать. Я только хочу сказать, что вы не всему верьте, что вам рассказывают. Он уже дошел до того, как «царю служил»? Нет? Тогда еще много вам впереди развлечений.

— Пожалуйста, не мешай нам, — сказал Калягин, нисколько не сердясь.

— Одна глава мемуаров будет называться: «Как в семнадцатом году с красным бантом ходил». — Она вдруг оглядела меня с ног до головы. — Было это или не было — это, конечно, никому теперь неизвестно.

Она вышла и опять хлопнула дверью. Калягин посмотрел на меня.

— Видите, — сказал он, — какой характер. Вся — в мать.

Работа моя началась в тот же день. Сначала я пришивал ему пуговицу, потом гладил носовой платок, а позже сел за стол и стал просматривать бумаги. Жена писала ему часто, почти каждое письмо содержало просьбу прислать денег и все они начинались приблизительно так: «Вчера мы с Дэзи читали и перечитывали твое последнее письмо. Как бедная Дэзи чувствует, что ты не любишь ее! Она часто плачет, когда мы говорим о

тебе (ты даже не вспомнил: недавно был день ее рождения!). Бедная, у нее никого нет на свете, кроме меня. Мы опять вынуждены переехать из этой гостиницы и искать другую, пиши до востребования. Нигде не хотят нас держать»... Затем были деловые письма: писал адвокат из Лондона о процентных бумагах, писали из Женевы о продаже недвижимости; были многочисленные письма дальних родственников со всего мира: с Формозы, с Канарских островов, из Персии — один просил денег, чтобы запатентовать изобретение, другой — денег на учение сына, третий — денег на поездку в Париж. И наконец, была папка дел заводов, в которых Калягин поместил свои капиталы. Всё это через неделю я уже знал наизусть. Уходя, мне иногда приходилось мазать ему поясницу иодом, он верил в иод, как в универсальное целебное средство. Тело у него было холеное, с желтизной, в крупных родинках.

Месяца через четыре я выслал Але в Париж мой долг и почувствовал, что настало время начать копить деньги на переезд в Чикаго. Я представлял себе Дружина, я всё время ясно представлял себе его, я, можно сказать, издали не спускал с него глаз. Вечерами я думал о нем, и мне иногда хотелось рассказать о нем кому-нибудь.

Людмилу Львовну в первое время я не видел вовсе. Квартира была в два этажа и она жила наверху, где я не бывал. По утрам приходила старая ирландка, прислуга, которая мыла посуду, оставленную с вечера, убирала комнаты, готовила обед. Калягин обедал днем один, в большой столовой, прислуга подавала ему, убирала и уходила. Она, вероятно, воображала, что он глух, я часто слышал из кабинета, как она кричит ему:

— Ужин ваш в леднике оставлен. Только разогреть и съесть. То, что в голубой кастрюле, согреете и опрокинете в белую миску, и обольете всё из стеклянной чашечки. Поняли?

Калягин отвечал:

— Понял. Я не глухой.

— Я к тому кричу, чтобы вы наоборот не сделали. А потом вам компот. Старым людям сырые фрукты есть нельзя. Доктор сказал, что у вас в кишках фауны мало.

— Я слышу.

— Прощайте.

В первое время я выходил, съедал сандвич, пил кофе. Потом Калягин сказал, чтобы я обедал с ним вместе, и тогда вечером, прежде чем уйти, я обычно «опрокидывал» содержимое голубой кастрюли в белую миску — или наоборот, что доставляло ему большое удовольствие.

Только через полгода после того, как я появился у Калягиных, случился мой первый разговор с Людмилой Львовной. В этот день Лев Львович выехал на какой-то торжественный обед со своими однокашниками (не то по полку, не то по училищу). Я провозился с ним часа два, наконец, посадил его в такси и, вернувшись, пошел в спальню с намерением привести в порядок его гардероб и ящики комода. Он давно меня об этом просил.

Она вошла, в шляпе и перчатках, и села у двери, на стул. Лицо ее было сухо и в глазах была та жесткость, которую я заметил еще в первый раз. Голосом насмешливым и резким, она сказала:

— Сразу видно: европеец. Стал бы американец из секретаря превращаться то в кухарку, то в прачку, то в лакея.

— Если вы думаете, что в ваших словах есть для меня обидное, то вы ошибаетесь: у меня в характере есть склонность к непротивлению и я ничего не имею против того, чтобы быть кухаркой и лакеем.

Мой ответ, видимо, удивил ее. Она помолчала. Я аккуратно складывал калягинские рубашки.

— Сколько он платит вам?

— Простите, — сказал я, — это не ваше дело, а мое с ним.

Она прищурилась.

— Вы не знаете, с кем имеете дело, — и она покачала носком ноги, — мои родители оба сумасшедшие, оба одинокие, несчастные люди. Они и меня сделали сумасшедшей, одинокой и несчастной. Но они не сознают этого, а я сознаю.

Я продолжал выдвигать и задвигать ящики комода.

— Они живут, как во сне. Они лунатики, — продолжала

она, — и я жила, как лунатик, пока не поняла, что сегодня ты — лунатик, а завтра— кандидат в сумасшедший дом. Всё их поколение — безответственно и патологично. Смотрите, до чего они довели и себя, и весь мир кругом. А если заставить их продумать всё до конца: кто они, что сделали с собой, со своей жизнью, со своими детьми, они увиливают, сколько могут, а потом плачут.

— Но они вовсе не так несчастны, — возразил я, еще не зная, как мне себя с ней держать, поддержать ли ее разговор, или в него не втягиваться. — Они иногда очень даже счастливы, такие, как есть. Счастливее, чем мы с вами.

Она открыла свою большую сумку, в комнате запахло духами; вынув папиросы и спички, она закурила.

— Но я совершенно не считаю, что счастье — цель и самое главное в жизни. Самое главное: чувство ответственности и логика. Это для них совершенно непонятно. Творят, не зная что творят. Возможно, что за это им откроется Царствие Небесное, но лично я бы не культивировала всех этих кротких и нищих духом, которые столько испортили во весленной.

— Простите, — прервал я ее, — вы сказали вначале, что родители ваши одинокие, несчастные люди. Насколько я понимаю, ваша мать не одинока: при ней подруга или родственница?

— Это вы про Дэзи?

— Да.

Людмила Львовна посмотрела на меня холодно:

— Это ее китайская собачка.

В это время зазвонил телефон и я пошел в кабинет. Когда я вернулся, Людмилы Львовны уже не было. В комнате пахло духами, в пепельнице дымился окурок. Я постоял несколько минут, послушал, не хлопнет ли дверь где-нибудь, но на этот раз она исчезла бесшумно.

Каждый вечер, уходя к себе в гостиницу, я думал о том, что, несмотря на полное одиночество в этом городе, мне в нем сейчас живется не хуже (но и не лучше), чем жилось раньше. Время от времени, как все последние десять лет, и здесь возвращался ко мне изредка тот сон, который преследовал меня и сделался

одной из тайных основ моей жизни. Его почти невозможно передать словами. В нем ничего не случается. В желтоватом густом тумане я двигаюсь бесшумно, словно на колесах, не двигая ни одним мускулом, в полной тишине. Ощущение выжженной пустыни. Ощущение безмолвия и отсутствия времени. На пути моем иногда попадаются странные растения, серые, серо-желтые, как всё вокруг, как я сам. Я, может быть, спелёнут? Или я деревянная кукла с неотделенными руками и ногами? Растения колючи, сухи и безмолвны, они неподвижны. Я медленно скольжу мимо них. Впереди всё то же..... Я думал также о том, что живу здесь временно, что я, наконец, сделал усилие, что-то решив, на что-то решившись, обошел препятствия, проявил волю и, может быть, нашел путь выскользнуть из своего полу-бытия. И еще я всё больше проникался мыслью, что я человек несложный, и мог бы быть сравнен с чем-нибудь, что лежит на полпути между буки-аз-ба и квантовой теорией.

Лев Львович Калягин тоже находился где-то между этими двумя полюсами: он слагался из нескольких элементов. Один из них была потребность в знакомой даме, особе средних лет, которую он никогда мне не показал, но о которой не раз говорил:

— Было время, я считался большим знатоком по женской части, олицетворением, так сказать, спроса, который порождает, как известно, предложение. Сейчас беспризорность моя требует этого, ведь я — сирота. Держать ее теплые руки в руках. У меня руки всегда ледяные, очень это неприятно, согреться хочется, как каждому человеку. Потребность чувствовать живую женщину возле себя. Вы меня, конечно, понимаете. Страсти там, или ревности, или романтизм какой был — это прошло, но беспризорность моя требует женской защиты.

И когда ему нужна была эта защита, он просил соединить его с ней по телефону. У нее было длинное имя, длинное отчество и длинная двойная фамилия, и он ласково говорил в телефон: «Соскучился по моему ангелу. Замерз, холодно беспризорному. Пожалейте беспомощного страдальца, одной ногой в гробу».

Другим элементом были его два приятеля. Первый звался Павел Павлович и имел отношение к той главе мемуаров Каля-

гина, которую Людмила Львовна называла «служил царю». Другой звался Петр Петрович и относился к следующей главе, которая называлась, опять же, по словам Людмилы Львовны, «как в семнадцатом году с красным бантом ходил».

Третьим элементом Калягина была церковь: он то ходил с Павлом Павловичем в одну, то с Петром Петровичем в другую, а иногда, когда лень было далеко ехать, еще в какую-то третью, в которой что-то было по другому, чем в первых двух. Из церкви он приходил, как сам выражался, «просветленный» и меньше бывал похож на ястреба. Один раз в такую минуту просветления и, видимо, всепрощения, он спросил меня, считаю ли я *тоже*, как некоторые другие, что Сталин был вроде Петра Великого? Я мгновенно решил, что это бьет час нашей с ним разлуки, что, пожалуй, придется его послать к чорту с его женой, дочерью, адвокатами и мемуарами, но уже через пять минут он не помнил об этом вопросе, — память его слабела с каждым днем, — и больше о так называемой «политике» мы никогда уже с ним не говорили.

Прошло недели две со дня первого нашего разговора с Людмилой Львовной, когда на моем столе я нашел от нее записку: «Если вы свободны сегодня вечером, поднимитесь ко мне». Я поднялся после шести. Она была в легком, светлом платье и сандалиях, с толстым бисерным ожерельем на шее, и хотя лицо ее всё еще оставалось жестким, она улыбалась и хозяйничала, двигалась легко, присаживалась на диван и на ручку кресла, и опять быстро ходила по комнате, пока я сидел и думал, что неожиданным образом у нас с ней оказалось так много о чем говорить, что, пожалуй, сегодня вечером и не переговоришь всего. И одновременно с этим, так легки, спокойны и почти сладостны оказались немедленно наши с ней молчания, в которые мы, как в защитный цвет, кутались оба одновременно.

Вспоминая теперь этот наш первый вечер, я пытаюсь найти в нем что-то, что могло бы дать намек на дальнейшее, и нахожу его прежде всего в самом факте приглашения меня наверх. Зачем это было сделано? Вероятно, от скуки и любопытства. Я не могу поверить, что уже тогда в Людмиле Львовне началось

то, что потом обернулось любовью ко мне, на которую, кстати, я, конечно, не ответил. Помню, меня в первую минуту поразили ее глаза: серые, с голубизной вокруг зрачка, какие-то прямые, с прямолинейным взглядом, который она не сводила с меня. Мы сразу же заговорили о человеческих лицах, о том, как они изменились на нашем веку вокруг нас, о том, какими они были сто лет тому назад, и тысячу лет тому назад. («Пожалуй, что тысячу лет тому назад они были больше похожи на нас теперь, чем во времена Шиллера», — сказала она).

— У вас не совсем обычное лицо, — между прочим, заметила она, — я хочу сказать, по форме, что-то в нем есть не совсем... не могу найти слова... — И в это время выражение ее собственного лица помягчало, доброта и юмор оживили его.

— Что вы! В первый раз слышу! — воскликнул я (это была сущая правда) и при этом нечаянно опрокинул стакан. К счастью, он был почти пуст. Я вдруг почувствовал, что настало время начать говорить о Дружине. — У меня есть друг в Чикаго, вот у того лицо! Вы бы видели! Без смеха смотреть невозможно.

Но на этом, как можно было предположить, разговор не кончился, казалось бы — перешли от общего к частному, а затем — повернули к чему-то другому, но нет, мы задержались. Дело касалось Дружина и ей захотелось узнать, кто он такой.

— Начать с того, — сказал я и вдруг понял, что сейчас окончательно развеселю ее, — начать с того, что он совершенно не догадывается, что невероятно похож на лошадь. — Как я и предвидел, Людмила Львовна громко рассмеялась. — Затем, сказать вам правду, у него есть целая теория: он любит только тех людей, которые напоминают лошадь. Они благороднее.

— А себя не видит? — едва выговорила она сквозь смех.

— Нет.

— Где же они, эти люди?

— Он их ищет. Одно время мечтал создать тайный союз лошадиных лиц.

На нее после продолжительного смеха напала немота. И мы смотрели друг на друга несколько минут в молчании. Почему-то

мне кажется, что в эти именно минуты в ней начался перелом. Удивительно, как помягчали очертания ее скул и подбородка, как прямолинейный взгляд ее вдруг приобрел какую-то нежность и гибкость, и даже свет, и грусть. Ее худые руки вдруг разомкнулись и я увидел ее красивые пальцы, которые мне захотелось сжать, сплести друг с другом и с моими вместе, и потом прижать к лицу. Я не двинулся.

Помню, она заговорила о себе. Прадед ее еще лежал на боку. Она так и выразилась: прадед мой всю жизнь пролежал на боку и дворовые его время от времени переворачивали. Диван был турецкий. Дед был женат три раза: первый раз на Губкиной, второй на Веревкиной, третий на Столовщиковой, дела семейства поправились, заводы дымили на всю Россию. Отец... позвольте, а что же делал отец? Если память мне не изменяет, он ничего не делал. Так-таки ничего. Но за него многие что-то делали. И выходило так, что можно было жить. О, моя юность, о, моя свежесть! Вышла я замуж шесть лет тому назад, а теперь вот развожусь, муж меня бросил, сказал: никак не пойму, в чем тут дело, но жить с тобой невозможно, ты совершенно не смешная. Женщина должна быть немножко смешной. Что это значит, я не понимаю, а вы понимаете?

Музыка в радио играла, на столе лежала стопка книг, которые все до одной хотелось прочесть, и другая, рядом, в которой были какие-то цветные репродукции, которые все до одной хотелось перелистать. Сидеть с ней рядом, перелистывать книжки, слушать тихий струнный квинтет в радио, смотря, как ее нежно пахнущие волосы всё падают на одну сторону склонённого лица. Она говорит о том, что «рай» значит «сад» на каком-то незнакомом мне языке, что она где-то читала об этом, а «ад» наверно — скучная комната в казенном учреждении, где люди чего-то ждут; знаете, в судах бывают такие помещения, в ломбардах, на вокзалах... Мне кажется, что я тоже что-то слыхал об этом, про большую серую комнату, выкрашенную масляной краской, где окна никогда не открываются, где пахнет карболкой, где стоят скамьи, и я чувствую, что сам я там был, что она говорит о чем-то, что мне хорошо известно.

— Эту легенду прошлого века надо бы оставить, легенду о том, что в раю — смертная скука, а в аду — интересные люди и все — знакомые. В раю Сократ с Гомером разговаривают и каждый может послушать, а в аду нет ничего, кроме скучной казенщины и мерзких чиновников.

— С бельмом на одному глазу, — вставил я.

— С бельмом на одном глазу, — повторила она, — и часовая стрелка не двигается миллионы лет.

— Пока не закрывается окошечко.

— Пока не закрывается окошечко и тогда совершенно некуда идти. А в раю...

— ...в чистых стойлах стоят лошади, караковые, гнедые, чалые, вороные и в яблоках, — успел я вставить.

— ...в яблоках, и такие чистые, что хочется щеку приложить к их гладкому боку. А у людей у всех лица немножко, как у вас, — она вдруг осеклась и почему-то испуганно замолчала.

— Почему, как у меня? — спросил я удивленно.

— Не знаю, — робко сказала она и прервала разговор.

Она никогда не была в Чикаго и представляла его себе смутно, и хотя я тоже никогда там не был, но я сказал ей, что Дружин в свое время кое-что писал мне об этом городе, и я мог бы рассказать ей.

— Во-первых, он в некоторых местах похож, как если бы его гравировал Пиранези.

— Не может быть! — удивилась она.

— Уверяю вас, — продолжал я, и голос мой звучал самым твердым убеждением, — он как будто выгравирован Пиранези, только не тем, музейным, чужим, а его потомком, двойником, близким нам, нашим современником. Этот, наш, работает больше по стали, по той, из которой только по случайности не отлили болт или рельсу, и которая побывала в мартеновой печи вместе с частями машин, набравшись от них чего-то, чего никогда не знал тот, музейный. Особенно это заметно в тех буйно-мрачных кварталах, которые тянутся от северного рукава реки к южному, проходят мимо нескольких вокзалов, обнимая с двух сторон Канал и теряются между

Гусиным Островом и верфями. В этих узких улицах, от крыш до мостовых, висят лестницы, наружные, пожарные, ломаными линиями видны они в воздухе, на фоне белого дневного или красного ночного неба. Эти лестницы наводят на мысль об изнанке жизни, домов, города, они напоминают колосники за сценой гигантского театра; иногда неподвижные фигуры, скрючившись и свесившись, спят на них, как черные мешки, и кажется, что эти спящие люди не случайно улеглись на железо, на той или иной площадке, но отвоевали себе сон в пьяной драке, или выторговали его в пьяном споре. Эти буйно-мрачные кварталы, в сущности, ничем от остального города не отграничены, они похожи на жилу, идущую по городу, узкую на севере, где они пытаются дотянуться до Золотого Берега и почти доползают до набережной Петли, и широкую у гавани и там, где они уходят к югу, к зданиям заводов, ссыпок и боен.

— Вы там были? — спросила она, удивленно глядя на меня.

— Нет, не был.

— Откуда вы все это знаете?

Я ничего ей не ответил.

— Рассказывайте дальше.

— Я расскажу о реке. Это очень оригинальная река. Она когда-то, пройдя под шестьюдесятью мостами, вливалась в озеро, а теперь, наоборот, выходит из него и идет сквозь каналы и реки в долину Миссисипи; вода так тяжела и грязна, что никому и в голову не придет топиться в ней. По эту сторону стоит тяжелая, сумрачная тюрьма, по ту сторону, в тумане, плывущем с озера, стоят, как корабли, высочайшие здания мира. Порядка особого нет: Северная авеню идет с востока на запад, Западная авеню идет с севера на юг, южная часть города называется Восточным концом, и солнце, выходя из воды, опять будто садится в ту же воду: когда оно заходит на западе, на востоке падают красные отсветы в воду. А туманы идут на север, величественно проплывая мимо великолепного озера, похожего на Средиземное море. Да оно и есть Средиземное море для этого полушария, это несомненно, и одновременно —

великий водный путь «из варяг в греки», то есть из залива св. Лаврентия в Караибское море. От Лабрадора идет он к Вест-Индии и берег Чикаго лежит посреди великого водного пути.

— Это вы сами выдумали?

— По-моему, нет.

В эту минуту стоявшие на камине часы прозвенели таким тонким и нежным звоном, словно в Художественном театре, в третьем действии «Месяца в деревне». Я вскочил. Неужели я просидел у нее четыре часа? Если положить на разговор об аде и рае двадцать минут и часа полтора на Чикаго, да еще полчаса на ее рассказ о дедушке, пролежавшем на боку, то все равно не выйдет четырех часов. Куда время девалось?

— Куда время девалось? — вскричал я. — Куда?

— Я его не брала, клянусь вам я ничего не взяла у вас. Не кричите так, если услышат, подумают, что вас и впрямь ограбили.

— Простите меня, теперь вы меня никогда больше не позовете.

Она засмеялась.

— Я думаю, — сказала она, — что ваш лошадиный Дружин писал вам необыкновенные письма. Приходите опять. Или вы уже все рассказали, что знали?

— О нет. Я еще много могу.

Мы оба теперь смеялись, и я наконец ушел. «Откуда у нее такие часы? — думал я по дороге домой. — Наверно, по наследству от дедушки».

Я думал о ней, и ее внезапной женственности, которую она таила в себе и которую у нее, очевидно, вошло в привычку не показывать всем и каждому, будто это что-то, хранимое в тайне и не для всех. Она хранилась, и теперь была показана мне, — думал я. — Зачем? Что мне с ней делать?

Через неделю мы были с ней в концерте, в новом зале, открывшемся в здании музея, обшитом темным деревом. «Сидишь, как внутри контрабаса», — сказала она, смеясь, и была веселой в тот вечер, веселой и нарядной, почти что слишком нарядной, и я видел, что люди кругом любуются ею.

Я проводил ее домой и поднялся к ней. Она сейчас же открыла радио и опять раздалась та же самая музыка, что и в первый раз словно я не уходил от нее никуда.

— Так как же в Чикаго? — спросила она, садясь в угол дивана.

Я медленно перевел глаза с радио на часы, с часов на нее.

— Там люди ходят по улицам днем и ночью, будто у них другого дела и нет. И лица у них двух родов; у одних вечная забота в глазах, а у других какая-то особенная сонливость и вялость. А улицы текут и текут, пока наконец не превращаются в какие то щели, в два-три шага шириной, но и такие они имеют названия. Не какие нибудь красивые звучные названия, но имеют. А настоящие улицы там называются улица Бонапарта, Гете, Байрона, Данте, Моцарта и Цицерона. Но о них я ничего вам сказать не могу, я могу рассказать только о щелях, где имеются между прочим парикмахерские, где бродяг стригут даром — для практики, парикмахерские ученики на них свое искусство пробуют. Риск велик, что тебе на затылке «лестницу» устроят, но нищий сброд ужасно храбрая порода, и — панта рей! — все течет и отрастает, и через неделю ты опять человек. А кроме парикмахерских есть еще разные лавчонки, где можно заложить и пропить все, что только вообразить возможно. Однажды один человек заложил там свой деревянный протез и потом скакал из кабака в кабак на одной ноге. Есть и благотворительные общества, конечно, которые пекутся о бездомных и пьяницах. Есть например «Санаторий для алкоголиков по пониженным ценам», так и на вывеске написано; есть и детские приюты для несовершеннолетних, «имени Давида Копперфильда». И конечно есть Армия Спасения — дай ей Бог здоровья! — ее всегда можно узнать по барабану, в просторечьи называется она Салли. Вы входите прямо с тротуара в большую комнату, там люди хором поют в унисон:

Прекрасно мир устроен весь:
Есть всем что пить, есть всем, что есть.
Хвалу Создателю пою.
Еще прекраснее — в раю.

Эти места, где сначала надо пропеть хором, а потом можно вымыться и съесть тарелку супу, а также получить в ночлежке матрас, называются «четыре С», и это значит: Спасение души, Соскрести грязь, Суп, Сон. Есть другие, «три С», где только: Спасение души, Соскрести грязь, Сон. И есть еще разные более сложные комбинации, о которых сейчас не стоит. Уже поздно и надо мне уходить.

Она встала, задумчиво смотря, как гашу папиросу, как иду к дверям.

— Если вы хотите, мы могли бы поехать за город в будущее воскресенье, — сказала она, загородив мне дверь, — то есть, если будет погода хорошая.

— Если я хочу, — повторил я. — Конечно, хочу. А вы сами хотите?

— Разве по мне не видно, что я этого хочу? — сказала она и улыбнулась. Так она улыбается мне одному, — подумал я, поцеловал ее руку и вышел.

Было лето, жимолость цвела и благоухала, и мы сидели над водой, над заливом, где сотни парусных лодок качались на волнах, бежали вдаль и возвращались опять. Я искал в ее лице того выражения, которое было в тот первый раз, когда я увидел ее в кабинете Калягина, и не находил, а ведь оно было, оно так отчетливо проступило тогда, в той «сцене», которую она устроила при первом знакомстве со мной, и значит могло вернуться опять. Но она с каждой нашей встречей как будто все отдалялась от себя, прежней, взгляд, голос, движения ее — все перерождалось у меня на глазах, и уже не улыбка, а какой-то очень молодой, негромкий, почти детский смех, беззаботный и прозрачный теперь сопровождал наши долгие разговоры. А я все смотрел ей в лицо и думал о том, что оно было задумано суровым, основа его была жесткой, но то, что набегало теперь и преображало его, было совсем иным.

— Мне кажется, — говорила она, то отпивая кофе из чашки, то разрезая грушу ножом и предлагая мне маленький кусок на вилке, — что никакого Чикаго нет. Подождите, дайте мне объяснить вам, есть какой-то странный, страшный огромный

город, о котором вы знаете очень много, но который ни вы, ни я не увидим. А вместе с тем, мы как будто уже и живем там оба.

— Вы, может быть, не увидите его, но я наверно увижу.

Она помолчала.

— Я уеду туда очень скоро, мне здесь делать нечего.

Она посмотрела на меня как-то странно.

— А меня с собой не возьмете? — спросила она вполне серьезно.

Я засмеялся.

— Что вы там делать будете?

Она повернулась к висевшему на стене, над нашим столиком, большому синему зеркалу и внимательно посмотрела на себя.

— Нет, у меня не лошадиное лицо, — сказала она грустно, — вы заметили, что женщины к старости становятся похожи либо на рыб, либо на птиц, либо на ученых собачек. Я думаю, лет через двадцать я подойду под третью категорию.

— Вам до старости далеко, — сказал я, все смеясь.

Но она не смеялась.

— Скажите мне, Евгений Петрович, — спросила она, вдруг решившись на что-то, — если бы у меня было лошадиное лицо, вы бы взяли меня с собой?

Она говорила совершенно серьезно, но я не знал, что ей ответить, я был вдруг скован молчанием, которое не сумел прервать.

Вечером мы сидели в дюнах, слушали море, лежали и смотрели в небо.

— Нет, не верю я, — сказала она вдруг, — что звезды так далеко: миллионы световых лет — это просто ничего не значит. Когда-нибудь откроют, что они гораздо ближе, и все, что нам казалось бесконечным и огромным, вдруг окажется совсем небольшим и гораздо ближе.

— В Париже, — сказал я, — бывают уличные ярмарки: цирк, уроды, акробаты, гадалки, стрельба в цель. Однажды в каком то сарае поместился предприимчивый астроном-самоучка с телескопом. Зазывала (там всюду зазывалы, как сто лет тому назад) кричал в рупор: Эй вы, заходите, за полтинник звезды

увидите. Живете, как кроты, в Бога не верите, красоты не чувствуете, хоть на звезды поглядите!

Теперь она засмеялась весело, приподнялась на локте, увидела, что я сижу и смотрю на нее, осторожно повалила меня на спину, продолжая смеяться, подняла мое лицо к небу, взяв меня за подбородок, и повторила:

— Хоть на звезды взгляните!

Я положил одну руку под голову и стал смотреть в небо.

— Эти зазывалы — удивительный народ, это какие-то неудавшиеся ораторы, — заговорил я опять, лежа на спине. — Вот в Чикаго...

— Да, в Чикаго... Что в Чикаго?

— Там эти неудавшиеся ораторы целые речи произносят. Встанет один такой на пустой ящик из-под мыла, на перекрестке, где вместо дерева растет тощая метла, и начнет лекцию читать, например, об эффективном нищенстве: как научиться с наименьшей затратой энергии выклянчивать максимум денег у прохожих. Целая наука! Или вот другой тоже — о том, как получать удовольствия, которые ничего не стоят.

— Не может быть!

— Можно в парках гулять и природой любоваться, можно даром в городских садах духовой оркестр слушать, можно старую газету найти и прочесть ее от доски до доски, старые газеты интереснее новых. Можно сочинить романс и пропеть его где-нибудь на углу, и люди внимательно прослушают его до конца — так уж человек устроен, и можно на даровые курсы пойти, узнать какие грибы ядовитые, а какие нет, и когда австралийские дикари календарем обзавелись. Вам советуют также, между прочим, заходить иногда в музей, а нет так пойти в порт и любоваться татуированием на открытом воздухе. Можно также часок-другой простоять внизу какой нибудь лестницы и полюбоваться на женские ноги. Но самое большое развлечение это — санитарная анкета.

— Какая анкета?

— Санитарной статистики. Очень весело. Дают вам опросный лист и вы пишете, что хотите. Сколько раз в неделю

обедаете? Сколько раз под открытым небом ночуете? Сколько раз в неделю моетесь — и клетка, где крестик ставить: горячей водой, холодной водой. Пользуетесь ли благотворительной помощью? Когда в последний раз работали? Один человек однажды написал: сорок два года тому назад. Почему не работаете? Не желаю! Некоторые пишут: очень бы хотел поработать, но делать хочу только то, к чему душа лежит, потому что иначе и жить не стоит. И спрашивает вас барышня: а что бы вы хотели делать? И человек говорит: я хотел бы развешивать флаги. Какие флаги? Национальные, которые по праздникам развешивают, я специалист по развешиванию флагов и ужасно люблю праздники. А другого делать ничего не буду.

Наступило долгое молчание. Оно никогда не бывало тягостным с ней.

— Вы знаете, Евгений Петрович, — сказала она через некоторое время, — я совершенно меняюсь с вами. Никто бы меня сейчас не узнал. Это оттого, что вы меня нисколько не боитесь. Вы не можете себе представить, какое это счастье, когда человек тебя не боится.

— Почему же люди боятся вас?

— Спросите их. Я кажется вам уже говорила, что муж бросил меня, сказав, что я совершенно не смешная, что я для него слишком хитроумная и неуютная. И он признался, что иногда... не то что боялся меня, а как-то опасался. Вы понимаете это?

— Кажется, понимаю.

Она протянула руку и положила ее на мою, мы оба лежали на песке и смотрели ввысь.

— Он еще сказал раз: ты живешь так, будто в тебе и днем, и ночью маленький механизм работает, а я, знаешь, люблю иногда и соловьев послушать, и ошибиться в чем нибудь. Я много об этом после думала.

Она сняла свою руку с моей и повернулась на бок, положив голову себе на локоть, смотря на меня и гладя тонкий песок смуглой рукой. Песок казался снегом под ее пальцами.

— Мне хочется и слушать вас, и самой говорить вам о себе, — сказала она после паузы, — и я дорожу каждой ми-

нутой с вами. Мне до встречи с вами всегда казалось, что я хорошо себя знаю, свои границы, так сказать. Ведь у каждого человека есть границы, вы согласны?

— Да.

— Но с некоторых пор я увидела вдруг, что совсем не знаю себя. И вместо того, чтобы почувствовать себя от этого потерянной, запутавшейся в чем-то, неуверенной в себе, я чувствую себя счастливой. И мне хочется сказать вам об этом.

Мы опять долго молчали и каждый думал о своем, и она молча подвинулась ко мне и положила мне голову на руку, у локтя, и замерла. Потом она спросила:

— Не тяжело?

Я ответил:

— Нет, оставайтесь так.

Потом мы пошли к автомобилю и по широкой, залитой луной автостраде понеслись обратно, в город. Она любила быструю езду, вела уверенно и спокойно. И остановившись у моего подъезда, она протянула мне руку. Я встретился с ней глазами.

— Какая вы иногда бываете красивая, — сказал я, — и добрая. Когда этого хотите.

— Я всегда этого хочу... теперь, — ответила она.

Автомобиль отъехал, я вошел в подъезд.

Лето кончалось: все, что цвело в парках и скверах, давно отцвело и сгорело от солнца. Пахло бензином и пылью. В каждом городе — свой запах, как известно, и в Нью Йорке тоже, и если в Париже пахнет бензином, асфальтом и пудрой (а в Берлине, в годы моей юности, пахло бензином, сигарой и псиной), то в Нью Йорке пахнет бензином, пылью и супом, особенно в жаркие дни и жаркие ночи, которым здесь ведется строгий учет, пока жара не нарушается внезапной грозой или ураганом, несущимся то с Караибского моря, то с Лабрадора, совершенно, я бы сказал, анархично и беспланово. Время начинает бежать все быстрей, свежий ветер дует с океана, о чем Льву Львовичу Калягину становится известно из ежедневно читаемых газет.

Мы виделись теперь почти каждый день. Я поднимался к Людмиле Львовне, обедал у нее; под гуденье вентилятора мы

слушали Баха и Моцарта в радио, или разговаривали, или шли или ехали куда-нибудь. У нас уже были любимые места в Центральном Парке; когда мы пересекали его по диагонали и выходили к другому его концу, в ресторане под открытым небом играла музыка и пары танцовали на кругу. Здесь мы сидели иногда до поздней ночи и я шел ее провожать, уже не через Парк, а по улицам, где нас не знал никто и где мы никого не знали.

Однажды вечером, когда было особенно душно и казалось конца не будет влажному тяжкому сентябрьскому дню, она предложила мне поехать вниз, к морю, в самый конец города, и там сесть на пароход, идущий на остров, — всего двадцать минут до него и можно будет сделать этот переход два, а то и три раза, пока не наступит ночь и мы не дождемся прохлады. Помню, мы оказались очень скоро на краю города, на мысу. Солнце начинало садиться, зажигались городские огни. Три парохода стояли, готовые к отплытию, и на один из них мы взошли и сейчас же у обоих нас возникло то беззаботное чувство, какое бывает, когда уплываешь, собственно, не зная куда, и когда вернешься — тоже неизвестно, чувство такое редкое, которому почти никогда не имеешь права поддаться.

— Может быть все-таки спросить, куда мы плывем? — сказал я, когда мы сели в соломенные кресла и пароход, протрубив и пустив черный дым, начал отходить от берега.

— Все равно. Теперь уже поздно.

Мы сидели на носу и не видели города, оставляемого позади. Впереди было море, жаркий, безветренный оранжево-серый вечер; справа, за черными громадами заводов, садилось солнце и мосты, трубы и здания сначала некоторое время таяли в расплавленном, тронутом дымкой, золоте, а потом, когда солнце село, все это как будто выстроилось в один ряд на горизонте, на фоне зари, выстроилось ровной чертой, как черное войско, смотрящее на нас грозно, но постепенно исчезающее из вида, сливаясь с темнеющим небом. Быстро смеркалось. Чайки прятались, исчезали и вновь летели над нами. Слышно было, как плещутся вокруг волны, как глубоко под нами рабо-

тают машины. Наши кресла были сдвинуты, мы сидели рядом, она слегка впереди меня, откинувшись на плетеную спинку, смотря перед собой и думая о чем-то, а я смотрел на нее, на ее волосы, на очертания ее головы и шеи, теперь такие знакомые и чем-то странно близкие мне. Внезапно она сказала:

— А вы знаете, ведь мы едем совсем не туда!

— А куда, собственно, мы думали ехать?

— Не знаю. Только мы едем совсем куда-то в другое место. Мы поворачиваем. Интересно, вернемся ли мы, или нас завезут куда-нибудь и там оставят?

В это время подошел билетный контролер, мы купили два билета и узнали, что пароход делает большой круг, огибает остров, дважды останавливается и возвращается обратно к полуночи. «Как хорошо, — сказала она, — как хорошо».

— А вот в Чикаго есть дети, — начал я, смотря как все дальше уходят от нас берега и темнеет воздух, — которые не грабят, не воруют, не нищенствуют и не развратничают, они только целыми днями и ночами играют в карты.

Она обернулась и взглянула на меня.

— Устроятся где-нибудь на пустыре, где дом сломали, на куче щебня, поставят кем-нибудь брошенный безногий диван или старый матрас принесут с богатой помойки, и режутся по четыре-пять суток сряду. У них такие худенькие лица и всегда сжатые губы, иногда, впрочем, у них рождаются дети. Однако, редко. А вот старики там *сидят*. В подворотнях, под деревом, около памятников, и, конечно, в специально предназначенных помещениях. Просто сидят. За это взимается маленькая плата, а иногда и не взимается. Старые люди сидят. Их развлекают понемножку, а больше ничего. Так проходят дни, месяцы, годы. А они все сидят и сидят. И единственная их радость — выбрать, где сидеть. Хочешь — тут, хочешь — там. И выбрать, где спать: в ночлежках клетки в два этажа и, по-моему, все одинаковые, но они выбирают. Клетка запирается изнутри, они могут с внутренней стороны наложить крючок, понимаете, с внутренней, не с наружной! И еще они могут выбрать, что есть: бобы, горох, фасоль, кукуруза. Никто не навя-

зывает им, у каждого — своя банка, не казенный рацион, а свободно выбранная, индивидуально съеденная, под защитой наложенного крючка. Личная койка и личная банка.

— Он сам там был? — спросила она, слегка съузив глаза.

— Кто?

— Да этот ваш, похожий на лошадь.

— Н-нет. Он там не был. Он просто интересуется. Он там давно живет. И всегда любил всякие странности и теперь измениться не может. Он не меняется.

— Разве такие люди бывают?

— Кроме того, он говорит, что это соответствует некоторым образом тайным струнам его души.

— Я понимаю.

— Он выражается иногда не совсем обычным образом, и струны души надо понимать в кавычках.

— Я и это понимаю.

Пароход шел и шел, спускалась ночь, черно-синяя, вся в огнях, все с тем же привкусом соли и дыма.

— Я бы хотела посмотреть его письма...

Я не встретился с ней глазами, я стал смотреть вправо, там блестела и играла вода.

Названия мест, куда мы шли, мы оба с ней немедленно забыли, они ничего не сказали нам. Когда стало совсем темно и берега пропали, она обернулась ко мне и проговорила:

— Расскажите мне теперь, наконец, о себе самом, о вашей жизни. В Чикаго вы, видимо, меня с собой не возьмете. Ну и довольно о нем. Вы всегда были одни?

— Нет, — ответил я, — не всегда. Но вот уже десять лет, как я один.

— А до этого?

Настала минута, о которой я не раз думал за последние недели, я с усилием выговорил слова:

— До того я был женат. Я был женат пятнадцать лет. Я был счастлив.

Людмила Львовна вся выпрямилась в кресле, вытянулась,

и даже в сумраке стало видно, как все лицо ее насторожилось, как увеличились глаза и контуры лица стали резче.

— А я-то воображала, Евгений Петрович, что вы никогда не имели дела с женщиной.

Я молчал и думал о том, что может быть эта поездка «не туда» окажется нашей последней встречей.

— Что же вы молчите, скажите что-нибудь, — продолжала она, — вы были женаты, вы были счастливы. Неужели это все, счастливый человек?

Последние два слова прозвучали лишенные всякого смысла. Эти «ч» прохрустели, прошуршали, как сухой осенний лист, который кто-то сломал и растер в руке в порошок, и стряхнул, как пыль. Я не мог произнести в ответ ни одного слова: старые мои мысли, тяжелые мысли о самом себе возвращались ко мне с новой силой, мысли о моей неспособности забывать и примиряться, внутренне меняться, быть сильным самому по себе; мысли о страшной трещине, живущей во мне миллионы лет.

— Вы на самом деле — счастливый человек, — сказала она каким-то новым голосом (или это был ее прежний, старый голос, которым она говорила когда-то, а потом перестала), — первый счастливый человек, которого я встречаю. Было горе, конечно, как же без него? У всех бывает. Ну а потом, значит, жили, как хотели, примирились, забыли, вольной птицей по миру порхаете, никого не любите, любить не желаете. Не страдаете, страдать не хотите. А я, признаться, думала, что вы какой-то особенный, особенно-одинокий, из той породы, которые все не находят чего-то, не знают, куда им приткнуться, к кому притулиться... Обманули вы меня! — насмешка прозвучала в ее голосе.

Но я не был уверен, шутит она или говорит всерьез. Я ответил едва слышно:

— Если бы мне дали в руки бомбу, то я бы...

Она засмеялась:

— Вам? Бомбу? Да вы бы ее сейчас же вежливо вернули с ужасным испугом. Лучше уж пусть мне дадут бомбу, я бы знала, в кого ее бросить.

— В кого же?

— Да в вас, конечно.

Кругом была ночь. Мы шли в открытом море; это был океан, неведомый ночной путь. Внизу, на нижней палубе тихо играл оркестр и невидимая негритянка немолодым, низким голосом пела «*blues*», которые звучат под этими широтами, как звучало у нас цыганское пение.

Она сидела теперь лицом ко мне, положив локти на ручку моего кресла и приблизив свое лицо к моему.

— Женитесь на мне, Евгений Петрович, — говорила она, словно не могла остановиться, словно ее куда-то несло, — женитесь на мне навсегда. Разве вы не видите, как мне хорошо с вами? И знаете, почему? Потому что я делаюсь другой в вашем присутствии, новой, настоящей, должно быть, какой никогда ни с кем не была. Я делаюсь *смешной*, особенно сейчас, вот в эти минуты, не говорите «нет», я теперь поняла, что это такое. В такой безоружности и еще оказаться смешной! Я делаюсь другой потому, что вы такой человек, какого я никогда не встречала в жизни. Какой же вы человек? А вот я сейчас вам скажу: во-первых, вы никого не боитесь, и меня в том числе. Во-вторых — вы очень счастливый. Да, да, не прерывайте меня: счастливый, и свободный, и правдивый. Ничего, что я рассуждаю о вас, как если бы говорила о ком-то постороннем? Я могу в третьем лице говорить: он правдивый, и сильный в жизни, и...

Я почувствовал, что больше не могу этого выносить.

— Людмила Львовна, — сказал я, — замолчите. Я не могу себе объяснить, как, каким образом вы могли выдумать меня таким непохожим на то, что я есть на самом деле. Я слабый, никчемный, я одержим какой-то неподвижностью, я лишен того, что есть у всех людей — способности внутренне умирать и оживать опять; я не люблю жизни и людей, и боюсь их, как все люди, и наверное даже больше, чем все люди. Я не свободен, я давно ничему не радуюсь, и я не правдивый, потому что я так долго ничего вам о себе не говорил, и сейчас, когда говорю, мне это так трудно.

— Скажите только одно, — спросила она быстро, преры-

вая меня, — согласны ли вы на то, чтобы я продолжала любить вас?

В это мгновение она увидела мое лицо и схватила мою руку.

— Молчите, не отвечайте. Я поняла. Простите, что я вас мучаю.

Я взял и поцеловал ее руку. Как я был благодарен ей за то, что она зачеркнула свой вопрос. Что бы я ответил ей?

Через несколько минут она совершенно успокоилась. Я спустился вниз и принес ей ледяного кофе. Она пила и играла соломинкой. Мы стояли среди огней какой-то пристани, потом опять ушли в черную ночь. И минутами пахло таким соленым, таким настоящим океаном, что я легко поверил бы, если бы мне сказали, что мы уплываем в Португалию.

Но к полуночи мы были обратно.

— А все таки, — сказала она, держась за меня, идя по сходням, — как было хорошо. Как было хорошо! И мы оба даже не знаем толком, где были. И похоже, что все в мире принадлежало мне, кроме вас.

Но что-то в лице ее изменилось, я заметил, изменились и движения, и голос. Опять вдруг выступила в ней та жесткая, та угловатая и суровая основа, проступила твердая форма, из которой было сделано ее лицо. Она как-будто чувствовала себя не совсем здоровой. И улыбки ее я в ту ночь больше не видел.

Через неделю я был уже в Чикаго.

3

Сперва — незнакомый вокзал, ощущение, будто приехал в самый центр чего-то, на самом деле никакой это не центр, центр далеко, не то вправо, не то влево, а приезжают куда-то сбоку. Но это кажется невероятным: в чужом городе, о котором по настоящему ничего не известно, всегда кажется, что центр это именно то место, где ты сейчас находишься. Потом — красота плакатов, синий, розовый, зеленый мир, непохожий на всамделишный, потому что уж слишком он хорошо подделан: чем лучше подделать, тем меньше веришь, что это тот самый мир, в котором ты родился и умрешь; в настоящем мире столько

недоделанного, недосказанного, недопонятого, и чем он нереальнее изображен, тем больше он похож на тот, в котором я живу. Вокзальные просторы. Белый день ломится в окна, толпа, ребенок ест мороженое, собаке тоже хочется, но ей не дали. Ряд чьих-то чемоданов. Жаль собаки, но ничего не поделаешь. Вереница такси на улице. Тут у меня записан их адрес. Улица приличного названия, но конечно, не Цицерона и не Байрона. Говорят, есть три теории почему он помчался тогда в Грецию, но по-моему, была четвертая причина. Есть только одна теория, почему я здесь сейчас и нет и не может быть другой, потому что я не только не Байрон, но даже и не тот неведомый избранник, а только какой-то пятый или одиннадцатый, или триста восемьдесят шестой. Я говорю адрес шоферу. Я хотел бы послушать, как человек с таким затылком выражает свои мысли, то есть какие слова произносит и где они у него хранятся. Мы едем быстро и центр города, которым был для меня вокзал, перемещается вместе со мной: то это угол, где какие-то люди хватают газету у газетчика, то это перекресток, где мы остановились, ожидая зеленого огня. Воображаю жизнь, где одни зеленые огни, так изумрудами и усыпана вся жизнь до горизонта. А там, за горизонтом, поворот и опять — жена стрелочника стоит с зеленым флагом, как на детской картинке. И нет причины, чтобы это кончилось, если конечно не простудиться очень сильно или вдруг не обнаружить какую-нибудь роковую опухоль, именно роковую, а не какую нибудь другую. Очень шумно, очень тесно, но не шумнее и не теснее, чем в других городах. Сколько я их перевидал на своем веку, больших и маленьких, но я понимал и любил их. Мы оба их любили когда-то, пока они не стали рушиться вокруг нас один за другим. После этого мы стали их немного бояться.

Вот я и приехал. Я еще ничего не различаю, кроме денег в своих руках, которые переходят в лапу шофера. Потом сдача сыплется из его лапы в мою руку и я вылезаю с двумя чемоданами. Дверь открывает мне женщина, я никогда не видел ее, она была когда-то замужем за моим двоюродным братом, он давно умер, она теперь замужем за другим. Шестеро взрос-

лых детей: двое ее собственные, двое — ее второго мужа от первого брака, двое — их общие. Она ведет меня через ряд узких комнат, в одной — попугай, в другой — аквариум, в третьей — кошка. Она угощает меня яичницей и холодной говядиной и ведет наверх, к соседям, там снята для меня комната.

— Хоть и есть еще жильцы, но люди тихие, — говорит она, — люди приличные, с образованием.

— Я тоже тихий, — говорю я ей и вижу, что она верит мне и улыбается. Я стараюсь запомнить ее черты, чтобы узнать ее на лестнице или на улице, но черты почему-то совершенно не запоминаются.

Комната оказалась лучше, чем я думал, было светло, тепло, чисто, в коридоре пахло кофеем, рядом тихо играл граммофон. Здесь положительно можно будет жить, а там посмотрим, может быть поедем и дальше... Чайник вечерами будет напевать мне песенки, я буду читать книжки, писать письма, ходить в кинематограф и познакомлюсь с людьми, которые живут налево и направо от меня. Налево окажется некто, любящий порядок, стройную жизнь, дисциплину, когда В вытекает из А и течет в С. Классик! Направо окажется некто, любящий свои кошмары, капризы и анархию (Как называют таких?). И я начну колебаться между ними и ходить на работу, и любить в равной мере и порядок свой, и кошмары свои. И огромное Средиземное озеро будет лежать передо мной (это когда я буду гулять по набережной), а я буду говорить себе опять и опять, что я таки сделал усилие, я нашел в себе силу сопротивления, и доказал себе, что хочу выйти из того состояния, в котором жил столько лет.

Столько лет? Прошло десять лет, как она умерла, но ничего не ушло, ничего не забылось. Ясное Алино лицо смотрело мне вслед с ужасающей грустью, Людмила Львовна бросила об пол старинные дедовские часы, но не все ли мне равно, с кем в раю беседует Гомер? Однажды, в поезде, много лет тому назад, между Фрейбургом и Цюрихом, я слышал ночью в коридоре разговор: старый полковник говорил инженеру из Шафгаузена о том, что у него не залечиваются раны. Вот уже десять лет, как

кончилась эта мировая катавасия (первая, поверьте мне, за ней будут и другие!), а раны все болят.

Я стоял рядом и слушал (в те годы мне все решительно было интересно). «Да, молодой человек, — полковник положил мне руку на голову и целую минуту я, окаменев, решал, оскорбиться или нет со своих позиций пятнадцатилетнего пассажира. — Не затягивается, стерва, ноет и ноет, и кончится это гангреной».

Вот уже много лет, как мне все безразлично на свете, а люди этого не любят, перестают тебя замечать, и зеркала перестают тебя отражать, и эхо перестает тебе отвечать. Я хочу выздороветь, да вот не могу. Не могу изжить этой черной болезни, не могу воскреснуть. Со дня ее смерти прошло миллионы лет, я лечу неизвестно куда, я кружусь, я живу в местах, в которые, как будто, и не приезжал. И я тоже ничего не отражаю.

(В ней было все, что мне было дорого в нашей солнечной системе, а все остальное были Уран и Нептун. При ней, когда она бывала со мной рядом, не хотелось листать интересные книги с картинками и без, и музыка, и звездное небо доходили до меня словно преломленные через нее. И во всем этом — добрые люди — был единый, милый образ всего мыслимого а все остальное были Уран и Нептун).

Из окна моей комнаты видны... тут следует подробный список, прикрепляющий меня к этому окну, к этому городу, от небоскреба до голубых штанов, повешенных на веревке. В комнате находится следующая мебель... опять реестр; таким образом вокруг меня будут предметы, и я буду среди них. Если бы я мог вернуться из своей полу-жизни обратно в свободную, прекрасную, бессмертную, справедливую, общую жизнь, если бы я мог возвратиться в мир здоровым, еще крепким, заняться всякими интересными делами, жениться, и чтобы у меня были дети. Жена моя будет тихая и кроткая, будет ночью заслонять свет лампы, чтобы он не мешал мне, будет экономить на хозяйстве и лечить котят. Или может быть она будет резко и безапеляционно говорить верные, неглупые вещи, душиться дорогими духами, поднимать одну бровь и съуживать глаза. Ста-

рый полковник потом глухо стонал у себя на койке за стенкой купэ, в то время, как я вычислял скорости новых арктических ледоколов — последнее увлечение короткого отрочества. Я слышал, как он скрежетал зубами: «Проклятое колено!».

У меня нет ничего, что нужно, чтобы изжить потерю, примириться с несчастьем, талантливо приспособиться к катастрофе (личной, до мировых мне дела нет, я больше не интересуюсь ими и даже не знаю, были они или не были за эти годы). Но не всегда это было так: в подвале одного дома, в одном городе, в тридевятом царстве, где нас засыпало однажды, я лег на нее, чтобы укрыть ее («Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог», как нас когда-то учили), и мы вместе дрожали, как дрожал подвал, и весь дом, пока он на нас не обвалился. Это была одна из самых счастливых и страшных наших ночей.

Доктора говорят: ничего поделать нельзя. И ювелир сказал: оно там было, оно там останется. «Ничего поделать нельзя», какая знакомая фраза! Это сказали доктора, только не полковнику, а мне самому, когда она лежала белее наволочки и только глаза ее жили. Они жили после этого еще несколько дней. Потом мне пришлось закрыть их.

Не знаю, кому написать раньше: Але или Людмиле Львовне? Аля просила написать про себя и про то, как я устроюсь, это пожалуй будет легче сделать. Людмила Львовна просила написать про Дружина, а это очень трудно. Она наверное догадалась, что никакого Дружина нет и не было, что я его выдумал, что я еду сам не понимая, куда; никуда и ни к кому. Бывает так: думал человек приехать на место, где никого нет, а оказывается — кругом сплошь знакомые. А со мной — наоборот. Все началось в один прекрасный день, когда кто-то сказал мне: «Сделайте усилие, Евгений Петрович, так жить нельзя, это ненормально, вы обязаны...» Может быть, это был присяжный поверенный Н., мятежная душа? Как то он там выкручивается?

Я вышел на улицу после того, как разложил вещи и умылся. Входная дверь хлопнула меня по плечу, давно что-то меня никто по плечу не хлопал. Впрочем, Калягин хлопнул

третьяго дня вечером. Он сказал: «Не ожидал я от вас такого странного поведения. Поставили вы меня в трагическое положение. Я слишком стар, чтобы позволить себе роскошь менять секретарей». Не пожав мне руки, он ушел к себе в спальню. И тогда я, стараясь не ускорить шага, пошел к выходу. Никого не было там, никого во всем доме, на всем свете. По пустой лестнице я спустился вниз, по пустой улице пошел к автобусу. И теперь я опять в совершенной пустыне: комната моя была пуста, улица эта совершенно пуста, и город этот пуст тоже.

Толпы, между тем, шли туда и сюда, пространство было залито огнями, деревья шумели и гнулись над моей головой, далеко-далеко стонали и ревели буксиры, автомобили вымахивали из под земли и мчались снова под землю, серое, мохнатое небо клубилось над моей головой. И все кругом было не совсем таким, как я прочел тогда в этой старой книжке, которую подобрал однажды на одной скамейке, на одном бульваре, где сидел, ожидая, когда откроется парикмахерская. Помню там были картинки и план города, она лежала забытая кем-то, словно ждала меня. И я подумал: хорошо, я согласен, милая книжка, я согласен на тебя, я еще поживу и посмотрю, не выйдет ли что-нибудь из всего этого, ведь даже мертвые воскресают, почему бы и мне, живому, не воскреснуть? Только для этого надо что-то делать, надо принимать решения, двигаться, приспособляться, надо выдумывать города, и людей, и всякие истории, и свою собственную жизнь, чтобы участвовать хоть в чем-нибудь, чтобы шагать в ногу хоть с кем-нибудь, стараясь соответствовать изо-всех сил, делая вид, что все в порядке. И надо торопиться, а не то превратишься в минерал, и не заметишь как.

Але я напишу непременно. Она могла бы спать у меня на плече, лежа в моих объятиях, а у Людмилы Львовны я бы спал на плече — это конечно каждому ясно. Я и ей напишу. А впрочем, никому я писать не буду. Я лучше буду вечерами ходить по улицам и искать Дружина, должен же он где-нибудь быть! Я столько воображал, что он есть, что я может быть,

его и найду в конце концов. Я его ясно вижу перед собой: он рыжеватый, у него серьезный и даже грустный глаз, белое пятно на лбу, густая грива. У нас есть что сказать друг другу, о чем поговорить. А если я его не найду, то я дальше поеду. Мне, в сущности, все равно, где жить. И я люблю впечатления, мне от них легче на душе делается, а ведь каждый человек хочет, чтобы у него было легко на душе. Чего только не сделаешь для этого! Особенно, когда есть страшок — добрые люди — самому стать скоро чем-то вроде Урана или Нептуна.

Н. Берберова

1920

Брату

Привал. Стена погоста.
Летает желтый лист.
И вот, подходят гости
И, с ними, гармонист.
Запомнил гармониста
С девицей впереди,
Стеклянное монисто
На пляшущей груди.
Гудели пушки где-то
В осенней полутьме.
Зачем приснилось это
Опять сегодня мне?

Александр Туроверов

НЕБО

I

Я знаю, что неба не хватит.
Немного
у неба
осталось времени.
Потомки
какой-нибудь паклей
законопатят
прорву космической темени.

Еще я небо в живых застал!
У меня еще
место
в звездном театре.
Быть может, остались еще места
всего поколения на два,
на три.
Мне
уже на земле
не хватило земли.
Был я
едва подростком,
Когда землю
с обеих сторон
от меня отсекли,
оставив
узкой дороги полоску.

Ничего у меня не было,
только одна дорога.
Но над дорогою было небо
и было его много.
С небом
была
в моей кружке
водица.
С небом —
краюха хлеба.
А когда-нибудь человек родится
и ему не достанется
неба.

II

Вечная темень вселенной.
Атомных ламп
сияние синее.
Город
с гигантской антенной.
Город,
построенный из алюминия.
И миф о закате и солнечном свете
толкует
профессор
в университете.
— Вот этот
мрак,
над нами разверстый,
черная
яма
вселенной —
находится
в веденье министерства
Санитарии и гигиены.

Где
мнилась
архангельская труба
древним
небопоклонникам,
туда,
в темноту,
в ракетах-гробах,
мы запускаем
наших покойников.

Мы землю
не засоряем отбросами,
рассадником эпидемий!
Отбросы —
атомными насосами
вышвыриваются
в верхнюю темень.

Кто видел солнце?
Мы знаем, что нет его:
будь оно
в месте
самом укромном,
радара
диск фиолетовый
его бы нащупал экраном приемным.

Кто видел
когда-нибудь
звездный проблеск,
в который верили многие?
Небо
для нас —
это только область
канализации
и мифологии.

III

А где-то
под сводом стеклянных аркад,
уже предугадывая потерю,
девушка спросит:
«Ты веришь в закат?»
И юноша-скептик ответит:
«Не верю».
А где-то
художник-абстракционист,
вообразивший, что небо —
синее,
что бывает луна, —
на синий лист
наклеивает
кружок алюминия.
И в обсерватории
уединенной,
как будто
навек
к телескопу примерз,
в черную
бездну
смотрит ученый
и ждет
второго
пришествия
звезд.

Иван Елагин

СУДЬБА САЛОМЕИ

РАССКАЗ

Я познакомился с Андреем еще в мои студенческие годы, в Париже. Он был довольно способным человеком: некоторые его рисунки были очень высоко оценены компетентными людьми, которые обычно в своих суждениях не ошибались и которые предсказывали Андрею блестящее будущее. Две или три поэмы, которые он написал в несколько недель, были не менее замечательны, чем его рисунки. Но у него не хватало творческой или душевной силы довести что бы то ни было до конца и время доказало, что и те, кто оценил его рисунки, и те, кто находил замечательными его поэмы, жестоко ошиблись — не в своих суждениях об их эстетических достоинствах, а в том, что Андрею предстояло большое будущее в живописи или литературе. Но в те далекие времена все мы верили в будущее и Андрей в этом смысле не составлял исключения. Соображения об искусстве играли в его жизни очень значительную роль. Но все-таки главное место в его существовании занимали те бурные чувства, которые он был склонен испытывать и которые оттесняли вопросы искусства на второй план.

Приблизительно в эти же времена в Латинском квартале и на Монпарнассе стала бывать женщина, которой было суждено сыграть в жизни Андрея очень важную роль. Когда она как-то проходила по кафе, подняв голову и прямо глядя перед собой, один из наших товарищей сказал, что она похожа на Саломею. С тех пор никто из нас ее иначе не называл. Между прочим, в этом замечании было что то очень верное: со стороны казалось, будто эта женщина действительно несет в руках невидимый поднос. Она была очень красива. Она была красива настолько, что даже её нелепый грим — вместо бровей у нее были две тонкие линии, нарисо-

ванные черным карандашом и резко загибавшиеся кверху, губы она красила кармином, в котором преобладал фиолетовый цвет — даже этот грим не производил того убийственного впечатления, которое он должен был бы производить. Волосы ее были выкрашены в бледно-желтый цвет. Позже, познакомившись с ней ближе, я узнал, что каждое утро она проделывала над своим лицом не меньшую работу, чем актер, который гримируется перед выходом на сцену. Это, впрочем, не мешало ей повторять, что ее наружность ее совершенно не интересует. Но конечно, если бы всё ограничивалось только ее наружностью, она никогда не имела бы того успеха, который сопровождал ее всюду, где она появлялась. Фамилия ее была Martin, но по-французски она говорила с ошибками и иностранным акцентом. Martin она была по мужу, которого мы никогда не видели и о котором ничего не знали. Когда речь заходила о нем, она говорила, что его больше не существует, именно так — il n'existe plus — хотя это вовсе не значило, что он умер. Сама она по национальности была румынкой, вдобавок, кажется, с примесью цыганской и еврейской крови. Она поступила на историко-филологический факультет Сорбонны в качестве вольнослушательницы, так как по ее словам у нее были какие-то недоразумения с аттестатом зрелости. Через некоторое время я понял, что этого аттестата у нее никогда не было и не могло быть, хотя она и говорила, что кончила какое-то среднее учебное заведение в Румынии. Она не знала таких вещей, как скорость света, разница между арифметической и геометрической прогрессией, логарифмы или закон притяжения. Но в области искусства у нее были познания столь же обширные, сколь неожиданные. Впрочем, ее интересовало только это, всё остальное казалось ей не заслуживающим внимания. Денег у нее было очень мало, жила она в небольшой гостинице Латинского квартала. Откуда она получала те скудные средства на жизнь, которыми она располагала, тоже долго было неизвестно и только однажды совершенно случайно выяснилось, что некоторую сумму каждый месяц ей присылал тот самый ее бывший муж, которого, как

она говорила, не существовало. Ей было в эти времена двадцать два или двадцать три года.

То, я думаю, чего она совершенно, казалось, не выносила, это была простота. Простота в искусстве или в человеческих отношениях ей казалась чем-то унизительно примитивным. Это проявлялось даже в самых обыкновенных разговорах — она, например, никогда не отвечала на поставленный ей вопрос.

— Ты будешь завтра в университете?

Она как будто была просто неспособна прямо ответить — да, буду, — или — нет, не буду. Она говорила:

— Почему это тебя может интересовать?

или: не всё ли тебе равно? — Поэтому сколько-нибудь длительное пребывание с ней было утомительно, несмотря на то, что она нередко бывала интересной собеседницей.

У нее были большие серые глаза с неизменно сердитым выражением и даже в ее смехе всегда слышался оттенок какого-то непонятного и в сущности беспредметного гнева. Множество ее поступков отличалось раздражающей непоследовательностью. Она уславливалась с кем-нибудь идти в кинематограф, за ней заходили в гостиницу, ее не оказывалось дома или она оставляла записку — я раздумала. Она обещала прийти и не приходила. Но другим она никогда не прощала ни непоследовательности, ни неточности. Ей же это чаще всего прощалось — потому что ни у кого из нас не возникало сомнения в том, что за всей этой раздражающей ее внешней неприемлемостью должен существовать или не может не существовать целый мир, эмоциональная напряженность которого была одновременно бесспорна и неудержимо соблазнительна. Надо было только преодолеть эти внешние препятствия. И ради того, чтобы проникнуть наконец в этот мир, это конечно стоило сделать.

Если в этом были убеждены не все, или, вернее, не все были убеждены до конца, то Андрей для этого был готов на любое испытание. Со стороны можно было подумать, что он был создан именно для того, чтобы стать ее жертвой. С самого начала установилось то, что определило их отношения: ей было позволено всё, ему не прощалась ни одна ошибка.

Причем ошибкой могло быть всё: не та интонация, недостаточная быстрота или точность ответа, неверное движение — всё, что угодно. Он как-то пришел ко мне с сияющим видом и сказал, что Саломея наконец согласилась принять от него в подарок книгу стихов, выбор которой она предоставляла ему. Но когда я встретил его на следующий день, он был мрачен, печален и неразговорчив.

— Какую книгу ты купил и как она была принята? — спросил я. Он пожал плечами, вздохнул и ответил, что он купил ей Верлена. Она вернула ему книгу, сказав, что она ей ненужна и попросив его при этом больше не приходить к ней. Он ушел в отчаянии, совершенно не понимая причины ее внезапного и необъяснимого раздражения. Каждый раз, когда он звонил ей по телефону, она, узнав его голос, немедленно вешала трубку.

— Да пошли ты ее к дьяволу, — сказал я ему, когда он рассказал мне это.

— Этой эмоциональной возможности у меня нет, — ответил он. — Если бы ты знал ее лучше, ты понял бы, почему.

Мне было его жаль, я спросил Саломею, почему она жестоко обошлась с ним.

— Я хотела, чтобы он купил мне Heredia, — сказала она, — а он, дурак, не мог догадаться.

Я передал ему это. Тогда он купил ей несколько книг, в том числе Heredia и оставил ей этот пакет в гостинице. Через два дня он решился опять позвонить ей по телефону. Он стоял у аппарата, глотая от волнения слюну и ожидая ее ответа. Она сказала:

— Что же ты так давно не звонил и не был? Я по тебе соскучилась.

Когда он первый раз обнял ее, она дала ему пощечину и сказала, что такой подлости она даже от него не ожидала и что между ними всё кончено. После этого он не спал две ночи. На третий день вечером она пришла к нему — у него была небольшая квартира возле Булонского леса, в которой он жил один. Она вошла, взглянула на него своими гневными глазами

и жадно его поцеловала. Она провела у него всю ночь и рано утром он отвез ее на такси в ее гостиницу. После этого пьяный от восторга, он явился ко мне, разбудил меня и стал кричать, что я никогда не пойму, что я не могу себе представить, что это... Я поздно лег накануне, мне очень хотелось спать, кроме того, я действительно не понимал, что могло привести его в такое состояние. Когда он наконец объяснил мне, в чем дело, я только сказал ему:

— Ну, желаю тебе дальнейшего счастья, милый друг — и заснул. Когда я проснулся, его не было, но пепельница была полна окурков — он повидимому просидел в моей комнате часа два, восстанавливая в памяти всё, что произошло и думая о своем ослепительном счастье.

Много позже, стараясь себе представить, что в сущности определяло ту вздорную жизнь, которую вела Саломея и которую она, когда могла, заставляла вести других, я пришел к выводу, что это было желание не принимать того, что происходило, а создавать то, что должно было происходить. Тот, с кем она начинала какой-то разговор, о котором она раньше думала, должен был отвечать так, как она себе это заранее представила. То, что случалось, должно было происходить именно так, как это уже произошло в ее воображении. В этом был какой-то абсурдный и неизлечимый эгоцентризм: и для того, чтобы поступки и поведение человека соответствовали ее представлениям, нужно было бы, чтобы он перестал быть самим собой, и стал бы чем-то вроде книги, которую она написала. Это, конечно, так быть не могло, она это прекрасно знала и понимала, но это неизменно приводило ее в бешенство. Кроме того, она упорно отказывалась от ответственности за свои поступки и от выводов, которые из них могли быть сделаны. Когда Андрей, придя к ней на следующий вечер, положил ей руку на плечо, она сбросила ее резким движением и сказала ему, что просит никогда больше этого не делать. Он опять впал в отчаяние — состояние, в которое он приходил очень часто и очень легко. На этот раз оно продолжалось пять дней, после этого повторилось то, что было у него на

квартире. Через некоторое время он совершенно потерял представление о действительности, ничего не знал и ни в чем не был уверен, кроме того, что вне Саломеи его жизнь не имеет никакого смысла. Это было в известной степени верно: вне Саломеи его жизнь действительно не имела смысла. Но и с Саломеей тоже — с чем он, однако, никогда не согласился бы.

— Ты, конечно, не тот человек, который мне нужен, — сказала она ему однажды. — Ты понимаешь, тот, кому я отдала бы себя всю, должен был бы быть прежде всего выше меня во всех отношениях. Я должна была бы всё время чувствовать над собой его умственное и физическое превосходство. Его понимание искусства должно было бы быть непогрешимым. Его душевные движения увлекали бы меня за собой. Это должен был бы быть человек, который выделяется среди всех остальных. Ты понимаешь? А что ты из себя представляешь? У тебя есть некоторые способности, но это всё. Этого для меня недостаточно.

Через некоторое время Андрей получил известие о том, что его отец, живущий в Тулузе, тяжело болен. Андрей показал Саломее телеграмму от доктора и сказал, что он должен ехать в Тулузу и пришел с ней попрощаться. Она взглянула на него своими сердитыми глазами и сказала:

— Неужели ты думаешь, что в такие минуты я оставлю тебя одного? Неужели ты мог сомневаться в том, что я поеду вместе с тобой? Ты представишь меня твоему отцу как свою невесту.

Она действительно поехала с Андреем в Тулузу и провела там два месяца, в течение которых отец Андрея умирал от рака печени. Она проявила необыкновенную самоотверженность, не отходила от постели больного, не спала ночами — и когда, после похорон, она вернулась в Париж, Андрей, по первому ее слову, был готов сделать всё, что она потребовала бы. Я подумал тогда, что он был прав, сказав мне однажды, что Саломея способна на всё и поступков ее нельзя предвидеть.

Он как-то сказал ей, набравшись храбрости:

— Ты считаешь себя умнее всех, кого ты знаешь?

— Нет, — сказала она. — Себя я не считаю особенно умной. Я только считаю глупыми других, во всяком случае многих.

— Кроме того теоретического человека, который тебе был бы нужен?

— Кроме этого человека, — сказала Саломея.

— Она всегда считает, что поступает правильно и живет именно так, как нужно, — сказал мне после этого Андрей, — и разубедить ее в этом нельзя.

Я знал о ней то, чего не знал Андрей. То, что произошло вчера, ни к чему не обязывало ее сегодня. Какая то значительная часть душевной жизни у нее была просто атрофирована. У нее не было воспоминаний. Сегодняшний день, с наступлением темноты, уходил в небытие и то, что произошло за этот день, переставало существовать. Она очень любила музыку, хотя была совершенно лишена музыкального слуха и не могла отличить одну мелодию от другой. Последовательность этих звуков приводила ее в состояние необыкновенного душевного возбуждения. Но запомнить эти звуки она не могла. Она забывала их так же, как она забывала свои чувства и свою собственную жизнь и жизнь тех, кто был с ней связан и кто уходил в прошлое, о котором у нее не оставалось воспоминаний.

Саломея и Андрей прожили вместе несколько лет. Она много раз уезжала и уходила от него, он посылал ей телеграммы, длинные, как письма, затем она возвращалась и всё начиналось сначала. Потом была объявлена война и Андрей был мобилизован.

Перед тем, как немецкая армия заняла Париж, Саломея исчезла. Андрей был в плену, в Германии. Я слышал от одного из наших товарищей, что Саломея оказалась на юге, приняла деятельное участие в партизанском движении, вышла будто бы во время войны замуж за еврейского банкира, отказалась уехать с ним из Франции — и была убита во время боя партизанского отряда с частями французской милиции. Ее по-

хоронили в братской могиле, где-то недалеко от Монпелье. Андрей узнал об этом, вернувшись из плена.

Я не видал его около десяти лет. Когда я случайно встретил его в Париже, я не сразу его узнал: он постарел, облысел, изменился. Но он узнал меня. Мы вошли с ним в кафе, это было на Больших Бульварах. Он сразу заговорил о Саломее, сказал, что ездил разыскивать ее могилу и не нашел ее.

— Даже этого утешения у меня нет, — сказал он. — Как она погибла, о чем она думала в последние минуты, чье имя она произнесла?

— Ты был на войне, — сказал я. — Как ты можешь ставить такие вопросы? Ты знаешь, что в этих обстоятельствах люди чаще всего не успевают ни о чем подумать и не произносят никаких имен.

— И меня не было рядом с ней!

— Это не твоя вина.

— Зачем я теперь существую, я не очень знаю.

Чтобы переменить разговор, я спросил его, что он делает. На его лице появилось выражение отвращения.

— Что такое? — спросил я.

— Я искренно жалею, что не погиб там, как погибла она, — сказал он. — Я веду позорную жизнь.

— Это на тебя мало похоже.

— Вместе с тем это так. Если бы ты знал, что я делаю, ты бы отказался подать мне руку.

— Ты всегда был склонен к преувеличениям, — сказал я. — Я этому поверить не могу. Что в твоей жизни позорного?

Он объяснил мне, что во время войны он потерял всё, что у него было и теперь вынужден зарабатывать на жизнь. Он долго искал работы, писал статьи об искусстве и рецензии о книгах, но денег, которые он этим зарабатывал, едва хватало на пропитание. И тогда ему сделали предложение, на которое он согласился.

— Что, торговля женщинами, что ли?

— Нет, — сказал он, — еще хуже. Те, кто торгуют женщинами, ты понимаешь, это профессиональные мерзавцы. Я

не хочу сказать, что я их оправдываю. Но они живут в своем собственном прокаженном мире, им каждую минуту угрожает тюрьма, допросы в полиции, общественное презрение и так далее. Я делаю работу не менее подлую, чем они, но с той разницей, что мне ничто не угрожает.

— Что же ты делаешь, в конце концов?

Он опять сморщился от отвращения и сказал:

— Я пишу слова для песенок и куплеты для опереток. Ты понимаешь? Вспомни наши университетские годы, Малармэ, Валери, Рильке. И после этого...

— Но кроме этого ты что-нибудь пишешь? для себя?

— Я пробовал, я не могу, — сказал он. — Я настолько пропитан теперь этой опереточной пошлятиной и этим идиотизмом, что я чувствую себя хронически отравленным.

Потом он посмотрел на меня с отчаянием и сказал:

— Ты представляешь себе, что сказала бы Саломея, если бы она была жива?

Об этом он, конечно, много думал, — что сказала бы Саломея.

Но для его теперешней жизни, помимо прибавившихся к его прошлому лет и неотступного воспоминания о Саломее, было характерно то, что и раньше было одной из главных его особенностей: он жил не так, как хотел, и не делал ничего, чтобы изменить свою жизнь. В сущности, ничто не заставляло его непременно заниматься тем ремеслом, которое он считал позорным. Но сделать усилие, необходимое для того, чтобы избавиться от этого, он не мог.

***

У него в общем ничего не осталось: ни тех смутных надежд на какое то будущее в искусстве, которые были у него в молодости, ни того смысла жизни, который представляла для него Саломея. И, конечно, для человека с его эстетическими взглядами, то, чем он вынужден был заниматься, казалось последней степенью падения. Трудно было надеяться, что теперь, в его возрасте, он вдруг начнет другую жизнь. В этом

ему мешало, в частности, воспоминание о Саломее: никакая другая женщина не могла занять ее места. И так как прошли годы и годы с того дня, когда они расстались, и воспоминание о ней оставалось таким же, каким оно было в самом начале, то казалось очевидным, что это уже не могло измениться. Я узнал через некоторое время, что он написал о ней целую книгу. Ни одно издательство не приняло ее, потому что Саломея была описана так наивно романтически и так фальшиво, что это делало всю книгу о ней совершенно неубедительной.

Я думал, конечно, и о Саломее. Что осталось от нее? Наши воспоминания о ней и история ее трагической гибели, о которой в свое время писалось в газетах, но которая теперь была забыта, как почти всё, происходившее в годы войны. Но все-таки, думая о Саломее, можно было теоретически предполагать, что только смерть остановила ее на том пути, который ей предстоял и который, быть может, был бы блистательным. И конечно, если бы она была жива, то и жизнь Андрея сложилась бы иначе.

Через год после моей встречи с ним, путешествуя по Италии, я поселился на некоторое время во Флоренции. Я жил на Via del Proconsulo, в маленьком пансионе, с хозяином которого вечерами вел длинные разговоры. Он был пожилой итальянец, говоривший со мной на том языке, который он искренно считал французским, но который в действительности представлял собой результат его личного творческого усилия и был одинаково далек и от итальянского, и от французского, напоминая, однако, и тот и другой одновременно. Он рассказывал мне о своих соседях — владельце книжного магазина, хозяине кафе, о своих жильцах, о жителях Флоренции вообще; он говорил о судьбе Италии и даже об искусстве, которое, по его мнению, перестало существовать приблизительно в первой половине семнадцатого столетия. Он заговорил однажды о том, что война заставила многих флорентинцев покинуть родной город, из которого при других обстоятельствах они никогда не уехали бы, и идти рисковать своей жизнью в чужих странах — в холодной России, в жаркой Африке, во Франции.

Он рассказал мне при этом историю того сапожника, который жил недалеко от его пансиона, и которого он был постоянным клиентом. Сапожник этот родился и вырос во Флоренции и ему никогда даже не приходила в голову мысль, что он может покинуть свою улицу и свой город. — Такой прекрасный сапожник и такой хороший человек. И вот, во время войны, он был мобилизован и попал в те части итальянской армии, которые оккупировали юг Франции. После поражения Италии он поступил в какой-то французский партизанский отряд, где был тяжело ранен. Только через несколько лет, когда война кончилась, он, наконец, вернулся во Флоренцию. Из Франции, между прочим, он привез с собой француженку, это тоже было ненужно, во Флоренции достаточно итальянок. Но он женился на своей француженке и вернулся к тому сапожному делу, которого никогда не должен был бы бросать. Жена его ему помогает. Она старше его, раньше сапожного ремесла совсем не знала, но теперь научилась хорошо работать.

— А что же она делала во Франции?

— Была, вероятно, бедная одинокая женщина, — сказал он. — Ей повезло, она нашла человека с хорошим ремеслом, он неплохо зарабатывает, в прошлом году они даже ездили на море летом. Вот, смотрите, как сложилась судьба этих людей. Он мог бы никогда отсюда не уезжать, она бы доживала свою одинокую жизнь во Франции. Ему бы не хватало ее, ей не хватало бы его. Но оттого, что Муссолини вступил в войну потому, что считал себя каким-то итальянским Наполеоном, наш сапожник оказался во Франции и она приехала во Флоренцию, о которой до этого она может быть ничего не знала.

Вероятно, я был значительно менее склонен к философствованию, чем хозяин моего пансиона, потому что история флорентийского сапожника не произвела на меня особенного впечатления. Любая деталь в скульптуре Микель Анджело, в бронзе Донателло или Бенвенуто Челлини казалась мне бесконечно более важной в истории человечества, чем та или другая война, смерть того или иного диктатора и участь их современников, в том числе флорентийского сапожника и его

жены. Я думал тогда о других вещах, и в частности о том, что всякий раз, когда я вырывался из той жизни, которую вел и которая была ограничена кругом незначительных, в сущности, идей и представлений и возвращался к созерцанию картин Тинторетто или Ботичелли или статуй Микель Анджело, я впадал в состояние исступленного и трагического восторга, по сравнению с которым всё остальное казалось совершенно неважным.

Я шел однажды вечером по городу, без определенной цели, думая об этом — и вдруг вспомнил один из разговоров, который у меня был с Андреем, много лет тому назад. Мы шли с ним тогда по бульвару St. Michel, была прозрачная сентябрьская ночь. За несколько дней до этого он вернулся из Венеции, где был первый раз, и рассказывал мне о своих впечатлениях. Из всего, что он видел, ему больше всего запомнились тогда — Иоанн Креститель Донателло и «Вознесение» Тинторетто.

— Высокий нищий в бронзовых складках своих лохмотьев, которого нельзя забыть, — говорил он, — И «Вознесение». Ты понимаешь: множество крыльев ангелов, летящих вверх, и в середине этого неудержимого движения Христос, возносящийся на небо. Какой чудовищный гений надо было иметь, чтобы создать эти вещи. После этого начинает казаться, что жить так, как ты жил до сих пор, больше нельзя.

— Мне всегда кажется, что жить так, как мы живем, нельзя, — сказал я. — Может быть то, что ты видел в Венеции, только подчеркивает это, делает это понимание более выпуклым, если хочешь. Но если ты дашь себе труд вспомнить о том, что ты думал до поездки в Италию, ты увидишь, что ты знал это уже раньше.

— Да, но не так, — сказал он, — и не то. То, что меня убивает, ты понимаешь, это одновременное и параллельное существование таких разных миров и это нестерпимое разнообразие ощущений, которых никакая сила воображения не может соединить в одно. Каждый из нас ведет несколько суще-

ствований и то огромное расстояние, которое их разделяет, для меня непостижимо и страшно. Я не могу себя в этом найти.

Он остановился и опустил голову — и со стороны получалось впечатление, что ночью на бульваре стоит человек, который внимательно смотрит на свои ноги. Потом он поднял голову и сказал:

— Я не могу понять, что человек, который следит за разливом симфонии, за тем, как она растет и расширяется, потом вдруг чудесно суживается и возвращается к тем двум нотам, из которых она родилась — я думаю сейчас о Пятой симфонии Бетховена — этот человек, который в течение долгих минут живет в этом мире и в которого навсегда вошло это необычайное движение звуков — как может этот человек после этого, выйдя из концертного зала, безболезненно вернуться к тому же, что было до сих пор.

— Я не вижу в этом непримиримого противоречия, — сказал я.

— Я не говорю о противоречии, я не сопоставляю постижение искусства с другими человеческими чувствами, — сказал он. — Но меня пугает расстояние, разделяющее на разные миры то пространство, в котором я потерялся когда-то давным давно и в котором я больше не могу найти себя.

— Может быть, гений, в частности, обладает способностью одновременного постижения всех этих разных миров — той способностью, которой органически лишены простые смертные. Не построения теоретической концепции, в которую с одинаковым правом вошли бы все человеческие чувства в их невероятном разнообразии, — а чего-то другого — стихийного и безошибочного постижения всего этого.

— Может быть, — сказал он. — Но в таком случае следует сказать, что понимание гения нам недоступно. Не его проявления, а его природы.

Я шел теперь по длинной и узкой флорентийской улице. Была поздняя ночь с неподвижным воздухом и звездным небом. Четверть века тому назад, в Париже, когда мы говорили с Андреем, те же неразрешимые вопросы занимали мое вни-

мание. Если бы мне сказали тогда, что мы проживем двадцать пять лет, пройдем через разрушительную войну, будем свидетелями гибели миллионов людей — и после всего этого опять вернемся к тем же вопросам, я бы не поверил. Я бы сказал, что этого не может быть, что нас ждет медленное и естественное душевное оцепенение, через которое мы также медленно будем идти к смерти, всё будет постепенно терять свое значение — и чувства других людей и произведения искусства и природа гения. Но это оказалось не так. Каждому из нас был дан его особенный мир, законы которого не изменялись от времени. Поэтому теперь во Флоренции я думал о том же, о чем думал тогда в Париже — с той же бесплодной и безнадежной настойчивостью. И поэтому же Андрей вел теперь такую жизнь, испытывая отвращение к тому, что он делал, и думая о том, что сказала бы Саломея.

**
*

Однажды днем я шел сначала по via Ghibellina, а затем свернул в узенькую улицу, отходившую от нее под прямым углом. Здесь жили очень бедные люди, занимавшиеся собиранием железного хлама. Первый, кого я увидел, был смуглый мальчик лет пятнадцати, который с выражением наивного торжества в лице нес в руках несколько заржавевших пружин из какого-то развалившегося дивана. Сквозь узкие входы в дома были иногда видны дворы, заваленные ржавым железом самого разного происхождения. Дойдя до середины улицы я увидел мастерскую того самого сапожника, о котором мне рассказывал хозяин моего пансиона. Это был широкоплечий человек со смуглой кожей: в недостаточном освещении — улица была темная — неподвижное его лицо мне показалось похожим на бронзовый профиль. Против него сидела его жена, та самая женщина, которую он привез из Франции. Когда я остановился у его окна, она подняла голову и взглянула на меня — и я должен был сделать над собой усилие, чтобы не вскрикнуть от удивления. Я встретил знакомый не изменившийся взгляд серых сердитых глаз и узнал Саломею.

Я повернулся и быстро пошел к своему пансиону. Там я вызвал горничную и попросил ее отнести записку жене сапожника. В этой записке я просил Саломею придти на следующий вечер, в семь часов, на вокзал, где я буду ее ждать.

Когда после войны мне сказали, что она убита, я испытал чувство глубокой печали. Но это было ничто по сравнению с тем холодным отчаянием, которое охватило меня в тот вечер, когда я ждал ее на вокзале. Мимо столика, за которым я сидел, проходили туристы, немцы, англичане, американцы, французы, до меня доходили их слова, которые я слышал, не понимая их смысла. Я видел перед собой лицо Андрея — не того облысевшего человека, который писал теперь слова для песенок и испытывал отвращение к самому себе и своим клиентам, а Андрея двадцать пять лет тому назад, с его далекими и восторженными глазами и слышал его слова: — нет, ты не можешь понять, ты никогда не поймешь. Нет, это было слишком жестоко. — Если бы Саломея была жива...

Я думал, что она не придет. Но она пришла. Когда она приблизилась к моему столику и я встал и придвинул ей стул, она пристально посмотрела на меня — так, точно чего то опасалась. Я не знал у нее этого выражения глаз. Проглотив слюну от волнения, я спросил ее:

— Как всё это могло произойти?

Не ответив на мой вопрос, она спросила:

— Он жив?

— Жив. Он думает — так же, как думал я до вчерашнего дня — что ты была убита. Он так же мало похож сейчас на того, каким был до войны, как ты непохожа на прежнюю Саломею.

— Ты находишь, что я очень изменилась?

Нет, внешне она изменилась меньше, чем можно было ожидать. Ее лицо отяжелело, над ртом появились морщины, но она была еще хороша.

— Я не имел в виду внешние изменения. Но ты мне не ответила, как всё это произошло. Повторяю, мы все были уверены, что ты была убита на юге Франции во время войны.

— Я была очень тяжело ранена, — сказала Саломея. — Я думала, что я умру, я в этом не сомневалась. Потом произошла обыкновенная сусальная история, знаешь, как пишут в глупых сентиментальных книгах: меня подобрал молодой итальянец, донес меня до госпиталя и потом приходил ко мне каждый день. Через неделю доктор сказал мне, что я останусь жива.

Она вынула папиросу и закурила. Я вспомнил, что раньше она не курила.

— Ты помнишь, что было во время войны? Для многих людей, в том числе для меня, всё сложное исчезло. Остались самые простые вещи: голод, опасность, страх смерти, холод, боли, усталость и бессознательное понимание того, что всё в жизни просто и страшно. А то, о чем можно мечтать, это только тепло, сон, еда, безопасность, крыша над головой — что еще?

— Да, да, я понимаю, — сказал я. — Но каменный век кончается.

— Когда мы потом приехали с ним во Флоренцию, — сказала она, — война была кончена, опасности больше не было. Маленькие дети играли на улицах, светило солнце, было тепло. Но всё, что было раньше, перестало существовать. Разве ты не заметил, что того мира, который был до войны, больше не существует?

— Это можно было бы сказать, даже если бы войны не было. Конечно, того мира больше не существует. Но тот, который сменил его, не непременно должен быть ограничен окном сапожника на узкой улице, выходящей на via Ghibellina, и тем, что представляет теперь твоя жизнь. Стоило прожить такую жизнь, пройти через такие испытания и уцелеть — чтобы всё кончилось так? Мне кажется, что ты заслуживаешь лучшего.

— Ты уверен, что то, о чем ты думаешь, лучше?

— Нет, — сказал я. — Может быть, это недостаток воображения, но мне всё-таки кажется, что нельзя больше искалечить свое существование, чем ты это сделала. Я помню, что в прежние времена ты мечтала о другом.

— А может быть счастье в том, что тебе удается ограничить себя и понять, что главное — это несколько несложных вещей?

— Так живут десятки миллионов людей. Но есть другие, которым этого недостаточно.

Я посмотрел в ее глаза и вдруг с удивлением увидел, что в них стояло спокойное и равнодушное выражение, с тем легким оттенком превосходства, который я знал раньше, но который сейчас мне казался неуместным и необъяснимым. Прежнее отчаяние охватило меня, я подумал, что так это оставить нельзя. Я сказал:

— Я предлагаю тебе следующее. Сейчас мы выйдем отсюда. Моя машина стоит за углом. Я заеду на несколько минут в пансион и расплачусь. У тебя есть какое-нибудь удостоверение личности? Завтра мы будем на французской границе. Завтра вечером ты будешь в Париже, а еще через неделю ты забудешь всё, что предшествовало твоему возвращению.

— Нет, — сказала она. — Ты уедешь из Флоренции и вернешься в Париж без меня.

— Ты категорически отказываешься ехать?

— Что я буду там делать — в этом далеком чужом городе?

Только в первую минуту разговора с ней я услышал в ее голосе волнение, это было тогда, когда она спросила, жив ли Андрей. Всё остальное время она была спокойна — состояние, которое ей было совершенно несвойственно раньше.

— Ты забываешь о времени, мой друг, — сказала она, вставая. — То, в чем ты живешь, это движение теней. От того, каким ты был раньше, не осталось самого главного и ты упорно отказываешься это принять. Ты хочешь повернуть время назад — этого не может даже Бог. Если бы я послушала тебя и уехала с тобой в Париж, я бы потеряла то, что у меня есть теперь, и осталась бы в пустоте, которую нельзя заполнить никакими воспоминаниями. Проводи меня домой. Потому что теперь у меня есть дом, ты знаешь? Раньше у меня его не было, я не знала этого понятия.

Мы вышли с вокзала. Я шел молча некоторое время. Потом я сказал, повторяя ее слова:

— «Потеряла бы то, что у меня есть». Другими словами, соседство человека, который не понимает одной десятой того, что понимаешь ты?

— Когда я увидела тебя в окне, это меня потрясло, — сказала она. — И я знала, что ты не поймешь того, что я тебе скажу. Может быть ты поймешь это позже. Но для этого нужно, чтобы ты представил себе совершенно другой мир, которого ты не знаешь, и в котором я живу.

— Это какая-то литература.

— Нет, литература у меня кончилась, — сказала она. — Литература — это у тебя. И до тех пор, пока ты от нее не отделаешься, ты не поймешь того, что нужно.

Мы дошли с ней до угла via Ghibellina.

— Ты помнишь? — сказал я, — rue de Vaugirard, rue Monsieur le Prince, rue de Tournon, rue de Buci, Boulevard St. Germain, rue des Saints Pères?

— Да, вспоминаю, — сказала она. — Но тех, кто там жил в эти времена, больше не существует. До свидания.

Она прошла несколько шагов, потом вернулась и сказала:

— Я не так с тобой попрощалась.

Она прижала на секунду свои чужие губы к моим губам и ушла. Я смотрел ей вслед — она сохранила свою прямую гибкую походку, за которую ее назвали Саломеей. Потом я вернулся на вокзал. Затем приехал оттуда в свой пансион и пролежал полночи, не засыпая, упорно следя за тем, что она назвала движением теней, — вне которого она жила теперь, а я не мог себе представить своего существования.

Когда я возвращался в Париж, я всё вспоминал разговор с Саломеей. Всё, что она говорила, не могло объяснить того непоправимого превращения, которое с ней произошло. То, что я считал ее недостатком, это отсутствие воспоминаний, теперь спасало ее: если бы она помнила то, что было раньше, она не могла бы так жить. Ее превращение, как мне казалось, произошло оттого, что она увидела перед собой смерть. До-

шла до нее и потом испытала животную радость возвращения к жизни. И вот, единственные обстоятельства, которых она не забыла, были именно те, когда она поняла этот возврат к жизни, которым она была обязана молодому итальянцу. Последнее лицо, которое она видела перед собой, когда думала, что умрет, это было его лицо. И первое, которое она увидела уже другими глазами, когда она почувствовала, что будет жить, это было его лицо. И это было самое сильное и единственное воспоминание, которое определило и ее превращение и ее теперешнюю жизнь. Инстинкт самосохранения закрыл перед ней всё, что было раньше и вот почему мое появление в витрине ее так потрясло, как она сказала. То, что я ей предложил — вернуться в Париж — конечно было невозможно, потому что городу, где она раньше жила, в ее теперешней жизни не оставалось места. Я думал и о том, что Андрею, конечно, нельзя было рассказать о Саломее; он решил бы, что это результат трагического недоразумения или измены. Но это не было ни недоразумением, ни изменой. Это была смерть. Не Саломеи, которая теперь жила на маленькой улице, выходящей на via Ghibellina, а того мира, частью которого она была для нас, которого больше действительно не было, но вне призрачного воспоминания о котором мы не представляли себе нашего существования.

Андрея я встретил зимой в небольшом кафе на углу rue de Buci и Boulevard St. Germain, куда я вошел, чтобы выпить кофе. Он был так же печален, как всегда, и теперь мне было его особенно жаль, потому что я так отчетливо помнил ту сентябрьскую ночь во Флоренции, когда я расстался с Саломеей. Мы говорили с ним о разных вещах, потом он опять вернулся к тому, что было до войны, снова заговорил — это было неизбежно — о Саломее и сказал:

— Тебе это может быть покажется сентиментальностью, но я бы все-таки просто хотел знать, где ее могила. Ты знаешь, что я искал ее и не нашел.

— Вероятно потому, — сказал я, — что у тебя об этом были неправильные сведения и ты искал ее не там где нужно.

Гайто Газданов

ПОСМЕРТНЫЙ ДНЕВНИК

1

Пароходы в море тонут,
Опускаются на дно.
Им в междупланетный омут
Окунуться не дано.

Сухо шелестит омела,
Тянет вечностью с планет...
...И кому какое дело,
Что меня на свете нет?

2

В ветвях олеандровых трель соловья.
Калитка захлопнулась с жалобным стуком.
Луна закатилась за тучи. А я
Кончаю земное хожденье по мукам,

Хожденье по мукам, что видел во сне —
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

Георгий Иванов

БЕССОННИЦА

Ледяная луна в ледяной высоте
Озаряет озябшие вязы и клены.
И на снежной поляне четыре вороны,
Как чернильные пятна на белом листе
Почему их четыре — не три и не пять?
Почему мне опять ничего не понять?
Почему всё меня до смешного тревожит
И ничто на земле успокоить не может?

Если б было ворон или пять или три —
Треугольник или пентагон
Без забот и затей
Преудобно улегся бы в сон.
Но четыре вороны — вороний квадрат
Никуда не уложится он.

В черной, душной ночи не горят фонари.
Далеко до луны. Далеко до зари.
Невозможно уснуть и немыслимо спать
Оттого, что ворон-то четыре.
И кругами, кругами все шире и шире
Наплывает тоска обреченности.

***

«Человек человеку бревно».
Это Ремизов где-то давно
Написал. И как правильно это —
Равнодушье сживает со света
Одиноких и плачущих. Но
Для бродяги, глупца и поэта,
У которых мозги набекрень,
Одиночество — чушь, дребедень,
Трын-трава! Им участье смешно,
Им не надо привета-ответа.

Вот окончился каторжный день,
Не оставив и воспоминаний
По себе.
Серебристые лани,
Запряженные в лунные сани
Под окном. Только где же окно?
Где окно и оконная штора?
Где же дверь? Так темно и черно,
Так темно, что не видно ни зги,
Ни кровати, ни прочего вздора.
— Зазвени зга! Сиянье зажги,
Озари эту темь-черноту,
Молненосно прорвись в высоту,
И обрушься пожаром на дом
Красным ужасом, дымным стыдом!..
Так погибли когда-то Содом
И Гоморра.

**
*

Все чисто для чистого взора
Н. Гумилев

Ни спора с судьбой. Ни укора.
Жара и усталость. Бреду
Одна вдоль чужого забора —
Одна, как повсюду на свете.

Закатные розы в саду,
На небе закатная роза
И те огорченья и эти
В победно-лучистом свете
Заката-апофеоза.

А ветер в горячем бреду
Вздыхает в облаке сора:
— Все чисто для чистого взора
В земном и небесном аду.

Ирина Одоевцева

**
*

Прими меня на послушанье, —
Как брата принимает брат —
Ты, сохраняющий в молчаньи
Страданья драгоценный клад,
Сам ставший собственной уздою,
Другим протянутой рукой.
Мне снова хочется в родное
Из повседневности такой!

**
*

Они отдыхали от боя
С болезнью и нищетой.
Отрешенность. Чувство покоя.
Контур жизни совсем простой.

После всех узлов и скрещений —
Благородная линия вновь.
Это детства стучатся тени
И молитвой стала любовь.

**
*

Что проще этого? Спят вёдра на колодце
И полотенце сохнет на сосне.
Плеснуть водой, нагретой крепким солнцем,
Обмыть лицо и руки в полусне

И вмиг проснуться. И увидеть небо,
Где óблака блуждает островок.
Сесть на скамью. Ломоть отрезать хлеба
И сыра козьего кусок.

Взять на руки щенка, чтоб не кусал за ноги
И в шерсть густую пальцы погрузить.
И вместе с ним быть лишь одной из многих,
Над кем еще дню летнему светить.

**
*

Сверчки бушуют и звенят,
И стадо близится к овчарне,
И девушка простой наряд
Цветком украсила для парня.
И вижу молодость мою —
Такую ж робкую, простую —
И плачу в горном я раю,
Лицо забытое целуя.

**
*

Порозовела на закате
За день нагретая стена,
Широкий двор на горном скате,
Тележка с сеном у окна.

Как будто бы вином плеснули
На сёла мирные кругом, —
И вот скудеет жизни улей,
Румяней каравая дом.

Склонись теперь на камень белый.
День отлетает, завершон
Рукою любящей, умелой...
Стада вернулись. Хлеб спечен.

**
*

Расцветали стихи, как цветы,
Чтоб печальную скрасить дорогу,
Полевые — предельно просты
И тепличные — с тайным подлогом.
Недоцветший и смятый букет —
Это всё, что осталося с нами.
Это нам неумелый ответ
На допросе, что длится веками.

Екатерина Таубер

ПОЛУСТАНОК

На каком-то полустанке, —
Ни часов, ни расписаний, —
Удивительно бесшумно
Пролетают поезда.
Сновиденческое место
Предназначенных свиданий,
Всех, кого сюда приводит
Путеводная звезда.
Может длиться ожиданье
Очень долго.
На мгновенье
Остановится курьерский,
Содрогаясь, весь в пару.
Снег да ветер!
Расставанье,
После долгих лет разлуки,
Европейских променадов,
Вновь в снегах и на ветру.
— На Кавказ! — в Стокгольм! — на Вислу!
Ты опять на Монпарнассе?
Сумасшедший поезд свистнул
И умчался во-свояси.

ОТЕЦ

— Где мой отец?
— Он на войне.
— Но нет войны!
—Она всё длится.
— Но мне отец опять приснится.
— Но он уже не снится мне.
— Где мой отец?
— Ах, перестань!
— Его я часто вспоминаю —
— Он где-то близко.
— Перестань:
Я ничего о нем не знаю.

Н. Туроверов

ФАРФОР

1

В таком же точно, горделивом
Забавно выпуклом — В таком,
С голубоватым переливом
И золоченым ободком —
Фарфор с капризной паутинкой
Иль тонкой трещиной на дне, —
В таком — Переводной картинкой
Мир проявляется в окне —
И у зашибленной коленки
Лукаво назревает смех,
И пуля весело от стенки
Отскакивает как орех —
Разоблаченная примета,
Причин повторных полоса, —
Иль в теле каждого предмета
Есть жизни тайной пол-часа, —
И он, в своих границах точных
Весь обозначен, напряжен,
Твоей судьбой вооружен,
Вдруг рвется из кругов порочных,
И ночью, в городе чужом
Пленяя обликом похожим
Грозит растерянным прохожим
Воспоминаньем как ножом —

2

О, понимаю, понимаю, —
Оставим, впрочем, до поры, —
Играя ложечкой, снимаю
Слой раскаленной кожуры.
Чуть рыжеватая, с загаром
От потускневших позолот,
Чуть красноватая, на старом
С сияньем изнутри, — и вот —

Осколки хрупкие фарфора
Подпрыгивают на полу,
Кофейной гущей по столу
Глаз расплывается, и скоро —
Лишь луч стремительный, стрела,
(О, сердце на стволе древесном)
Теряя жало в мире тесном,
Пятном — не вытереть — легла, —
Всё вдребезги — уже не склеить, —
И только в роще голубой
В предсмертных сумерках лелеять
Мечту, рожденную тобой —

КОРДЕЛИЯ

Корделия, — могла бы ты ползком
Иль на коленях вымерить дорогу,
Ведущую в вонючую берлогу,
Где твой король заночевал тайком?

Зарыть лицо в косматой седине
(Еще в лучах короны горделивой),
И гладить горб наросший на спине
По-нищенски покорной и пугливой?

Принять, лаская, голову на грудь
И старческие слушать причитанья, —
Могла бы ты, Корделия, весь путь
Забыть для плача этого свиданья?

А за тобой — гуляка площадной,
Свистун-монах и фермер бородатый,
И мальчики, зовущие куда-то
И голый холм, и ливень проливной —

Корделия! Вот солнце без стыда
Над Англией твоей висит пылая,
А ты ползешь неведомо куда —
О, если бы, о, если бы могла я!

Вл. Корвин-Пиотровский

РОДИНЕ

Какой, о, Господи, стихией
Рассеяны мои стихи!
Мне память о тебе, Россия,
Цветы в лугах и лопухи.

Я слышу звон степей ковыльных
Где гул орды татарской стих,
Где только след холмов могильных
От печенегов кочевых.

Я вижу матовые зори
Над необъятностью равнин,
Поляны, русские узоры
И васильков заветных синь.

Широких рек, прибрежных пашен,
И нив нарядных сарафан,
О, Русь суровая! Ты краше
Заморских, чужеземных стран.

**
*

Я в лесу хожу, как будто собирая
Дни опавшие, как листья тополей.
Оттого и тонкий ветер, завывая,
Плачет над безмолвием полей.

Улетала в полинявшем небе стая —
Треугольники крикливых журавлей.
Надвигалась буря, наростая,
Молодость мою сорвав с корней.

И в безумном вихре кружатся, как листья,
Развевая дни и ночи на ветру...
Ветер свищет, но в душе так чисто,
Как в часы молитвы поутру.

Семен Лифтон

***

Черный сад в снегу новогоднем.

Почему я весел сегодня?
Потому что забыл, забыл

Свежий снег на гребнях могил,

Синий снег на церкви покатой...
И уже ворожат закаты

Над январской тихой землей,
Над забвеньем и надо мной.

Утешенья прошу у Бога,
Отдохнуть я хочу немного...

***

Повторяется, всё повторяется:
Дни и встречи. Недели, года...
Та-же самая загорается,
Между веток плакучих, звезда.

Да и пенье такое самое,
Что я слышал когда-то давно —
И над Ладогой, и над Камою,
Над Невою и над Двиной.

Юрий Трубецкой

О НИКОЛАЕ МОРШЕНЕ

Случилось так, что вечером того дня, когда я в «Опытах» прочла интереснейшую, но и не менее спорную статью Адамовича «Невозможность поэзии», мне доставили по почте сборник стихов Николая Моршена — будто на размышления о невозможности поэзии мне ответила сама поэзия. Нет, я совсем не собираюсь полемизировать с Адамовичем. С ним я почти всегда и почти во всем согласна. Но сознаюсь, несмотря на всю обольстительную убедительность его доводов, судьба русской поэзии не внушает мне ни малейшей тревоги.

По-моему, худшее, что с ней могло бы случиться, это как раз осуществление желания Адамовича «подморозить поэзию». Подморозить — заставить поэтов оцепенеть, впасть в спячку, замолчать. Пусть только на короткое время. Но насколько наше тяжелое, безнадежное время стало бы без стихов еще тяжелее и безнадежней. Что кроме поэзии и религии осталось у нас? «Религия и поэзия две стороны одной монеты», — учил когда-то своих студентов Гумилев. Думаю, что Адамович согласен с этим — ведь он в виде «ключа» к своим размышлениям и даже «как оправдание их» приводит как раз стихи — *молитву* Баратынского:

Царь небес, успокой
Дух болезненный мой...

Эти стихи вызывают в нем такое, несвойственное его сдержанности, бурное восхищение, что он «готов — будто пьяный Мармеладов с пустым полуштофом в руке обратиться к поэзии с мольбой, — ‘да приидет царствие твое!’» Но тут же, точно устыдившись своего молитвенного порыва, обрывает: «Но не придет оно никогда!».

Не придет? Но ведь царство поэзии, как Царствие Божие, давно пришло — для тех, кто верит в него.

Русская поэзия будет существовать, пока будут существовать Россия и русские люди.

Маленькая коричневая книжка: Николай Моршен. «Тюлень». Стихи. Слева сбоку большая черная цифра 4 и над ней: «Русская зарубежная поэзия». Я не видела первых трех сборников, но, пожалуй, серию Зарубежной Поэзии стоило открыть именно Моршеном, сумевшим, как никто из новоэмигрантских поэтов, сквозь свои стихи, как сквозь магический кристалл, дать нам, так давно оторванным от России, увидеть русского человека на русской земле и понять многое, что нам было непонятно.

Читая Моршена, я всё время вспоминала строки Георгия Иванова:

...Ни границ не знаю, ни морей, ни рек.
Знаю, там остался русский человек,
Русский он по сердцу, русский по уму,
Если я с ним встречусь, я его пойму
Сразу, с полуслова... И тогда начну
Различать в тумане и его страну.

В своем вступлении «Поэзия Николая Моршена» — и умном и содержательном, как всё, что он пишет, — Владимир Марков совершенно правильно отмечает, что это «поэзия высокого качества, неподдельной скромности и непреклонной самостоятельности». Эта «непреклонная самостоятельность», эта оригинальность отражается решительно во всём — и в темах, и в выборе художественных средств, и в образах, и в ритмах (пример хотя бы очаровательное качание перемежающихся размеров в «Вечером 7-го ноября»), и даже в названии сборника, так смело, так находчиво названного по самому значительному и ответственному стихотворению.

Но кто, кроме Моршена, решился бы на «Тюленя»? Более «непоэтичного» названия не было, кажется, никогда. Уже «Камень» Мандельштама звучал чуть ли не вызовом среди «Снежной маски», «Жемчугов», «Зеркала теней» и «Осенних Озер». В наши дни, правда, названия стали суше и заостренней. Но — Тюлень? Впрочем, не исключена возможность появления с легкой руки Моршена, «Тигра», «Медведя», «Носорога» или «Степной Кобылицы». Я не вполне согласна с Марковым только в том, что в стихах Моршена «преобладает тоска». У поэтов «парижской ноты» ее несравненно больше. Возможно также, что строки уже упомянутого мной «Вечером 7-го ноября»: —

Сперва осыпаются звезды,
Потом осыпаются листья,
За листьями падает снег. —

действительно продиктованы отчаянием, но они достигают той высоты поэзии, «где боль сливается со счастьем», и от них веет покоем и тишиной.

Не могу не привести последней строфы этого прелестного стихотворения:

Пахнет липой и бензином воздух,
По ночам все запахи слышны,
Птицы спят, попискивая в гнездах:
Вероятно, тоже видят сны.

Да, тоски и отчаяния в «чистом», непереработанном виде немного у Моршена, несмотря на то, что он —

...прожил две войны, переворот,
Три голода, четыре смены власти,
Шесть государств, две настоящих страсти —
Считать на годы — будет лет пятьсот, —

несмотря на всё, что ему пришлось пережить, пережить и перестрадать, чувствуется, что он не состарился душевно, что он молод и здоров, даже гораздо моложе душевно своих сорока лет. И что он страстно любит жизнь. Но ни здоровье, ни молодость, ни любовь к жизни, конечно, не могут защитить его от «Страшного Мира», и вот:

Как круги на воде, расплывается страх,
Словно сырость в подвалах, таится в углах.
. . . . . .
За окном, где метель на хвосте, как змея
Вьется кольцами в облаке пыли,
Возвращается ветер на круги своя
И с решетками автомобили.
А вдали, где полгода (и более) тьма,
Где слова, как медведи, косматы,
Воркута, Магадан, Колыма, Ухтпечлаг,
Как терновый венец или Каина знак:
Круг полярный, последний, девятый.

О концлагерях, о Воркуте и Колыме, написано немало и прозой и стихами. Но так просто, с такой ясностью и убедительностью, с такой экономией слов это, кажется, еще никому не удавалось. Думаю, что можно смело утверждать, что стихи Моршена чрезвычайно нравились бы Гумилеву. Это и не удивительно, ведь, как В. Марков правильно замечает, Моршен многому научился у «точнословной музы царско-

сельского метра русской поэзии XX-го века, всё еще негласно царящего в России». Но — и это особенно оценил бы Гумилев — Моршен сумел сохранить всю свою самобытность и оригинальность, избежать соблазна не только подражания, но даже формального влияния метра, которого чтит превыше всего и по запретным строкам которого, как по масонскому перстню, —

...друг друга узнают
В моей стране единоверцы.

Примером крайней самобытности и самостоятельности Моршена может служить его стихотворение «На Первомайской жду трамвая», перекликающееся с «Заблудившимся трамваем» Гумилева. Ведь оба трамвая — и Гумилевский и Моршенский — нереальны. Но тогда как трамвай Гумилева странствует по фантастической многопланности пространства, времени и переселения душ, трамвай Моршена увозит по рельсам дурного сна к самому реальному ужасу «закона об опоздании».

Всем шепчет серое пальто:
— Ты, вы, они, мы опоздали, —

к ужасу, от которого Моршен, «мыча, как раненый глухонемой», просыпается не в фантастическом, а в реальном, трехмерном «Страшном Мире».

Всё в стихах Моршена по-своему перечувствовано, всё пережито и выстрадано собственным сердцем, увидено собственными глазами, обо всём рассказано по-своему, собственными словами, собственным голосом. Полное отсутствие заимствованных образов, жонглерства рифмами, искрометного фейерверка звуков и затопляющего мысли и чувства разлива слов. Всё строго и точно взвешено, измерено. Всё до странности честно и правдиво. Это сама правда, это сама жизнь, ставшая стихами.

Всё было совсем так. Именно так. И совсем так, с фотографической точностью.

Большая крыса кверху животом
На пыльном и горячем тротуаре
Лежала с переломленным хребтом
. . . . . .
В блестящих глазках не был виден ужас,
Но в глубине он дрожью нарастал
И пробегал от усиков и ушек
До длинного и мерзкого хвоста.

Этот длинный *мерзкий* хвост, дрожь которого отдается в крови, трудно забыть. Как всё просто. И как страшно в неприукрашенной правде жизни. Еще страшнее оттого, что хотя —

И смерть особенно пугала нас,
Но мы болтали. Стоя пили пиво...

Здесь мне необходимо ввести разъяснение, чтобы не быть неправильно понятой, — ответственность, правдивость, даже «фотографическая» точность. Может показаться, что я считаю Моршена каким-то поэтом-бытовиком (бывают и такие). Это совсем не так. Моршен — поэт, одиноко правдиво говорящий о земной, низшей, трехмерной реальности и о реальности высшей. Ему —

Стоит лишь порог переступить,
Чтоб плыть и плыть, захлебываясь в звездах.

Кстати, эти строки отдаленно перекликаются с —

Что старое мое пальто
Закатом слева залито,
А справа тонет в звездах. —

Георгия Иванова, считавшего Моршена «одной из главных надежд нашей смены».

Рассказав о повесившемся колхознике, как: — «Под лягушечий стон из канавы — Вынимали его из петли» — и о его неумелом предсмертном стихотворении — «На двенадцать отчаянных строк» — Моршен справедливо заканчивает: — «Но такой уже верно закон, Чтоб о самом, о главном стихами...» — «О самом главном» — о русском человеке. Мы видим его. Мы ему верим. И мы начинаем понимать, почему —

Он тоже поднял «за»,
Стараясь ни о чем не думать.

Поднял «за» — оттого, что не мог не поднять. И мы жалеем его. Жалеем его так же, как и того «врага народа», за смертную казнь которого он не мог не поднять руки. И даже, может быть, еще сильнее.

В заключение мне хочется только поставить имя Моршена рядом с именем Пастернака. Но не для того, чтобы сравнивать их стихи. Нет, я думаю сейчас не о стихах Пастернака, а о «Докторе Живаго». О докторе Живаго, не потерявшем своей личности, своего «я», сумевшем не быть раздавленным коллективом, не раствориться в нем. Эта победа личности и сближает его с Моршеном. Моршен, как и Пастернак, пример того, что русский человек может, даже в «Страшном Мире» сохранить себя.

Ирина Одоевцева

**
*

Какоё утро! Небо цвета воска
Как бы скончалось от тяжелых ран.
Читатели толпятся у киоска,
Ждут новостей из небывалых стран.
Газетчице ручьем текут монеты,
Мне кажется, она почти поет:
«Помимо вдохновения поэтов
Приходят в сети неземных высот».
Любители прощаются со смехом:
«Всего хорошего до лунных встреч».
Я тоже рад огромному успеху:
Свалилась тяжесть с неуемных плеч.
Мир сделался необычайно плоским,
Как побежденной армии солдат.
Стою, смотрю на небо цвета воска...
Ах да, мне нужно покупать салат.

А. Величковский

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ*

Николай Заболоцкий — один из самых одаренных и оригинальных поэтов русской пореволюционной литературы. Заболоцкий умер от сердечного припадка в 1958 году. Поэт лежал в гробу как раз тогда, когда Заславские, Сурковы, Кочетовы, Семичастные травили Пастернака, получившего Нобелевскую премию. И в самом раннем периоде своего творчества и в последних своих стихах, Заболоцкий тоже был объявлен «идеологически неприемлемым». Не потому ли и «Литературная газета» — в скупом некрологе — писала больше о Заболоцком-переводчике, в то время как Заболоцкого-поэта затемняла. Но вряд ли надо даже говорить, что переводы в творчестве Заболоцкого играют не первостепенную роль.

Заболоцкий родился в тысяча девятьсот третьем году, умер на пятьдесят шестом году. Оборвалась жизнь, полная творческих удач и человеческих горестей, поэтических находок и больших бедствий. За свою недолгую жизнь Заболоцкий совершил хождение и по радостям эстетических открытий, и по мукам концентрационных лагерей. «Я помню Николая Алексеевича Заболоцкого в 1927-28 годах», — писал Владимир Орлов в «Литературной газете», — «он еще донашивал красноармейскую шинель и грубые солдатские башмаки». Это было, когда Заболоцкий пришел в литературу после демобилизации из Красной армии. Воинскую повинность он отбывал по окончании Ленинградского педагогического института имени Герцена. Начал учиться на биологическом факультете, но по совету некрасоведа Евгеньева-Максимова и историка литературы Десницкого перевелся на отделение языка и литературы. В Ленинград Заболоцкий приехал из провинции. Сын агронома, он, вместе с менявшим места жительства отцом, побывал во многих городах — от Казани и Уржума до Ижевска.

---

* Глава из готовящейся к печати книги «Поздние советские писатели». Печатается с некоторыми сокращениями.

***

«Столбцы» — первый сборник стихотворений Николая Заболоцкого был выпущен в 1929 году «Издательством писателей в Ленинграде». В сборник вошли стихи, печатавшиеся с 1927 года в журнале «Звезда». В «Звезду» Заболоцкого привел поэт и прозаик Константин Вагинов. Прочитав его стихотворение «Футбол», Вагинов сказал, что держит в руках золотой самородок, а не листок из бумажного блокнота. Николай Тихонов и Михаил Зощенко были того же мнения. А вскоре автор «Столбцов» был признан литературоведами и критиками так или иначе связанными с формалистами, — исследователем творчества Хлебникова Степановым, Борисом Томашевским и Шкловским. «Столбцы» имели большой успех. В чем же причины этого успеха? Формальный анализ первого сборника Заболоцкого говорил, что молодой поэт идет от позднего Хлебникова, от того его периода, когда «председатель Земного Шара» преодолевал свой абстракционизм, возвращая слову ту вещественность и предметность, которых не было в предыдущих его стихах. Заболоцкий продолжил и углубил эту Хлебниковскую линию преодоления «беспредметной поэзии». Возможно, что гротеск Заболоцкого имеет точки соприкосновения и с малоизученным гротеском Осипа Мандельштама. Заболоцкий и Мандельштам одно время вращались в одних и тех же литературных кругах.

В период подавления литературы партийным контролем Заболоцкий продолжал поиски новых форм. Он был одним из очень немногих независимых поэтов-новаторов в стане консерваторов и рутинеров по собственному желанию и поневоле. Заболоцкий продолжал путешествие в поэзию будущего тогда, когда большинство поэтов, его современников, отправлялись в длительную командировку по болотам минувшего. В «Столбцах» Заболоцкий противопоставил свежесть и новизну поэтических открытий начавшемуся в конце двадцатых годов принудительному штампу в поэзии.

Это хорошо понял Михаил Зощенко, нашедший в себе мужество сказать о Заболоцком: «Одно обстоятельство я не сдам без боя, наше поэтическое искусство должно нести новую форму и новый строй языка». Заболоцкий по Зощенко «первоклассный поэт», именно потому что он удачно продолжает поиски новых форм в поэзии, потому что во времена организованного штампованного искусства он сумел сохранить свое крайне оригинальное лицо и свой ни на кого не похожий голос.

В «Столбцы» Заболоцкий не включил ряд стихотворений 1925-1928 г.г., опубликованных в «Ленинградской правде», «Красной вечерней газете», в молодежной газете «Смена», в «Крестьянской правде», в журналах «Красная деревня» и «Резец», в детских и юмористических изданиях, куда студента-выпускника пединститута рекомендовал поэт Даниил Хармс. Не вошли в «Столбцы» и эстрадные стихи Заболоцкого, в том числе приобретшие шумную известность куплеты «Это экономии режим», с неизменным успехом исполнявшиеся и в столице и в провинции «любимцами публики» Громовым и Миличем.

Но для правильного освещения раннего творчества Заболоцкого тематику «Столбцов», я думаю, надо рассматривать вместе с тематикой и этих не включенных в сборник стихов.

Любопытно, что Заболоцкий того времени сделал несколько стихотворных подписей к журнальным карикатурам А. Топикова и Б. Антоновского, мастеров бытовой и социальной сатиры. Этих художников с Заболоцким сближало сходное отношение к эпохе крутого перелома, когда жизнь человека была силой загнана в тупик физического истощения и духовного одичания. У Топикова есть карикатура, которую, может быть, Заболоцкий и перенес в такие строки «Столбцов»:

«И стонут жалобно телеги,
И плещет взорванная грязь,
И на Обводном спят калеки,
К пустым бутылкам прислонясь».

Совсем неслучайно находим мы подпись молодого Заболоцкого, вместе с подписью Зощенко, под коллективным некрологом, посвященным трагически погибшему в 1928 году клоуну и дрессировщику Анатолию Анатольевичу Дурову, сыну знаменитого клоуна Анатолия Леонидовича Дурова.

Однажды Дуров младший, одетый так, что представлял собой «живую карикатуру» на типичного маклака Питерских черных рынков и барахолок конца двадцатых годов, вывел на арену стаю лохматых собаченок, на головы которых были забавнейшим образом нахлобучены потрепанные пролетарские кепки самых различных фасонов. На бичевке Дуров держал связку воздушных шаров, удерживающих в воздухе старые, но тщательно выутюженные штаны. Вся свора собаченок то с неистовым лаем приступала к охоте за штанами, когда Дуров заставлял их «взлетать» к небесам, то с «умилением» глядела на них, когда клоун приближал штаны к собачьим

мордам. Этот номер, кстати, запрещенный за «злопыхательское издевательство над трудностями», очень схож со стихотворением Заболоцкого из «Столбцов».

«Маклак штаны на воздух мечет,
Ладонью бьет, поет, как кречет,
Маклак-владыка всех штанов,
Ему подвластен ход миров,
Ему подвластно толп движенье,
Толпу томит штанов круженье.
И вот она, забывши честь,
Стоит, не в силах глаз отвесть,
Вся прелесть и изнеможенье.

Живей маклак! Кричи уродом,
Мечи штаны под облака.
Здесь перед радостным народом
Течет свободная река».

В «Столбцах» есть ряд стихотворений, где Заболоцкий доказывает, что неизбежным спутником грядущей индустриализации будет озверение человеческих душ. И опять вспоминается один из номеров Дурова, где, переодетый в шкуру человекообразной обезьяны, клоун, похожий на какого-то питекантропа, управляет фантастическими машинами. И Дуров и Заболоцкий обладали удивительной способностью распознавать в заурядном и обыденном симптомы тех небывалых перемен, которые изменят всю жизнь и людей и страны. Многие строки «Столбцов» проникнуты этим болезненно мучительным предчувствием и страхом перед такими переменами:

...и по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летел в пространство бытия.
. . . . . .
Над ними небо было крыто
Веселой руганью двойной
И жизнь трещала, как корыто,
Летая книзу головой.

НЭП на ущербе. Страна вступает в период коллективизации и индустриализации. В эти времена Заболоцкий писал о трещинах и изломах всего уклада русской жизни, о человеке,

который живет и в тесноте и в обиде, о катастрофическом истощении быта, о невиданной дистрофии условий человеческого существования. В будущем он видит не столько заводы-гиганты и дворцы культуры, сколько покосившиеся дома, где семьи ютятся в одной комнатушке с обветшалой мебелью, видит толпы изможденных людей с потухшими глазами и впалыми щеками. Заболоцкий видит, как *чахнет* в человеке личное и оживает пошлое, стадное, звериное. Всю ответственность за это духовное одичание поэт возлагает на те «идеологические установки», которые, прославляя эпоху крутого перелома, бессовестно лгут, что могут возвысить и облагородить человека.

Народный дом — курятник радости,
Амбар волшебного житья,
Корыто праздничное гадости,
Густое пекло бытия.

В «Столбцах» Заболоцкий сводит счеты с политикой, именно, как художник и лишь для того, чтобы отомстить ей за то, что она изгоняет из жизни человечное и прекрасное. В «Столбцах» нет, кажется, ни одной вещи, где бы смешное не становилось и трагическим. Особенность сатирических гротесков Заболоцкого в том, что самые обыденные, самые простые вещи реального мира принимают в них бредовые очертания и формы. Тут сметаются все границы между повседневностью и тягостным сновидением: и от этого эпоха «великого перелома» воспринимается как бы сквозь приступ белой горячки или сквозь крик во сне.

На эту особенность «Столбцов» раньше других указал Михаил Зощенко.

В «Столбцах», — как говорил Зощенко, — есть «резкий контраст между жизнерадостностью формы и какой-то мрачной нежизнерадостной философией», — «мир поэта, зажатый плоскими домами, кажется тягостным и бредовым миром... чувствуется какой-то безысходный тупик... нечем дышать!».

После «Столбцов» Заболоцкий выступил с поэмой «Торжество земледелия». Полный текст этой поэмы все еще не опубликован и о «Торжестве земледелия» мы можем судить только по «словесным фрескам», по напечатанным фрагментам. Среди них попадаются и до неузнаваемости искаженные цензурой. Так, строки «Крестьяне, *скудно* закусив, газеты длинные читают» (судя по выступлению Заболоцкого в 1933 г. в Ленинградском Доме Писателей имени Воинова) в «Звезде»

уже «исправлены» так: — «Крестьяне, *сытно* закусив, газеты длинные читают». Разбор поэмы Заболоцкого без точного учета подобных переделок, естественно, затруднителен. И тем не менее даже известный нам текст «Торжества земледелия» производит сильное впечатление.

В этой поэме сразу захватывает мастерская гармонизация народных песен, фольклорных мотивов. Когда ее читаешь, кажется, что Заболоцкий виртуозно дирижирует оркестром народных инструментов с балалайками, гуслями, баянами, гармониками, дудками и рожками. При этом поэт то иронически переосмысляет народные песни, частушки, плясовые наигрыши, то неожиданно сворачивает на совершенно противоположный путь идеализации фольклора.

Умерла царица пашен,
Коробейница старух,
И растет над нею важен
Сын забвения лопух.
И растет лопух унылый
И листвой о камень бьет,
И над вещею могилой
Память вечную поет.

Известные нам фрагменты «Торжества земледелия» показывают, что Заболоцкий придал значительно бóльший размах тому сатирическому гротеску, который мы уже видели в «Столбцах». Но одновременно с этим поэт теперь приобщается и к некрасовскому началу. В «Торжестве земледелия» и в «Кому на Руси жить хорошо» одни и те же песенные просторы; Некрасов показал панораму русской жизни, после падения крепостного права, Заболоцкий же семьдесят лет спустя предпринял путешествие по «Некрасовским местам», чтобы показать панораму крестьянской жизни, когда русская деревня начала хождение по адским кругам сплошной коллективизации.

Кулак ревет на лавке сидя,
Скребет ногтями толстый бок,
И лает пес, беду предвидя,
Перед толпою многих ног
И слышен голос был солдата
И скрип дверей, и через час
Одна фигура, виновата,
Уже отъехала от нас.

Изгнанник мира и скупец
Сидел и слушал бубенец,
С избою мысленно прощался,
Как пьяный на возу качался,
И ночь, строительница дня,
Уже решительно и смело,
Как ведьма с крыши полетела,
Телегу в пропасть наклоня.

Но в отличие от Клюева, Клычкова, Есенина, Николай Заболоцкий чужд идеализации старой деревни. Поэту не по душе косность и застой мужичьей Руси, не по душе лампады суеверий и темноты. Для него это — лишь засохшие, мертвые ветви живого дуба, у которого в народной почве крепкая и прочная система корней. И для него — безумие, когда под самый корень рубят весь лес. Эпоха «великого перелома» в деревне (конец двадцатых — начало тридцатых годов) и представляется поэту таким варварски-бессмысленным уничтожением могучего векового бора. В поэме «Торжество земледелия» эпоха колхозного строительства показана поэтом, как эпоха великого разорения.

Изба стояла словно крепость,
Внутри разрушенной природы,
Открыв крестьянину нелепость
Труда, колхоза и свободы.

При этом и здесь Заболоцкий проявляет себя только как художник, а не как публицист. Но если мы посмотрим на созвездия художественных образов его поэмы глазами социолога, то увидим, что «Торжество земледелия» связано с убеждениями той среды, откуда вышел поэт: в своем большинстве агрономы и землеустроители эпохи НЭПа предпочитали, конечно, постепенное изменение основ деревенской жизни, а не революционную ломку коренных устоев крестьянского бытия. Раскулачивание представлялось им злом и по гуманным и по хозяйственно-экономическим соображениям. Эти взгляды в поэме «Торжество земледелия» нашли свое поэтическое выражение. Этим и тематически, и формально смелым произведением Заболоцкий еще раз подтвердил свое мастерство. Таков первый период творчества Заболоцкого.

Во втором периоде поэт переходит от сатирического гротеска к лирическому пейзажу. Футуристические искания тут

вытесняются стремлением реставрировать стихотворные формы русского классицизма XVIII века. На смену Хлебникову приходят Державин и даже Сумароков.

— «Заболоцкий поразил меня феноменальной начитанностью и зрелостью — пусть необычных, пусть парадоксальных суждений... Впрочем, его неожиданные открытия выдают в нем не столько исследователя, сколько оригинального поэта», — так отзывался об изучении Заболоцким русского классицизма Г. А. Гуковский, знаток русской литературы XVIII века. По словам Гуковского Заболоцкий умел отделять в русском классицизме «давно отмершее» от «неувядаемого». Но чем же объяснить столь стремительный переход поэта от новаторства к архаике? Почему прорыв в будущее так внезапно вытесняется устремлением в минувшее? Я думаю, это объясняется тем, что Заболоцкий понял: — одинокому бунтовщику никак не совладать с господствующим в литературе направлением, — социалистическим реализмом.

Переход Заболоцкого от футуризма к классицизму представляется мне в какой-то степени вынужденным, навязанным поэту извне. И совсем неслучайно, что этот переход последовал после злостных выпадов официальной критики. Не противясь тому, что поэзия его страны, начиная с тридцатых годов, была искусственно направляема в классическое русло, Заболоцкий поплыл вслед за другими в XVIII век, чтобы не остаться на мели и сохранить себя, как поэта. Только Заболоцкий держался при этом особняком и настороже. Ведь это правда, что в русском классицизме XVIII века Заболоцким отвергнуто как раз то, что социалистический реализм благословил и канонизировал — высокопарность, выспренность. Заболоцкий же ориентировался не на «давно отмершее», а на «неувядаемое». В 1937 году поэт выпускает второй сборник стихотворений — «Вторая книга». Это как бы цикл лирических пейзажей. Это русская природа, которую видят все, но мало кто знает так, как знал Заболоцкий. Недаром известный физиолог Ухтомский говорил, что своеобразие поэтического дарования Заболоцкого сделало его как-бы естествоиспытателем. Заболоцкий смотрел на прочитанное в книгах словно как на набор резцов, с помощью которых можно самостоятельно ваять поэтические миры из собственных наблюдений над жизнью деревьев, трав, цветов, животных, птиц. И во втором сборнике Заболоцкий то противопоставляет природе свой книжный мир, то, напротив, сближает с ним природу.

Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,
И лежал я в траве, и печалью и скукой томим,
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним.

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,
Где на первой странице растения виден чертеж.
И черна и мертва, протянулась от книги к природе
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь.

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье,
И как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетало в листах непривычное мысли движенье,
То усилие воли, которое не передать.

И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась,
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

Есть ли соприкосновение между «Столбцами» и «Второй книгой»? Фрагменты из поэмы «Лодейников» надо рассматривать, как мост, переброшенный от первого сборника ко второму. Работу над «Лодейниковым» Заболоцкий начал в 1932 году и продолжал до последних дней жизни. Поэма осталась неоконченной, а из того, что написано, опубликованы лишь немногие отрывки. Но и их достаточно, чтобы сказать, что «Лодейников» представляет собой поэтически оправданное единство сатирического гротеска даже не с лирическим, а я бы сказал с эсхатологическим пейзажем. Обыденные, всем примелькавшиеся поляны и ручьи, луга и села здесь, как и в «Столбцах», принимают фантастические, бредовые очертания и, точно охваченные приступом белой горячки, становятся символами разрухи, запустения, гибели. И часто смешное в поэме становится трагическим.

Судя по всему, герой поэмы Лодейников, агроном. Это какой-то молодой Дон Кихот. Он гораздо и умнее и тоньше окружающего его провинциального ничтожества, которое смотрит на него сверху вниз. Несчастная любовь Лодейникова показана Заболоцким в комическом плане.

А свет луны летел из-за карниза,
И, нарумянив серое лицо,
Наследница хозяйская Лариса
В суконной шляпке вышла на крыльцо.

Лодейников ей был неинтересен:
Хотелось ей веселья, счастья, песен, —
Он был угрюм и скучен. За рекой
Плясал девиц многообразный рой.
Там Соколов ходил с своей гитарой.
К нему, к нему! Он песни распевал,
Он издевался над любою парой
И, словно бог, красоток целовал.

Но в новом свете Лодейников предстает перед читателем, когда болезненно переживает страдания окружающего его мира.

Лодейников прислушался — над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей,
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Так вот она, гармония природы,
Так вот они, ночные голоса,
На безднах мук сияют наши воды,
На безднах горя высятся леса.

И есть какой-то символический смысл в том, что бездны мук и бездны горя возникают перед агрономом Лодейниковым после того, как он — пытливым, настороженным — взглядом всматривается в русские поля и деревни.

К сожалению, у нас слишком мало данных, чтобы судить обо всем произведении по сохранившимся фрагментам. Но и из этих опубликованных отрывков ясно, что «Лодейников» — поэма об оскудении полей и деревни, и в ней — в образно поэтической форме, — выражен тот же протест против варварского разрушения деревенской России.

«Вторая книга», — несмотря на то, что по содержанию она гораздо аполитичнее «Столбцов» — не спасла Заболоцкого от концентрационного лагеря. Поэта арестовали в 37-ом году и отправили на Дальний Восток. В концлагере Заболоцкий пробыл до конца войны и, судя по скупым сообщениям его близких, прежде, чем ему разрешили приехать в Москву и вернуться к литературе, он некоторое время прожил в провинции на положении изгоя. И в концлагере и вскоре после освобождения Заболоцкому пришлось быть и плотником, и чертежником, и счетоводом.

В 1948 году вышел из печати третий сборник стихов Николая Заболоцкого — «Стихотворения». В нем появляется новая для Заболоцкого тема индустриальных пейзажей. Од-

нако, как в третьем, так и в четвертом (предсмертном) сборнике стихотворений Заболоцкого мы находим не только «восторженное» описание социалистического строительства, но и отзвуки прежних тем поэта о том, что все эти технические достижения неотделимы от человеческих страданий.

«Рожок поет протяжно и уныло, —
Давно знакомый утренний сигнал!
Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал.

. . . . . .

И, выдохнув короткий белый пламень,
Под напряженьем многих атмосфер,
Завыл, запел, взлетел под небо камень,
И заволокся дымом весь карьер.

. . . . . .

Поет рожок над дальнею горою,
Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, горам наперерез.
Так под напором сказочных гигантов,
Работающих тысячами рук,
Из недр вселенной ад поднялся Дантов
И, грохнув наземь, раскололся вдруг.

Рожок гудел, и сопка клокотала,
Узкоколейка пела у реки,
Подобье циклопического вала
Пересекало древний мир тайги.
Здесь, в первобытном капище природы,
В необозримом вареве болот,
Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,
Срываясь с круч, мы двигались вперед.
Нас ветер бил с Амура и Аргуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,
Но все, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится березам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.

Охотский вал ударил в наши ноги,
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

В последнем же, предсмертном сборнике стихов Николая Заболоцкого эта же тема страдания, звучит уже не приглушенно, как в предыдущем, а во весь голос:

«Когда, устав от буйного движенья,
От бесполезно тяжкого труда,
В тревожном полусне изнеможенья
Затихнет потемневшая вода,

Когда огромный мир противоречий
Насытится бесплодною игрой, —
Как бы прообраз боли человечьей
Из бездны вод встает передо мной.

И в этот час печальная природа
Лежит вокруг, вздыхая тяжело,
И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.

И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода».

В этом сборнике Заболоцкий помещает стихотворение «Метаморфозы», помеченное 1937 годом. Оказывается и в чекистском застенке он писал стихи. Стихи — о смерти и о любви, которая сильнее, крепче тюремных решёток.

«Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко,
Лежащего меня. Он показал бы мне
Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край незримый, —
Мой бедный прах, когда-то так любимый».

В этом сборнике лирический пейзаж по-прежнему привлекает Заболоцкого. Может-быть даже сильнее, чем прежде, но только теперь он все более схож с Тютчевским. Стихи позднего Заболоцкого о природе пронизаны подлинным трагизмом, это стихи о гибели человеческой личности.

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар и суматоха
И огней багровый хоровод.

Эти звезды с острыми концами,
Эти брызги северной зари,
И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.

Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей.

Это башни ярости и славы,
Где к копью приставлено копье,
Где пучки цветов кровавоглавых
Прямо в сердце врезаны мое.

Снилась мне высокая темница
И решетка черная, как ночь,
За решеткой — сказочная птица,
Та, которой некому помочь.

И простерся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор ее неизъяснимых глаз.

В лице рано ушедшего Заболоцкого русская поэзия потеряла одного из выдающихся поэтов нашего времени.

Вяч. Завалишин

О ЧЕМ ГОВОРИЛ ЧЕХОВ

Есть писатели, которых не к чему перечитывать. Прочтешь раз, на крайность два раза — и всё ясно: искать чего либо нового, незамеченного было бы напрасно. Есть и музыка такая, и порой это даже очень хорошая, мастерская музыка, однако без скрытого, «подводного» течения: музыка, которую не хочется слушать, когда ее знаешь. Не буду называть имен во избежание упреков, а то и насмешек со стороны специалистов. На мой диллетантский взгляд к таким именам, — к тем, в творчестве которых рано или поздно чувствуется «дно», — принадлежат некоторые из самых известных.

Чехов долго казался писателем с «дном»,и даже не очень глубоко лежащим дном. Но время возвеличило его, и говоря это, я имею в виду вовсе не изменения в литературных вкусах, а то непреложное, что время, или вернее суд времени, делает: уничтожение черт случайных, художнику навязанных извне, очищение, прояснение творчества в его истинном содержании, как бы «в себе». Иногда впрочем приходится думать: действительно ли суд времени всегда справедлив? Сомнения возможны. Бывает ведь, что один век отменяет приговор другого, предыдущего, и случалось это и в русской литературе, сравнительно еще молодой: Кольцов, например, — кто причислит его теперь к поэтам истинно великим, кто скажет Пушкин, Лермонтов, Кольцов, — притом обходя Тютчева, забывая Баратынского, — как постоянно говорили в прошлом столетии? Но это всё же исключение, одно из тех, которые подтверждают правило. В общем время всех поставило, и до сих пор ставит на место, каждому по заслугам принадлежащее.

Чехову в признании его очень большим писателем мешала его скромность, его сдержанность. И только позднее, по новому прочитав его, мы поняли, что эта скромность есть не только его свойство, но и главная его тема, поняли, что духовная скромность во всех ее разветвлениях может оказаться темой, и что Чехов для нее в русскую литературу и пришел. Удивительно и достойно пристального внимания, что Достоев-

скому он поставил в упрек именно отсутствие скромности: одна из редких характеристик, которые Чехов Достоевскому вообще давал. Он не любил Достоевского, повидимому не любил даже говорить о нем, но вот обмолвился словечком, в котором сказано столько, что в ответ возникает целый рой мыслей. Порой хочется додумать эти счеты Чехова с Достоевским, этот внутренний его разговор с ним: ну, прекрасно Федор Михайлович, — возвратить Богу билет для входа в мир, допустим! А что дальше? И как это, скажите, билет возвратить, когда мы уже в мир вошли и контролер билетики у нас отобрал? А впрочем контролера-то пожалуй совсем и не было: просто нас втолкнули в дверь и за нами ее захлопнули. Что же, кончать с собой, в подражание вашему сумасшедшему Кириллову, который, кстати, ничего неприемлемого в мире не нашел, а если и застрелился, то по соображениям дерзновенно-философским, так сказать в пику Богу? Не проповедуете же вы коллективное, всеобщее самоубийство? А если не проповедуете, то зачем же всю эту ахинею, — простите, не по моему выражению, а по вашему собственному! — зачем вы ее выдумали и людей ею смущаете?

Едва ли, конечно, Чехов обо всем этом думал именно в таком виде, а тем более в такой последовательности доводов. Но если, закрыв его книги, забыв отдельные его произведения, постараться понять, что он в общем, в целом «хотел сказать», получается нечто довольно к этому близкое. Он не обратился бы с таким упреком к Толстому, во первых потому что сдержанности и духовного целомудрия у Толстого было гораздо больше, чем у Достоевского, если не в моральном, то по крайней мере в метафизическом плане, а во вторых потому, что как художник был от него в слишком большой зависимости. Но некую поправку к Толстому он всё же внес, возражение ему несомненно сделал, и именно это определило его место в русской литературе, — в гораздо большей степени, чем, скажем, «импрессионизм» в приемах или усовершенствование формы короткого рассказа.

У всякого, кто Чехова читает или перечитывает, в особенности если незадолго перед этим он читал Толстого или Достоевского, мало по малу возникает впечатление, похожее на спуск с высот, на облегчение. Дышется гораздо легче и свободнее. Конечно, и после Гоголя, первого члена нашей великой прозаической триады, впечатление приблизительно такое же. Даже после Лермонтова, в частности после «Княжны Мэри», этого «перла» нашей повествовательной литера-

туры до сих пор всё таки еще не вполне оцененного, впечатление то же: спуск, отдых. Но не после Пушкина, ни в коем случае не после Пушкина, и это с острейшим своим чутьем отметил Пастернак: родство Чехова с Пушкиным по линии скромности, совместимой, конечно, с какой угодно гениальностью.

Пушкин был именно гением сдержанности. У Пушкина русская литература очень многому выучилась, — формально, словесно, стилистически, композиционно, — но она вырвалась из под его духовной власти чуть ли не сразу после его исчезновения, и считать Гоголя или Лермонтова его последователями можно только не вникая в то, что сказали они и что говорил он. А чем дальше, тем литература наша в основном, «ведущем» своем складе уходила и от Пушкина дальше. Всем существом своим Пушкин был человеком «от мира сего», не в мелочно-житейском смысле, конечно: он признавал наш мир достойным жизни в нем, признавал его созданным для того, чтобы человек мог быть в нем благополучен и даже счастлив. Если Пушкин и требовал улучшений, государственных и бытовых, или только мечтал о них, то именно ради благоустройства мира. Пушкин мог усомниться в чем угодно, только не в творчестве и не в культуре. Пушкин, умирая взглянул на свои книги и сказал «прощайте, друзья!». Представьте себе умирающего Толстого в Астапове, — вспомнил ли бы он о своих книгах? Сжечь надо все книги, бежать от них, во всяком случае от огромного большинства их! Ложь и соблазн в книгах а не «единое на потребу»! После Пушкина и началось бегство, под различными предлогами, в разных направлениях, с различной в каждом отдельном случае долей убеждения, — и напрасно слабый Тургенев, наш «европеец», недоумевая, старался соотечественников образумить: они его не слушали, да правду сказать, ему и не под силу было бы с Толстым или с Достоевским спорить. Он не был на их уровне. А Пушкина, который им противостоять мог бы, уже не было в живых. Ему воздвигали памятники, но именно-то на памятных торжествах и произносили вдохновенно-неистовые речи, в которых каждое слово по внутреннему своему складу было Пушкину чуждо и облик его фантастически переиначивало.

Обо всем этом в нескольких словах мало что скажешь. Но где в этой цепи место Чехова, ясно сразу. Чехов — это послесловие к Пушкину и к великой после-пушкинской русской литературе, заключение ее, не выдуманное, а будто продиктованное самим духом жизни, Чехов — это комментарий

к ней, после того, как драма уже сыграна: подсчет былых надежд и реальных возможностей, нечто вроде «итога» и перехода к очередным делам. (Я умышленно употребляю слово «драма». В русской литературе на протяжении нескольких десятилетий со страшной силой разыгралось то, что при иных условиях могло бы растянуться на века, как и было на Западе: столкновение двух начал — мироутверждающего и мироразрушительного, «мирострем ительного», а если уйти дальше, к самым истокам — афинского и иерусалимского. Россия, внезапно разбуженная к сознательной жизни, как будто захотела наспех наверстать всё, что было упущено, и проделать многовековый западно-европейский опыт в ускоренном, невероятно сжатом виде, откуда и все наши крайности. У нас писался Домострой, когда в Италии уже угасало Возрождение, и благодушествовал царь Алексей Михайлович, когда Паскаль возражал Монтеню. Толстой, обращаясь к Пушкину, пожалуй повторил бы эти истинно-гениальные, сверхпроницательные паскалевские строки, но добавил бы и кое что от себя).

Бури стихали, и вот явился Чехов: тише воды, ниже травы. Зачем мучить людей? Зачем предъявлять им непосильные требования? Зачем рассказывать ужасные истории, вроде случая с Иваном Ильичем, который ведь жил не хуже и не лучше, чем все мы, грешные, и мог бы умереть так же, — помучившись, как всем полагается, но не содрогаясь от окружающей бессмыслицы и не вызывая содрогания в читателе? Зачем? У людей нет той веры, нет тех сил, которые предполагает в них Толстой, очевидно судящий обо всех по себе. Что он от современников своих хочет? Чтобы они шли на костры или как первые христиане, с сиянием счастия на лице, бросались в пасть к тиграм? Но ведь это — не герои, не святые, это потрепанные жизнью, средне-благополучные, средне-неудачливые люди, измельчавшие, пусть даже опустившиеся... а ведь все таки люди: чего же от них Толстой хочет? Как не видит он опустошительности своего нравственного максимализма? Неужели не найдется никого, кто вступился бы за всех этих чиновников, учителей, земских врачей, средних российских интеллигентов с бородкой и пенснэ на черном шнурке, никого, кто рассказал бы о них не для того только, чтобы свергать на них небесные громы? «Так что же нам делать?» — тревожно и страстно, во всеуслышание, с резонансом на весь мир, спросил Толстой. «Нам нечего делать», вполголоса ответил Чехов, не решаясь, правда, всту-

пить с Толстым в открытое пререкание, но исподтишка давая понять, что с этой позиции своей он не сойдет.

Поэт «хмурых людей», певец «безвремения», создатель «сумеречных настроений»: над всеми этими клише издевался Бунин, и действительно они набили оскомину, да и всегда были нестерпимо бесвкусны. Но едва ли Бунин прав, утверждая, что Чехов был писателем жестким, беспощадным, и что его милосердная снисходительность существует только в воображении глупых литературных критиков. Бунин ссылался на статью Льва Шестова «Творчество из ничего» и выделял ее из всего о Чехове написанного, считая эту статью чуть ли не единственной верной. Статья действительно глубокомысленная, как впрочем и всё то, что Шестов о литературе писал. Но сказал Шестов не совсем то, что Бунин у него нашел.

По Шестову Чехов одушевлен был страстью уничтожения. «В руках Чехова всё умирало». Это подмечено правильно, но если тут и есть беспощадность, то обращена она исключительно на взгляды, идеи, теории, системы, принципы, никак не на самого человека. Наоборот, человек, оставшись без привычной опоры, вдвойне заслуживает помощи. Замечательно, между прочим, что пока Чехов не садился за письменный стол, пока Аполлон не требовал его «к священной жертве», он разделял повидимому распространенные в его время и в его среде, обычные позитивистические убеждения, считал необходимым верить в прогресс, в разум, во всесилие науки и всё другое, по обычной схеме. Но в творчестве его от этой веры не осталось и следа, и Шестов метко определил идейное содержание этого творчества, как вышедшее «из ничего». Однако всё таки не совсем «из ничего», — ибо нельзя считать «ничем» сочувствие людям, круговую поруку, всех людей связавшую перед лицом «судеб», от которых по Пушкину «защиты нет».

Бунина мутило от «душевной теплоты», в самом деле тошнотворной, которую критики Чехову приписывали, мутило от «неба в алмазах», и тут он прав, тысячу раз прав, как бы ни было нам порой жаль расставаться с былыми привязанностями и далекими, юношескими восторгами: это чеховское стихотворение в прозе действительно тягостно, как впрочем и многое другое в чеховских пьесах, где очевидно под воздействием театрального окружения он утратил свой природный, абсолютный слух к фальши и правде (если только не пошел на уступки сознательно и умышленно, как бы махнув рукой). В пьесах своих, в монологах с «алмазами» Чехов на-

жал педаль (чего, кстати, не слышит и не чувствует почти никто из иностранных его поклонников, даже самых взыскательных). Но мелодия в них та же, что и в рассказах, хотя там, в рассказах, она чище, — потому, что свободна от досадных лирических фиоритур.

Надо бы привести примеры, надо бы для вящей убедительности подкрепить свои соображения цитатами, как принято это делать, — несмотря на давно уже подмеченный факт, что цитаты, произвольно вырванные из текста бывают у больших писателей очень противоречивы.

Нашим критикам, в том числе и Льву Шестову, особенно полюбилась в качестве образца «Скучная история», с ее старым профессором, не знающим, что сказать в утешение и назидание несчастной, растерянной молодой девушке. «Давай, Катя, завтракать»: вот и вся его мудрость в результате множества ученых трудов и всеевропейской славы.

Шестов считал, что «Скучной истории» не было бы без «Смерти Ивана Ильича». Бунин по этому поводу написал в своей книге о Чехове: «не знаю», с выразительным многоточием. Не относится ли однако его сомнение лишь к категоричности шестовского указания на полнейшую зависимость Чехова от Толстого? Что «Скучная история» — вариация на тему «Ивана Ильича» очевидно с первых же страниц*. Но в вариации исчез толстовский ужас, и в конце концов не очень многое надо было бы в существовании профессора и его Кати исправить, чтобы жаловаться им стало не на что. В рассказе нет толстовского мучительного напряжения, нет противопоставления тьмы свету, Ивану Ильичу после всех его страданий блеснувшему, колорит в нем сероватый, «хму-

---

* Сомерсет Моэм в последней своей книге утверждает, что Чехов любил «переписывать» по своему толстовские рассказы, т. е. передавать их своими, чеховскими словами. На упреки друзей он будто бы оправдывался, что делает это не с претензией Толстого улучшить, а как литературное упражнение. Не знаю, откуда эти сведения взяты, но если они верны, то и «Скучная история» может быть истолкована, как попытка пересказать, «очеховить» толстовскую повесть. Добавлю, что в «Скучной истории» есть нечто общее в замысле с известным романом Франсуа Мориака «Le noeud des vipères», который может быть ею и навеян. Как в игре в «телефон» тема переходит из одного произведения в другое, изменяясь до неузнаваемости.

рый», а привкус — наркотический, притупляющий боль. Скрытая сущность рассказа резко противоположна толстовской: не вызвать боль, а именно заглушить ее, — ну, а если придется обойтись без душевного просветления, что же обойдемся! Цена за него нам не по средствам.

«Крыжовник» или «Ионыч» да и многие другие рассказы, в особенности поздние, для понимания Чехова не менее важны, чем «Скучная история». Надо отметить, кстати, как настойчиво проходят через всё его творчество мотивы неразделенной, или во всяком случае незавершенной любви, не состоявшегося любовного счастья. «А счастье было так возможно, так близко...». Но что то помешало. Лучшее, что могло бы в жизни быть, прошло мимо. Осталась повседневная работа, в которую с тоски хочется уйти с головой, остались встречи, разговоры, карты, чаепития, пьянство, — и глухое сожаление о несбывшемся. Было бы в корне ошибочно думать, что виновата во всем этом унылая «российская действительность», как утверждали по инерции критики, — и в частности утверждал Скиталец в чудовищно-бездарном стихотворении, помещенном в бунинской книге. «Действительность» была для Чехова непосредственным предметом изображения, материалом, который был у него под рукой. Можно допустить даже, что в промежуток между «священными жертвами Аполлону» он сваливал именно на нее, на «проклятую действительность» все человеческие невзгоды. Но как художник он всматривался в нечто постоянное и повсеместное, да и вообще был слишком глубок, чтобы можно было его причислить к либеральничавшим бытописателям. Он не вкладывал готового нравоучения в повествование, он ничего не доказывал, он отвергал «тенденцию», однако само собой, чуть ли не на каждой его странице угадывается то, чем внушен замысел.

«Господи, прости нас грешных», говорит ложась спать Буркин в «Крыжовнике», после горестного, необычного в своей откровенности монолога:

«...Во всех домах и на улице тишина, спокойствие, из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул... Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами».

К этому и комментарий: «Господи, прости, нас, грешных!». Это стоит «неба в алмазах», и это лучше, короче и проще сказано.

Но таково прошлое. А на протяжении всей русской литературы, до наших дней, где место Чехова, в чем его дело? Если он «послесловие» к былым нашим громам и молниям, — впрочем не он один: Блок, например, по своему тоже послесловие, и Анненский, конечно, Чехову очень близкий, только более причудливый, с памятью о Греции и Эврипиде вперемежку с воспоминаниями об Акакии Акакиевиче Башмачкине, с шепотом вместо голоса, — если Чехов послесловие, то с чем он обращен к будущему? Над вопросом этим стоило бы подумать, а если он неясен, то потому, что неясно само наше будущее. Но то, что для Чехова было будущим, нами уже пережито: прошло полвека, и каких полвека! Он повидимому не предвидел всего, что придется людям испытать в эти десятилетия, но само собой творчество его в эти десятилетия включается и от них его не оторвешь. Как то неловко, когда говоришь о Чехове, употреблять формулы сколько нибудь претенциозные и эффектные, невольно ловишь себя на мысли: а что бы сказал он, если бы прочел? Но раз уж случилось договориться до того, что Чехов — это ликвидация былых надежд, то не добавить ли: и подготовка будущих страданий? Предчувствия, кажется, не было, но подготовка могла быть и безотчетна. Подготовка именно, как облегчение требований, чтобы то, что принесла история, не было отягчено еще тем, что выдумали люди сами. В конце концов — снисхождение, милосердие. Если Чехов стал одним из «наших вечных спутников», то сейчас смысл и значение его близости именно в этом.

Георгий Адамович

ЕЖОВЩИНА*

1. ПРЕДИСТОРИЯ ЕЖОВЩИНЫ

В середине тридцатых годов советское общество жило как бы под знаком сталинской крылатой фразы: «жить стало лучше, жить стало веселее». Страшный кризис, связанный с коллективизацией и индустриализацией первой пятилетки (1928-1934), был уже позади. Миновал голод, от которого погибло в 1932-33 г. много миллионов людей, и который был вызван не столько стихийными причинами, как в 1921 году, сколько «просчетами» в хозяйственных планах, в частности экспортных, «неполадками» административного аппарата, «усердием не по разуму» местных властей и тому подобными причинами, коренившимися в самой советской системе.

Одной из особенностей советской жизни является ее как бы волнообразность, одинаково обнаруживающаяся как в области хозяйства, так и в области политики: волны недоедания и голода сменяются волнами относительной сытости и довольства, волны административно-политического давления и политического террора — волнами относительного либерализма и спокойствия.

Голод 1932-33 г. был такой именно «отрицательной» волной и переживался он тем болезненнее, что ему предшествовала пора относительного довольства, совпавшая с НЭП'ом (1921-1928 гг.) и пошатнувшаяся к началу коллективизации и первой пятилетки.

Большевикам удалось до такой степени преодолеть хозяйственные затруднения, что в 1934 году они ликвидировали даже карточную систему и могли обеспечить население, по крайней мере, хлебом, если не всеми продуктами первой необходимости. А так как хлеб составляет главный продукт питания подавляющей массы русского населения, то оно самым серьезным образом почувствовало, что «жить стало лучше». Интересно, правда, что сталинская фраза в народе произноси-

---

* См. кн. 57 «Н. Ж.».

лась с маленькой, но очень существенной поправкой. Говорили обычно не «лучше», а «легче». Но и это было много в нелегкой, вообще, советской жизни.

Но «не хлебом только живет человек». Не только ликвидация голода внесла улучшение в жизнь советских людей. Первая пятилетка и коллективизация совпали с небывалым еще подъемом волны политического террора и всевозможных репрессий. Коллективизация сопровождалась «раскулачиванием», которое заключалось в том, что миллионы крестьянских семейств подвергались полному хозяйственному разорению, ссылались в отдаленные местности, а члены их подвергались заключению, расстреливались.

Одновременно шла классовая расправа с представителями старой технической интеллигенции. Один за другим следовали показательные судебные процессы: «Шахтинское дело», процесс «Промпартии», процесс специалистов Наркомзема и т. д. Тысячи инженеров, агрономов, ветеринаров и проч. подвергались всевозможным репрессиям по обвинению во «вредительстве» и «саботаже».

Тогда же производились и массовые «чистки», служившие в советском государстве одним из наиболее действительных средств политического воздействия или, иначе говоря, того же террора: чистка советского аппарата, чистка партии. Для разных категорий советской интеллигенции «чистки» были совершенно тем же, по своим последствиям, что «раскулачивание» для крестьян. Для высшей технической интеллигенции, а особенно для всех категорий академических интеллигентов, сюда присоединялись еще и, так называемые, «проработки», т. е. очень жестокая и всегда односторонне-пристрастная публичная критика их деятельности и их трудов. В общем, эти «проработки» были специальным видом «чистки» и тоже служил цели политического воздействия или террора.

К середине тридцатых годов наряду с ликвидацией голода и преодолением других хозяйственных трудностей наблюдается заметное спадение волны террора. Прекращаются судебно-политические процессы, уменьшается число арестов, много высланных ранее «кулаков» и «спецов» возвращается обратно, даже до отбытия наложенного на них срока заключения или ссылки. Отменяются прежние ограничения по «социальному происхождению» для вступления в ряды Красной Армии, для зачисления в высшие учебные заведения. Приобретают сакраментальное значение прежние крылатые слова Сталина: «сын за отца не отвечает» и «внимание к живому человеку». А

всё это завершается декларированием новой «демократической» конституции, — знаменитой «сталинской конституции». Над советской страной занималась, таким образом, заря новой жизни, начиналась как бы новая эра.

Наряду с ослаблением террористического пресса и поворотом в сторону «демократии», вернее, ее декларированием, наблюдался ряд побочных явлений, также свидетельствовавших как будто об отказе большевиков от некоторых принципиальных их установок и укоренившихся воззрений. Начиналось как будто предсказанное Бухариным «сползание на тормозах к капитализму». Еще в начале тридцатых годов появляется, например, постановление о школе, решительно осуждающее всякое «прожектерство» в области школьного преподавания и воспитания подрастающего поколения. Тогда же издается столь ошеломивший своей неожиданностью приказ о введении в Красной Армии воинских званий, т. е. фактическом восстановлении офицерских чинов. А в мае 1934 года появилось и знаменитое постановление о преподавании истории в школе, знаменовавшее собой полный переворот в области всей официальной идеологии и, особенно, гуманитарной науки.

Постановление о преподавании истории является документом первостепенной важности. Оно свидетельствует прежде всего о наивысшей степени возрастания государственной власти, безраздельно подчинившей себе уже и сферу идеологии, последней области, которая относительно оставалась еще свободной от ее непосредственного вторжения. И это же постановление было первым шагом в новом направлении официальной советской идеологии — в сторону российского национализма и патриотизма. Новое направление постепенно охватило все области науки, преподавания, искусств.

Новый курс заметно сказался даже в области частного быта. Началось с восстановления в правах запрещенных когда-то и строго преследуемых танцев. Танцы не только легализируются, а делаются почти обязательными — особенно для студентов и командиров Красной Армии. Танцевать теперь начинают все: от седовласых комиссаров до пионеров и октябрят, танцуют с каким-то исступлением, как бы стремясь вознаградить себя за прошлое.

Появляются и запрещенные ранее дамские туалеты, украшения, косметика. Когда-то комсомолка с накрашенными губами вызвала бы всеобщее возмущение, гнев, ужас и, уж конечно, была бы исключена из комсомола за подобное прояв-

ление «морального разложения». Теперь это считается вполне естественным и даже поощряется.

Начинается усиленная забота об укреплении семьи и поднятии общественной нравственности, ставится на обсуждение проект закона о запрещении абортов.

Стремление к имущественному и бытовому равенству объявляется сейчас «мелко-буржуазной уравниловкой». Никого уже не удивляет больше «погоня за длинным рублем», т. е. большим заработком. Оплата труда и бытовые условия до крайности дифференцируются. Разница в положении отдельных слоев общества делается всё более резкой.

2. УБИЙСТВО КИРОВА. — НАЧАЛО ЕЖОВЩИНЫ

Но общее успокоение, наступившее после первой пятилетки, оказалось, как многие и ожидали, только «затишьем перед бурей». Оно было нарушено убийством секретаря Ленинградского областного комитета партии Кирова 1 декабря 1934 года.

Подлинная подоплека этого события остается пока невыясненной. Но во всяком случае оно было отголоском той внутрипартийной борьбы, которая, начавшись еще при Ленине, никогда потом не прекращалась.

Здесь не место анализировать официальные мотивы и скрытые пружины внутрипартийной борьбы в Советском Союзе. Можно ограничиться указанием на то, что главным ее содержанием оставались два вопроса: о методах и средствах коммунистического завоевания мира — «мировой революции» и вопрос о партийном режиме, в частности, режиме единоличной диктатуры, представляемой Сталиным. Но как бы то ни было, внутрипартийная борьба отражалась на всей советской жизни, и в ней именно нужно искать объяснения многих, на первый взгляд, непонятных явлений.

Убийство Кирова для многих явилось громом среди ясного неба. И очень многих оно заставило не на шутку встревожиться. Очень уж выразительным был тон последовавших за убийством траурных митингов и собраний. На них впервые зазвучал во весь голос мотив «о классовой бдительности», призыв к беспощадности по отношению к «врагам народа».

Новый курс, ясно уже предчувствуемый всеми, кто хоть сколько-нибудь разбирался в общем направлении советской политики, наступил, однако, не сразу. Для него требовалась как будто раскачка. Даже репрессии, последовавшие непосред-

ственно за убийством Кирова, поразили своей относительной мягкостью. Что значит расстрел одной сотни «контрреволюционеров», «диверсантов» и «шпионов» при обычных масштабах большевистского террора!

Но ждать пришлось недолго.

Началось с новой, небывалой еще по размаху, чистки партии и государственного аппарата, проводившейся теперь без прежней помпы и по очень скромному как будто поводу «проверки партийных документов», «наведения порядка в партийном хозяйстве», но по результатам значительно превзошедшей все прежние.

Новая чистка породила настоящую вакханалию, так называемых, «разоблачений» и «заявлений». Заслуги того или иного члена партии или рядового советского гражданина измерялись количеством поданных им «заявлений», изобличавших или вообще компрометирующих других членов партии или других советских граждан. Никаких доказательств обвинения при этом не требовалось. «Где говорит классовое чутье, доказательства излишни!», сказал член партии Каминский, научный сотрудник Украинской Академии Наук в Киеве, на одном политическом собрании, когда у него потребовали хоть каких-нибудь доказательств обвинения в контрреволюции другого научного работника — профессора К. Копержинского. А секретарь партийной организации той же Академии Белоусов подвергся на страницах киевской газеты обвинению в «потере классовой бдительности» за то, что потребовал доказательств от одного из авторов многочисленных «компрометирующих заявлений». Количество поданных отдельными лицами «заявлений» или количество «разоблаченных», «раскрытых» ими лиц в отдельных случаях измерялось сотнями. Секретарь Киевской городской организации партии пытался даже установить что-то вроде минимальной нормы таких разоблачающих или компрометирующих заявлений: для каждого члена партии она была от пятидесяти до ста!

К чему сводились эти «разоблачения»? Обвиняли в «сокрытии социального происхождения», «прошлой деятельности», «принадлежности к бывшим политическим партиям», «участии в политической оппозиции», «перерождении», «потере классовой бдительности», «пособничестве классовому врагу», «национализме», «троцкизме», «извращении генеральной линии», «моральном разложении» и т. п.

Большинство этих обвинений были настолько расплывчаты и неопределенны, что их нельзя было ни подтвердить, ни

опровергнуть. Подтверждения обычно и не требовалось, а опровергать было даже опасно, так как это считалось «недостатком самокритики» или «зажимом критики». Особенно нужно отметить здесь усердие, с каким молодые и ниже стоящие члены партии пытались «разоблачать» партийных вельмож: в этом восстании партийных низов против «бонз» несомненно кроется одна из глубоких причин всех последующих событий!

«Разоблачения», в форме ли письменных заявлений, в виде ли деловых выступлений на специальных собраниях, статей в прессе и т. д. — влекли за собой ряд самых неприятных последствий для разоблачаемых. Их обычно исключали из партии с одновременным «снятием с работы», при чем к каждому из них «прикреплялся соответствующий ярлык», т. е. давалась политическая квалификация, делавшая невозможной какую бы то ни было деятельность. Людей с такими ярлыками «врагов советского общества» появилась масса: «троцкистов», «перерожденцев», «националистов», «правых», «пособников» и т. д. Все они были кандидатами на арест и ликвидацию, которые и не замедлили произойти.

Новая всеобщая чистка, как и прежние, для высшей интеллигенции, в частности для научных работников всех званий и категорий, повлекла за собой новую волну «проработок», «критики и самокритики».

Процедура «проработки» напоминала процедуру чистки, с той только разницей, что здесь ко всем обычным обвинениям присоединялись еще и «методологические ошибки», «враждебность идеологии», «отступление от классиков марксизма-ленинизма» и т. п. Застрельщиками же «проработки» выступали и здесь преимущественно представители младшего поколения — ассистенты, доценты, студенты, — ведущие наступление на «бонз»: своеобразная классовая борьба в советском преломлении.

Из прежних волн «проработок» самой страшной была волна 1931-32 года, последовавшая за известным письмом Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция». В этом письме Сталин обвинял советских ученых в аполитичности, отставании от задач и темпов советского строительства, требовал полного подчинения науки, а в конечном итоге всех областей духовной жизни и творчества, задачам и целям большевистской политики.

Волна 1931-32 г. меня лично затронула мало: тогда я не принадлежал еще к «бонзам» и вышел уже из разряда «моло-

дых». Вследствие этого я и сам не подвергся «проработке» и не был привлечен к активному участию в «проработке» своих коллег. Обошлось пустяками.

На этот раз дело обстояло много серьезнее: мне предстояло сделаться мишенью самых ожесточенных нападок и пройти все стадии «проработки», вплоть до последней, т. е. ареста.

Моя «проработка» достаточно типична, чтобы остановиться на некоторых ее подробностях. Началось с того, что в университетской стенной газете появилась статья под очень выразительным заглавием: «По ошибке или умышленно?». В этой статье один из моих слушателей — студент, на редкость, кстати сказать, неспособный и почти полуграмотный, но делавший карьеру «активностью» и впоследствии вознесенный на высокие ступени партийной иерархии, — взял под защиту обиженную будто бы мною... Жанну д'Арк.

Дело в том, что в своей лекции я назвал французскую героиню «экзальтированной» и «психически-неуравновешенной», тогда как генеральный секретарь Коминтерна т. Димитров в своей последней речи заметил, что французские коммунисты оспаривают у фашистов право на монопольное почитание этой участницы борьбы французского народа за свободу и т. д.

Происходило это в 1936 году. А за два года перед тем советский историк не смел бы вообще произнести на своих лекциях имени Жанны д'Арк, если не хотел навлечь на себя обвинения в «идеализме»: во-первых, в историческом процессе нет места для «героев» и «героинь»; во-вторых, в истории «классовой борьбы» нет места для таких событий как Столетняя война. А если бы имя Жанны д'Арк и могло быть упомянуто, то не иначе, как в виде иллюстрации и характеристики «средневековых суеверий», «реакционной роли церкви, прибегающей к наглому обману масс и пользующейся для этого шарлатанами или душевно-больными» и т. д. Но так было два года тому назад, а сейчас Столетняя война заняла уже видное место в историческом изложении, и Жанна д'Арк превратилась в национальную героиню, и сама коммунистическая партия взяла под защиту ее авторитет от посягательств «буржуазного профессора».

История с Жанной д'Арк стоила мне немало крови, но она была только началом. Между прочим, аналогичный с «Жанной д'Арк», хотя и в другом несколько роде, случай имел место и с одним моим коллегой, профессором Бречкевичем. Говоря своим студентам о Маккиавели, он сослался на очень лестный о нем отзыв К. Маркса. Оказалось же, что верховный прокурор

Советского Союза, т. Вышинский, в своей обвинительной речи против «участников правого блока» приписал этим последним наряду с разными другими грехами и преступлениями также и «маккиавелизм». Профессор Бречкевич не удосужился прочитать номер газеты, где передавалась речь Вышинского, и его обвинили в «нарочитом игнорировании высказываний партийных вождей», в «аполитичности» и т. д. Впрочем, подобных случаев было очень много. Положение советских историков очень не легко уже потому, что то, что вчера считалось непоколебимой истиной, вытекающей из всего «учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина», на завтра объявлялось ересью, «искажением», «искривлением» и т. п. Это-то большевики и называют «диалектикой».

За Жанной д'Арк последовала у меня история с Мидасом. Приведя этот миф в виде какой-то случайной иллюстрации, я допустил неточность в изложении подробностей. Вернее даже, рассказал мало известный вариант о его гибели. Между тем, Сталин в своей последней речи, говоря об отрыве партийного руководства от масс, привел для сравнения известный миф об Антее. Мои критики, — в данном случае мой собственный ассистент, типичный представитель младшего поколения, наступающего на «бонз», — бросил мне обвинение такого рода: в то время, как вождь партии, гениальный, мудрый и т. д. товарищ Сталин пользуется античными мифами для подтверждения своих выводов, буржуазный профессор Штеппа позволяет себе обращаться с мифами столь небрежно, что искажает в своих лекциях их содержание, т. е. для профессора Штеппы авторитет вождя не имеет значения и т. д. ... Это похоже на анекдот, но сколько подобных анекдотов можно было бы привести из истории описываемого периода советской жизни!

Не успел я еще отдышаться после Мидаса и залечить раны от Жанны д'Арк, как снова подвергся жестокому обвинению в игнорировании постановления наивысших советско-партийных органов. Это по поводу того, что в своем изложении я привел несколько не вполне обычных, а по мнению моих малокомпетентных критиков, неверных хронологических дат, вопреки, следовательно, постановлению «о преподавании истории», требовавшему особого внимания к хронологии.

И наконец началось против меня наступление по всему фронту: осенью 1937 года в течение многих длинных вечеров меня подвергли уже настоящей «проработке». В моих печатных трудах, в моих лекциях и докладах были обнаружены

— и «троцкизм», и «национализм», и «преклонение перед буржуазными авторитетами», наряду с игнорированием наследия классиков «марксизма-ленинизма» и очень многое другое в том же духе.

Подробное изложение этой «проработки» представило бы несомненный интерес для характеристики отношений в советских университетах и положения науки в Советском Союзе.

В роли критиков выступали преимущественно мои ассистенты и отчасти слушатели и коллеги. Под конец стали слышаться уже и голоса: «распни его!» — или, по советской терминологии, требовали «организационных выводов»: снятия с работы и даже ареста. Моя обреченность стала для меня ясной.

Между тем, в стране волна чисток и «проработок» переходила уже в волну массовых арестов, охвативших все круги населения, но в первую очередь представителей командной верхушки партии, армии, государственного и хозяйственного аппарата, высшей школы и научных учреждений. Массовые аресты начались уже в 1936 году, но своего апогея достигли они только в середине 1937 года. Причем эти аресты отличались от арестов прежнего времени именно тем, что им подвергались на этот раз самые что ни на есть «крепкие» большевики, «вожди», партийные вельможи, занимавшие наиболее ответственные места в государственном или партийном аппарате. А главным содержанием обвинения каждого из них, поскольку это могло быть известным, был «шпионаж в пользу одной из капиталистических держав». Дело в том, что Сталин в одной из последних своих речей, призывая к классовой бдительности, сказал, что капиталисты засылают в Советский Союз тысячи своих агентов-шпионов и диверсантов, а один шпион может-де принести больше вреда, чем целый неприятельский корпус. Это и дало повод советским властям искать везде и всюду иностранных шпионов, а НКВД не находило ничего более подходящего для расправы, как обвинение именно в шпионаже. И оказалось, что миллионы советских граждан разного общественного положения, национальности, возраста, пола — партийные и беспартийные, военные и штатские, образованные и необразованные — служили наемными или добровольными агентами иностранных разведок. Не один, а много настоящих корпусов можно было бы образовать из этих «шпионов», попавших в годы «ежовщины» за решетку тюрем или проволоку лагерей НКВД!

Каждый день приносил с собой известие об «исчезновении» какого-нибудь секретаря «обкома», председателя «ис-

полкома», а то и наркома. Официальных сообщений об этом, разумеется, не было, и заключения в публике делались обычно по таким косвенным, но совершенно бесспорным данным, как снятие портретов того или другого «вождя» в общественных учреждениях, где они раньше красовались, как упорное замалчивание его имени в прессе или, наоборот, появление этого имени с таким «нелестным» эпитетом, как «враг народа», или что либо подобное. Так или иначе, аресты не оставались секретом, и о них узнавали на другой же день. Аресты происходили обычно ночью.

Аресты продолжались непрерывно, всё более нарастая, но особые вспышки их были связаны с поставленными тогда большими судебно-политическими процессами: процессом маршала Тухачевского и других участников «военного заговора» — весной 1936 г.; процессом «Троцкистско-Зиновьевского блока» — ранней осенью 1937 года; процессом «Правого блока» — ранней весной 1938 года и др. Каждый такой процесс служил как бы сигналом к новой волне арестов, прокатывавшейся от уголка к уголку огромной страны и захватывавшей на этот раз уже все без исключения слои общества.

Почти никто не принимал всерьез тех обвинений, которые предъявлялись на этих процессах их жертвам, а в самих процессах видели только средство расправы и устрашения. Но что оставалось для большинства загадкой, это — поведение самих обвиняемых. Почему они признавали себя виновными во всех возводимых на них обвинениях? Почему не делали даже попытки оправдываться, смягчить свою вину? Откуда эта непонятная покорность? Существовали разные попытки ответить на эти вопросы, но все они были неудовлетворительны. И для меня лично они оставались нерешенными: до самого моего ареста я, как и другие, не знал, что «ларчик открывается очень просто». Правда, и тогда уже мне не раз приходили на память средневековые процессы о ведьмах, которыми я специально интересовался, но эта аналогия казалась мне тогда еще почти шуткой. Только позже убедился я в том, что по крайней мере в данном случае «история всегда одно и то же, хоть и несколько иначе...».

Тысяча девятьсот тридцать седьмой год занимает особое место в истории большевизма. И не в моей только памяти оставил он неизгладимый след... Страшный год! С каждым днем уже становился круг знакомых, остававшихся на свободе. Всё чаще доходили известия об арестах далеких и близких лиц. И каждую ночь, идя ко сну, советский гражданин себя

спрашивал: где встретит его утро. Всякий гудок проезжающей машины отдавался в душе ужасом. Потолок дрожал над каждой советской головой. Это — ежовщина!

В 1937 году в моей личной жизни последовали одно за другим события, из которых каждое было грозным предзнаменованием. Весной еще произошел арест целого ряда моих университетских коллег, из которых некоторые были близкими друзьями, как например профессор Лозовик, еврей, бывший меньшевик, и Перлин — тоже.

Летом того же года пришло известие о «семейном» самоубийстве: покончил с собой председатель Украинского Совета Народных Комиссаров Любченко, убив предварительно свою жену — Наталию Николаевну Крупеник.

Оба события задевали меня непосредственно. Среди арестованных коллег были мои друзья, а каждому советскому гражданину хорошо известно, что значит иметь арестованных родственников или друзей: это уже верный шанс и на собственный арест, долженствующий наступить с неизбежностью какой-то закономерности.

Что же касается самоубийства Любченко, то советские граждане получили уже надлежащий урок из происшедшего несколько раньше (в 1934 г.) самоубийства другого украинского наркома — Николая Скрыпника: это самоубийство повлекло за собой огромную волну массовых арестов среди украинских «буржуазных националистов», которые ответили за пассивный протест одного из оппозиционно-настроенных партийных вельмож.

Меня же, по какому-то странному недоразумению, причисляли, — во время чисток и «проработок», — к категории именно «буржуазных националистов», хотя кроме фамилии (немецкого, впрочем, происхождения) никогда и никто не изобличал меня в этом политическом грехе.

Я имел, таким образом, шансы ответить за смерть Любченко, как многие мои товарищи по университету и академии ответили раньше уже за смерть Скрыпника. Но дело значительно осложнялось в данном случае, тем, что жена Любченко, бывшая доцентом университета и, кроме того, еще и председателем университетского «месткома», была моей знакомой, а, значит... в университете будут искать ее единомышленников.

Третьим событием злополучного 1937 года для меня была моя «проработка», которая казалась мне лично, и всем, знавшим меня, непосредственной прелюдией к аресту. Между прочим, характерная для советского быта подробность: знакомые

и друзья тогда уже спешили отворачиваться от меня, как от зачумленного, делая это — одни с наглой развязностью, другие с нескрываемой стыдливостью. Но — «всё понять — всё простить!»

Тучи над моей головой всё более сгущались, и некоторый «просвет» в них наступил для меня тогда, когда я узнал об аресте того именно ассистента, который выступал главным застрельщиком во всех против меня нападках, обвиняя меня во всех смертных грехах и требуя моего «распятия». Однако, этот просвет оказался только иллюзией.

Развязка, наконец, наступила в ночь под праздник Парижской Коммуны, т. е. 18 марта 1938 года, почти в кульминацию ежовщины... Хотя последнюю вернее отнести к апрелю и маю этого года, когда были арестованы даже члены Политбюро в лице Коссиора и Чубаря и когда почти ни один партийный сановник, администратор или военный командир высоких рангов не оставался на своем месте, не говоря уже о тысячах и миллионах «мелких людишек».

3. ПЕРВЫЕ УРОКИ. — В ОДИНОЧКЕ.

Итак, свершилось. Арест наступил. Арест, которого я ждал со дня на день или, вернее, с ночи на ночь, в течение всего года, — не одного только этого года, но этого года в особенности.

Сама процедура ареста и сопровождавшего его домашнего обыска, доставки во внутреннюю тюрьму НКВД, повторного обыска и предварительного опроса в комендатуре — не представляли собой чего-либо особенного. Надо сказать, что всё было обставлено довольно корректно или, по принятой у большевиков терминологии, «культурно».

Когда по выполнении неизбежных формальностей я очутился, уже под утро, в одиночной камере, я мог свободно предаться размышлениям, которые, естественно, сводились к одному вопросу: что меня ожидает? В чем меня будут обвинять, что я скажу в свою защиту и какого могу ждать наказания?

Эти мысли были прерваны переводом меня в обычную камеру в той же внутренней тюрьме, в камеру, где я получил и свои первые тюремные уроки, показавшие мне всю советскую действительность и, в частности, ее карательную систему совершенно в другом свете, чем я их представлял себе. Началась для меня, как и для многих советских людей, настоящая «школа большевизма».

Первыми моими тюремными товарищами оказались: Зуйченко, рабочий-металлист, бывший когда-то активным участником махновского движения, отбывший восемь лет царской каторги за принадлежность к анархистам и участие в совершении террористических актов, побывавший дважды уже и в советских лагерях, — один из ярких представителей, по советским понятиям, «бывших» — особая категория людей, служащих всегда наиболее определенным объектом большевистского террора. Обвинялся он в участии в «подготовке вооруженного восстания против советской власти».

Вторым сокамерником был Иоганн Грессель, германский рабочий, приехавший в Советский Союз в годы безработицы с единственной целью найти здесь кусок хлеба и попавший за решетку тюрьмы НКВД по обвинению в фашизме. Настоящая же его вина заключалась в том, что, живя с женой, тещей, свояченицей и грудным ребенком в одной комнатушке с протекающим потолком, он безуспешно толкался от одной двери к другой и, наконец, выйдя из себя, сказал какому-то начальнику, из не особенно даже высоких, что в капиталистическом мире собаки живут в лучших условиях, чем рабочие в стране трудящихся.

Грессель был «иностранцем» и очень скоро я убедился, что иностранцы самого разнообразного происхождения и положения являлись, наряду с «бывшими», основным населением советской политической тюрьмы.

Кроме Зуйченко и Гресселя, моими товарищами по камере были: один бухгалтер, бывший в 1917 году членом Украинской Центральной Рады и обвинявшийся, естественно, в украинском национализме, также из категории «бывших»; и другой «бывший» — казачий полковник, долгие годы работавший в качестве чернорабочего на кирпичном заводе, но теперь, наконец, обнаруженный и «посаженный» за участие якобы в Российском Общевоинском Союзе — политическая организация так называемых «белых» эмигрантов за границами Советского Союза.

Далее, — плановик, вина которого была неопределенной, хотя он обвинялся в таком страшном преступлении, как террор, и, наконец, два специалиста лесного дела, относящихся к категории «спецов» и обвинявшихся во «вредительстве» и «саботаже».

От этих своих товарищей по несчастью я и получил первые необходимые сведения, касавшиеся моей дальнейшей судьбы и вводившие меня в курс всей практики советского политиче-

ского судопроизводства во всех его стадиях — от предварительного дознания до приведения приговора в исполнение. И хотя кое-что я знал уже или, вернее, кое о чем догадывался уже на свободе, многое оказалось для меня совершенно неожиданным.

Прежде всего, процедура предварительного дознания и методы судебно-политического следствия. В виде «наглядного пособия» мне был продемонстрирован бухгалтер-«националист». Бедняга лежал неподвижно на животе, так как вся задняя часть его тела была превращена в сплошную рану: таковой оказалась процедура допроса...

В самое последнее время в публику начали уже проникать слухи о том, что арестованных в НКВД во время допроса жестоко избивают, а порой подвергают и всевозможным пыткам. Но я относился к этим слухам с некоторым недоверием, считая их если не вымыслом, то преувеличением, и уже во всяком случае не допускал мысли, чтобы подобные приемы «следственного воздействия» применялись совершенно открыто и носили массовый характер. Это плохо вязалось с принципами столь торжественно провозглашенной в последнее время демократии, равно как и со «сталинской заботой о живом человеке».

В камере меня познакомили со всеми «приемами следственного воздействия», чтобы я был к ним психологически подготовлен. И последующие мои наблюдения, и личные переживания подтвердили точность полученных сведений.

Существует целая система следственного воздействия, разработанная во всех деталях и применяемая следователями НКВД не без учета психологических особенностей подследственного.

Начинается обыкновенно с «уговаривания»; следователь убеждает подследственного добровольно сознаться в своей вине и обещает ему в этом случае полное прощение. Приемы «уговаривания» отличаются порой настоящей изощренностью, тонким знанием психологии и учетом всех особенностей своеобразного большевистского мировоззрения, носящего на себе печать настоящей религиозно-мистической веры со всеми ее переживаниями. В отдельных случаях стадия «уговаривания», «убеждения», «увещевания» длится очень долго. В применении к интеллигентам она очень часто достигает требуемых результатов, вследствие чего они подвергаются ей особенно интенсивно.

За «уговариванием» следуют всевозможные угрозы и

предварительное устрашение: угрожают тяжелыми последствиями в случае упорства, расстрелом и пр.; угрожают репрессиями по отношению к членам семьи и вообще близким лицам и т. д. Такие угрозы, подтверждаемые наглядными доказательствами, также оказывают свое воздействие, особенно угроза репрессиями по отношению к семье: у большинства арестованных появляется повышенная, доходящая иногда до болезненности, тревога за семью, за близких. И следователи умеют этим пользоваться.

Но если исчерпаны средства убеждения и устрашения, переходят к непосредственному воздействию. Это — так называемый «конвейер» — допрос, продолжающийся почти без перерыва в течение многих суток; «выстойка», когда допрашиваемого заставляют стоять тоже в течение многих суток до отека и опухания ног; «высадка» — то же самое, но в виде сидения в неудобном положении, например, на кончике стула; лишение сна, когда допрашиваемый неделями не может заснуть и доходит до бредового состояния, до полной потери воли и самообладания, и, наконец, избиение.

Избиение — самый распространенный прием следственного воздействия в практике НКВД. Причем очень часто он применяется непосредственно в самом начале следствия, параллельно или даже без названных выше более тонких приемов.

Из всех лиц, встреченных мною за время двухлетнего пребывания в тюрьмах НКВД, избиению не подвергались только единицы, в виде исключения. Как правило, в большей или меньшей мере, ему подвергались во время следствия все заключенные.

Избиения производятся самими же следователями, и их орудием является обычно ножка от стула с острыми концами. НКВД не хочет, очевидно, оставлять «вещественных доказательств» своей практики применением каких-либо специальных инструментов в виде каучуковых палок и т. п.

Избиения производятся систематически, в порядке именно следственного воздействия, а не в порядке садистических извращений, я лично видел, например, как у одного подследственного (профессор Ланге) вся нижняя часть тела была черной от побоев, за исключением одного только места для сидения: оно было оставлено нетронутым для того, чтобы подследственный имел возможность писать свои показания сидя, после того как «следственное воздействие» на него дало бы ожидаемые результаты.

Степень избиения бывала разной, в зависимости от упорства подследственного — от незначительных побоев до членовредительства. Я видел людей с оторванными ушами (между прочим, бывшего заместителя народного комиссара по просвещению Лёвшина), с поломанными ребрами, руками и ногами, с отбитыми почками и легкими и т. п. Немало было случаев, когда избиения кончались смертью (например, бывший заместитель народного комиссара внутренних дел Броневой).

Избиения соединялись часто с более рафинированными средствами воздействия. Наиболее популярными были «игры» в «футбол» и «самолет». «Футбол» заключался в том, что подследственного бросали на пол и затем ударами ног перебрасывали его из одного угла комнаты в другой. «Самолет» же состоял в том, что подследственного сажали на стул, поставленный на нагроможденный один на другой столы, а затем выдергивали этот стул из под него так, чтобы он сразмаху ударялся о пол, и этот прием повторялся до потери сознания жертвой или до полного ее искалечения.

Но существовали и более изощренные методы следствия, как выламывание суставов, искалывание лица иглой с учетом при этом нервных сплетений, зажимание пальцев дверью и т. п. Эти приемы не имели массового применения, хотя и не были единичными явлениями. Мне лично пришлось встретить ряд лиц, которые им подверглись.

Причем необходимо отметить здесь такой характерный факт: наиболее жестоким средствам следственного воздействия подвергались арестованные сотрудники самого НКВД, члены партии и командиры Красной Армии. Это именно потому, что у них труднее всего было вынудить признание в преступлениях, которых они большею частью не совершали.

Столь своеобразные методы следственного воздействия — это было первое, что я узнал в камере от своих товарищей и что подтвердилось затем всеми моими дальнейшими переживаниями и наблюдениями. Но узнал я еще очень многое и прежде всего то, что те преступления, в которых обвиняли на следствии и обязательного сознания в которых добивались всеми путями и средствами, вовсе не соответствовали действительной вине заключенных, если только эта вина вообще существовала.

Иначе говоря, всё следствие в НКВД построено на том, чтобы добиться от подследственных, во что бы то ни стало и ценой каких угодно пыток, сознания в несуществующих преступлениях, ради каких-то фикций, а вовсе не для обнаруже-

ния подлинных фактов. При этом схема обвинения строилась по очень однообразному трафарету, на основании, так называемых, «объективных признаков». «Объективные признаки», по принятому в НКВД официальному жаргону, — это: либо биографические данные обвиняемых, их социальное происхождение, прежний род деятельности, родственные или личные связи и отношения, — либо секретные данные из «заявлений» или «сводок» секретных агентов («сексотов») о политических настроениях обвиняемых, обнаружившихся в частных разговорах или каким-либо иным путем.

Таким-то образом и получалось, например, что мой сосед по камере — бухгалтер, бывший член Центральной Рады, оказывался «участником буржуазно-националистической организации, готовившей вооруженное восстание против советской власти», хотя за всё время своей деятельности он не забывал никогда о своем «первородном грехе», старался быть тише воды и ниже травы и ни о каких восстаниях против советской власти и не помышлял.

Старый казачий полковник, скрываясь на кирпичном заводе в качестве чернорабочего, день и ночь боялся, как бы его не обнаружили, и едва ли даже слыхал о существовании заграницей такой организации, как РОВС, но тем не менее должен был дать сейчас показание не только об участии в этой организации, но и о совершении им «диверсионных актов».

Самым трудным для обвиняемых было то, что всю фабулу своего обвинения, всю «легенду» или «пьесу», — таковы почти официальные выражения следственной практики, — они должны были строить сами, заботясь о том, чтобы эта фабула казалась наиболее правдоподобной во всех подробностях. Это, может быть, самое невероятное во всей описываемой здесь истории: каждый обвиняемый, находившийся под следствием НКВД и подвергавшийся тем или иным приемам следственного воздействия, напрягал все свои способности для того, чтобы «помочь следствию», т. е. подыскать как можно больше обвинительного материала против самого себя.

Впрочем, практика «самокритики» во время «проработок» и чисток для очень многих являлась прекрасной репетицией: ведь и тогда оправдывать себя или даже пытаться смягчать свою вину, особенно ссылаясь на «объективные обстоятельства», считалось чем-то совершенно недопустимым и, наоборот, чем больше человек каялся, чем больше обвинял себя и других, тем больше он имел шансов быть признанным настоящим большевиком.

Создание обвинительной фабулы или «пьесы» для многих подследственных сопровождалось настоящими «муками творчества», и люди с недостаточной фантазией и комбинаторскими способностями прямо страдали. На помощь им приходили «камерные консультанты», добровольные или подсылаемые самими следователями. Из чувства сострадания к своим сокамерникам, по соображениям личной выгоды, в расчете подслужиться к начальству или из каких-либо иных мотивов эти «консультанты» помогали своим товарищам сочинять «пьесы». Они облегчали подследственному следственную процедуру, освобождали его от многих примеров «воздействия», а самому НКВД — технику «ликвидации» их авторов. Я лично встречал подобных «консультантов», известных тогда во всех тюрьмах НКВД. Это были, например, профессор Виттенбург и профессор Сухов.

«Пьесы» отличались иногда большим реализмом и поражали согласованностью своих частей, но чаще всего были довольно аляповатыми, однообразными и впадали в совершенно фантастические преувеличения. Мой сосед Зуйченко составил «пьесу» более или менее удачную, и она, кажется, помогла ему окончить его бурное и многострадальное существование: в том городке, где он работал на заводе формовщиком, происходили обычные занятия ОСО (Общество Содействия Обороне) с маневрами, походами, состязаниями и проч. Не было ничего проще, чем представить эти занятия в виде «скрытой подготовки к мобилизации сил для вооруженного восстания против советской власти». И по этой фабуле пошли в камеры НКВД, а оттуда в могилу или в Сибирь, и сам Зуйченко, и директор его завода, и секретарь районного комитета партии, и очень многие другие рядовые рабочие, крестьяне, служащие. И характерно, что Зуйченко сидел на этот раз не по обвинению в участии в «махновщине», — за это он уже сидел дважды, — а именно как «участник вооруженного выступления». И так многие другие.

Я не могу привести здесь все те «следственные пьесы», о которых рассказывали в камере. Это заняло бы слишком много места. Но не могу умолчать о столь характерных, как показание одного киевского рабочего о его намерении взорвать на воздух остров, лежащий на Днепре против города. Или, еще лучше, показание рабочего харьковской мастерской по изготовлению наглядных пособий для школ: он заявил на следствии, — не знаю, после применения к нему какого приема «воздействия», — что их мастерская собиралась взор-

вать на воздух... весь СССР! Бедняга не отличался ни техническими познаниями, ни чувством реальности. Хотя, кто знает, может быть, у него была достаточная доля юмора!

Всякая обвинительная фабула должна была обязательно включать в себя пункт о, так называемых, «вербовках». Обязательные вопросы следователя: «Кто тебя завербовал?» и «Кого ты завербовал?», т. е. кто вовлек воображаемого политического преступника в воображаемую контрреволюционную, — шпионскую, — заговорщицко-террористическую, — инсургентскую и т. п. организацию или, иначе, — кто толкнул его на совершение преступлений (предполагаемых, конечно, так как реальных почти не было) и с кем он сам сделал то же.

Другими словами, всякий обвиняемый должен был назвать своих мнимых соучастников, притом возможно большее число, заботясь при этом о том же правдоподобии и вероятии своих показаний. «Пьеса» должна была казаться более или менее реальной. Неудобно было бы, например, назвать духовную, скажем, особу, да еще преклонного возраста, в качестве вооруженного инсургента (к такой роли скорее подходил бы какой- нибудь военный и помоложе) но зато она вполне сошла бы за идеологического вдохновителя, агитатора и т. п.

Этот пункт был особенно щекотливым. Легче было обвинять самого себя, чем оговаривать других. Поступали в этом случае по-разному: одни, заглушив в себе совесть, называли в качестве своих «вербовщиков» или «завербованных» всех, кого могли вспомнить и кто хоть сколько-нибудь подходил к приписываемой ему роли: другие пытались спасти остатки совести тем, что называли людей, уже подвергшихся репрессиям, т. е. таких, следовательно, кому повредить уже было нельзя; третьи указывали имена умерших или вовсе не существующих на свете лиц, что иногда тоже сходило с рук благополучно, но не всегда, правда...

Но как бы то ни было, эти «вербовщики» сыграли огромную роль в массовых арестах: на основании таких оговоров было арестовано и подвергнуто «следственному воздействию» со всеми вытекающими последствиями очень много советских граждан. НКВД заботилось лишь о том, чтобы иметь хоть какой-нибудь формальный повод для ареста того или иного лица. Этот повод давало показание уже арестованного, — нет нужды в том, что это показание было вынужденным и вымышленным. А дальше всё шло как по заведенной машине. Арестованный сам потрудится над созданием обвинительного на себя материала. Стоит только над ним «поработать»...

Вот что пришлось мне узнать уже в первый день моего сидения в камере. И это дало несколько иное направление моим мыслям. Моя обреченность стала мне очевидной, но уже совсем по-другому чем перед арестом. «Оставь надежду всяк входящий...!».

4. МОЕ «ДЕЛО». — ОТ ИНСУРГЕНТА К ШПИОНУ.

Из рассказов сокамерников я понял, что мое «дело» принимает более серьезный оборот, чем я предполагал. О таких «приемах следственного воздействия» как ножка от стула, я вообще раньше не думал. О «вербовках», «объективных данных» и о «пьесах» имел только самое смутное понятие. Мало что знал я «на воле» и о судебной процедуре НКВД, которая вполне соответствовала следственной, т. е. о всех этих «особых совещаниях», «тройках», «выездных сессиях военной коллегии» и прочих органах советского правосудия, которые решали дела иногда очень скоро, но редко когда справедливо. Судебное разбирательство было упрощено до крайности. Приговоры чаще всего выносились заглазно, не только без участия «сторон», но даже в отсутствии самого обвиняемого, в каких-то таинственных «особых совещаниях» и «тройках». Но даже если и имело место судебное разбирательство — на выездных сессиях военных коллегий Верховного Суда, то оно сводилось к тому, что обвиняемому ставился только один вопрос: признает ли он себя виновным в тех преступлениях, которые изложены в его обвинительном акте. И затем, независимо от его ответа, выносился приговор, почти всегда обвинительный. В отдельных случаях дело передавалось на доследование, но никогда и никто не выходил из этого суда оправданным: подсудимый еще мог быть освобожден следственными органами НКВД, но никогда не мог быть оправдан по суду, вопреки предварительному следствию. Ведь такое оправдание было бы равносильно покушению на авторитет НКВД, а это в советской системе совершенно невозможно: НКВД непогрешим так же точно, или еще больше, чем правящая партия в лице ее вождя.

Идя первый раз к следователю, я думал о том, какого рода «фабулу» мне придется измышлять, как поставить ее в соответствие с моими «объективными данными», как быть с «вербовщиками». Интересно, что об отрицании за собой вины, вообще о самооправдании я совершенно не думал: каждому советскому человеку вбито уже в голову, что само-

оправдание в таких случаях опять-таки равносильно сомнению в непогрешимости НКВД и может только ухудшить положение. НКВД, мол, знает, что делает, и если он кого-либо арестовал, то на это есть веские политические основания и никому не позволено выступать против этих оснований, хотя бы от этого зависело и собственное существование. Гневного бога можно попытаться умилостивить, но бороться с ним? Практика самокритики также приучала людей не оправдываться...

Мои «объективные данные» подсказали мне обвинение в «идеологическом саботаже» и «контрреволюционной агитации»: к этому можно было «подогнать» мои «методические» ошибки и погрешности, о которых я так много наслушался во время «проработок». Дело, однако, оказалось серьезнее.

Мой первый следователь Шапиро, начальник самого страшного отдела НКВД — Третьего, ведавшего делами о шпионаже, терроре и подобных вещах, — встретил меня обычным вопросом: признаю ли я себя виновным в контрреволюционной деятельности. Я пытался ответить уклончиво, в том смысле, что, если считать, мол, контрреволюционной деятельностью ошибки в изложении и формулировках или отдельные замечания и высказывания в частных беседах, то, конечно, и я должен быть признан контрреволюционером и т. д. в этом же роде. На это последовала непечатная брань моего следователя и после того началось уже следственное воздействие.

Из примеров воздействия ко мне лично были применены только «конвейер» и лишение сна, — об уговаривании и устрашении я уже не говорю. Почти без перерыва подвергался я допросу со дня ареста 18 марта и до 10 мая, т. е. в течение пятидесяти дней; спать мне приходилось два или три часа в сутки и то не лежа, а полусидя, в промежутках между допросами; бывали и такие сутки, когда я не имел возможности заснуть даже и на час. Это довело мою нервную систему до такого состояния крайнего напряжения, что я не знаю, подействовали ли бы на меня потом избиения, так как я начал терять всякую чувствительность, всякое ощущение внешнего мира.

За это время у меня сменилось тридцать следователей и, как я потом узнал из разных камерных встреч, половина из них тоже была в разное время арестована, разделив, таким образом, печальную судьбу своих подследственных.

Это тоже одна из подробностей «ежовщины»: наряду со всеми прочими — «изъятию» и «ликвидации» подвергались

также и сотрудники НКВД и притом в таком количестве, что на некоторых местах или должностях сменялись по три, четыре и больше занимавших их лиц. Даже в должности самого народного комиссара внутренних дел на Украине, например, сменились: Балицкий, Леплевский, Успенский, ликвидированные один за другим.

Каждый следователь начинал мое «дело» снова, с самого начала, даже не интересуясь его предыдущей стадией, хотя обычно каждый последующий был требовательнее предыдущего. «Дело» же мое непрерывно росло, подобно снежному кóму, принимая всё более серьезное значение и оборот.

Мой «идеологический саботаж» и «антисоветская агитация» не прошли. Этого оказалось для меня слишком мало. Меня обвиняли в «участии в подготовке вооруженного восстания против советской власти» и «участии в подготовке террористических актов, направленных против вождей партии, в частности, против Коссиора».

«Объективным основанием» для этих обвинений послужило то, что я в течение двух или трех лет состоял научным сотрудником академических учреждений, возглавлявшихся известным украинским политическим деятелем и историком, М. Грушевским, с которым я и лично был немного знаком. По каким-то, одному НКВД известным, соображениям, нужно было представить всю научно-организационную деятельность Грушевского на Украине в годы советской власти, как средство скрытой политической борьбы, направленной на свержение этой власти. Следовательно, всякий, кто к этой деятельности имел какое-либо отношение, являлся тем самым соучастником политической организации, активно враждебной советской власти.

В этой «пьесе», состряпанной НКВД, и мне лично отводилась какая-то роль, которую мне надлежало сыграть на следствии, а, может быть, и на показательном судебно-политическом процессе, который, возможно, предполагался.

Я, естественно, сопротивлялся, тем более, что от меня, как и от всякого другого в подобных случаях, требовалось показание не только о себе лично, но и о всех «вербовавших» меня и «завербованных» мною. Самому М. Грушевскому я повредить уже не мог, так как он умер за несколько лет до моего ареста, но оставались его дочь, жена, брат, невестка. Оставались и многие такие же, как я, сотрудники его учреждений, бывшие «кандидатами на участие в контрреволюционной организации».

Между прочим, «объективным основанием» для обвинения в «участии в контрреволюционной организации» может служить не только совместная служба или работа, но и простое знакомство, встречи за игрой в карты, за рюмкой водки и т. п.

Сопротивление мое было, наконец, сломлено. Не столько даже «конвейером» с лишением сна и угрозами избиения, — угрозами, сомневаться в осуществлении которых у меня не было ни малейших оснований, — сколько «очной ставкой» с дочерью самого Грушевского и с коллегой по университету — проф. Мирза-Авакьянц.

Е. М. Грушевская на очной ставке со мною заявила, что я действительно был соучастником и ее, и ее покойного отца по контрреволюционной деятельности, направленной к свержению советской власти и, в частности, к подготовке вооруженного восстания. Тут же, во время очной ставки, следователь показал мне и письменное показание покойного М. С. Грушевского, собственноручно им написанное, в котором он признавал все свои академические учреждения не более как внешней формой, за которой скрывалась активно враждебная советской власти политическая организация. Что мне оставалось делать? А тут Мирза-Авакьянц тоже заявила, что названная выше Крупеник, жена наркома Любченко, рассказывала будто бы ей лично, что я давно состою участником подпольной националистической организации, которую возглавляли одновременно Грушевский и Любченко. Я прекрасно понимал, чем были вызваны такие показания, но вместе с тем для меня стало ясным, что дальнейшее мое сопротивление бесполезно, так как следствие располагает уже нужным ему обвинительным материалом, достаточным во всяком случае для моей ликвидации. И я признал себя виновным в участии в подготовке на Украине вооруженного восстания против советской власти. Я начал уже понимать Зиновьева, Бухарина и других вождей оппозиции, фигурировавших на судебных процессах и так легко, казалось, соглашавшихся со всеми возводимыми против них обвинениями. И аналогия со средневековыми процессами ведьм перестала казаться мне шуткой.

Со своими «вербовками» я кое-как справился: среди своих «соучастников» я называл либо умерших — Грушевского, Любченко, Скрыпника, — что облегчалось для меня содержанием самого «дела», либо раньше меня подвергшихся репрессии, считая, что мои показания им уже не повредят, поскольку они уже «свое» получили. В тех же случаях, когда мне приходилось называть лиц живых и оставшихся еще на

свободе — акад. Крымского, Ал. Грушевского, Тимченко, — я приводил о них только те данные, которые были раньше уже опубликованы в прессе или публично оглашались во время чисток и проработок.

Всё шло как по маслу. К концу «конвейера» мне разрешали даже спать по несколько часов в сутки, а одно обстоятельство говорило даже о значительном облегчении всего «дела»: неожиданно следователь сам предложил мне изъять из моего показания пункт о терроре. Я это сделал очень охотно, так как «террор» котировался серьезнее «вооруженного восстания», и я особенно долго и упорно сопротивлялся прежде чем включить и его в свои показания, а согласился на это только в состоянии крайней апатии и депрессии, вызванных длительной бессонницей.

Сначала я предполагал, что террор «сняли» мне только потому, что он не был обоснован «объективными показателями». Однако, потом оказалось, что и у всех других «террористов», которых было немало и которые в своих показаниях о терроре называли имя Коссиора, секретаря ЦК коммунистической партии Украины, «террор» тоже был снят. Из этого обстоятельства в камерах сделали совершенно правильное заключение: «Коссиор сел», т. е. арестован. Это и подтвердилось, когда к нам явились свежие арестованные — единственная наша связь с внешним миром и единственный источник политической информации.

Террор-то мне «сняли», но радость моя была преждевременна, так как взамен его мне «пришили» шпионаж.

Подавляющее большинство арестованных в 1937 и 38 гг. обвинялись именно в шпионаже. Было какое-то наводнение шпионами — германскими, японскими, польскими, румынскими и т. п. И мне казалось даже несколько странным, что в моей обвинительной фабуле фигурировали «вооруженное восстание» и «террор», а не шпионаж. Не было, как я думал, «объективных данных». Но они нашлись, самого полноценного качества и в нужном количестве. Перечислю их по порядку.

Несколько лет подряд я был руководителем византологической комиссии украинской Академии Наук. Так как названия «византология» и «византологический» казались реакционными, их заменили названием «Ближний Восток», а в круг вопросов, составлявших компетенцию комиссии, включили и вопросы по истории Турции, Ирана и других стран Востока. Это обстоятельство «объективно» связало меня с «восточными державами», из которых самой опасной для Советского

Союза была, разумеется, Япония. И хотя последняя не принадлежала к «Ближнему Востоку», но это была уже тонкость, которая могла и не интересовать не особенно разбиравшихся в географии следователей НКВД.

Второе. В порядке, так называемой, общественной работы и шефства научных работников над Красной Армией, я должен был читать доклады и лекции по истории военного дела в древности и в средние века высшим командирам Красной Армии, так как советские власти заботились о поднятии их общеобразовательного уровня. Это «объективно» связало меня с Красной Армией, давало мне возможность «собирать шпионские сведения».

Необходимы были еще пути и средства связи с представителями и агентами соответствующих держав. Нашлись и они. Во-первых, в 1937 г. я был удостоен чести присутствовать на торжественном банкете, который Общество Культурной Связи с Заграницей в Киеве устраивало в честь известного чешского ориенталиста, профессора Гро—ого. Я даже разговаривал пять-шесть минут с этим знатным иностранцем, а этого было вполне достаточно, чтобы он успел «завербовать» меня на службу какой-нибудь иностранной разведки. Кстати, должен сказать здесь, что сам председатель названного общества, некий Величко, был арестован еще до меня, а его преемника Смирнова я тоже встретил потом в одной из камер.

Кроме того, председатель комиссии по шефству научных работников над Красной Армией, на котором лежала организация всей лекторской работы, проф. Майлис, мой хороший приятель, в этом же году ездил читать лекции в частях Красной Армии, расположенных на Дальнем Востоке. Очевидно, также с целью шпионажа и установления связи с японской агентурой. Очевидно, это было так, потому что он был арестован, а НКВД «напрасно никого не арестовывает». Я отчитывался в своей работе перед Майлисом, а он уже передавал полученные сведения куда нужно по назначению. Так он и показал под влиянием соответствующего следственного воздействия.

Облегчил же задачу составления обвинительной фабулы как ему, так и мне упомянутый уже камерный консультант проф. Сухов. Отличаясь живостью воображения и воспользовавшись таким «объективным признаком» в своей собственной биографии, как случайная встреча с японским консулом в Одессе, он составил сложную и занимательную пьесу, в которой роль была отведена и мне, и Майлису, и многим другим, конеч-

но, — в том числе известному украинскому ориенталисту Крымскому и даже президенту украинской Академии Наук Богомольцу.

Между прочим, НКВД занималось и тем, что собирало на всякий, так сказать, случай, заготовляя как бы впрок, «компрометирующий» и обвинительный материал против особо высокопоставленных лиц, чтобы пустить в ход этот материал в надлежащий момент. Делалось это просто: от лиц, подобных Сухову, получали нужные показания против кого угодно и «подшивали эти показания к делу». До поры, до времени это не мешало «скомпрометированным» получать советские ордена и высокие звания, но если наступал момент... Профессор Крымский, например, еще в 1940 году получил орден по случаю своего юбилея, отпразднованного с огромной помпой, а в 1941-ом, в начале войны, оказался арестованным. Всему свой черед!

Итак, я оказывался шпионом в пользу Японии. Шпионские сведения я передавал Майлису, а тот через Сухова направлял их японской агентуре. Это получалось довольно стройно. Оставалось еще придумать, какого же содержания были мои «осведомительные материалы». Что мог я узнать интересного для Японии о Красной Армии за время своих лекций? Я не мог придумать ничего более подходящего, как то, что «высшие командиры Красной Армии, до командира дивизии включительно, не могут отличить Наполеона III от Наполеона I и Цезаря от Александра Македонского». Это сошло под рубрикой: «сведения о морально-политическом состоянии командиров Красной Армии»

Мог ли я сопротивляться? Мог ли отрицать эти обвинения и отрекаться от роли, отведенной мне в пьесе Сухова и одобренной следователем НКВД? Рискуя поломанными ребрами, отбитыми почками и прочее, — мог бы. Но к чему? Ведь два свидетеля — Сухов и Майлис — уже были налицо, а этого было вполне достаточно для обвинительного приговора. Интересы истины? Я не имел силы духа, чтобы служить одной истине и за нее пойти на распятие... В этом мой грех и мое преступление! И все, кто не прошли вместе со мною через чистилище НКВД и не испытали всех приемов его следственного воздействия, могут со спокойной совестью забросать меня камнями...

К. Штеппа

ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К РОМАНУ ГУЛЮ

Эта часть публикуемых писем М. И. Цветаевой относится к 1922-24 г.г. М. И. тогда жила в Праге, я — в Берлине. Письма написаны все от руки, лиловыми чернилами, и большинство из них почему-то — на бланках YMCA с развевающимся американским флагом. В двух письмах многоточием обозначены пропуски. Р. Г.

I

Мокропсы, 12-го нов. декабря 1922 г.

Милый Гуль,

Простите, забыла Ваше отчество, непременно сообщите. Посылаю Вам три стиха: «Река» и два «Заводские», последние *неделимы,* непременно должны идти вместе, для Вашего «Железного Века»[1] они, очевидно, длинны — берите «Реку». Может быть во 2 номере бы вместились? Словом, смотрите сами. Очень бы мне хотелось, чтобы Вы пристроили их теперь же. У меня столько стихов разослано, — и в Польшу, и в Париж, — все просят — а пошлешь — как в прорву: устала переписывать. Гонорар если сумеете выцарапать таковой (а это куда трудней, по моему, чем писать, переписывать, набирать, брошюровать и т. д.!) — передайте, пожалуйста, Глебу Струве: моя страстная мечта — немецкие Bergschuhe, и жена Струве была так мила, что обещала мне их купить, если будут деньги. Посылала на этот предмет и Глебу Струве стихи — для «Романтического Альманаха».

Простите, что так тяжеловесно вступаю в письмо (ибо письмо — путь!), помню, что одна из моих главенствующих страстей — ходьба — и Ваша страсть, поэтому надеюсь не только на Ваше прощение, но и сочувствие (Bergschuh'ам!).

Дружочек, мне совсем не о гонорарах и сапогах хотелось бы Вам писать, мы с Вами *мало* дружили, но *славно* дружили, сапоги и гонорары — только для очистки моей деловой совести, чтобы

ложась нынче в 3-ем или 4-ом часу в кровать (на сенной мешок, покрытый еще из сов. России полосатой рванью!), я бы в 1001 раз не сказала себе: снова продала свою чечевичную похлебку (Bergschuhe!) за первенство (Лирику!).

Еще два слова о стихах. 1) Умоляю, правьте корректуру сами. 2) Будьте внимательны к знакам, особенно к тире — (разъединит.) и — (соедин.). 3) В 1 стихотв. «Заводские» — в строчке «В надышанную сирость чайной» — непременно вместо *сирость* напечатают *сырость*, а это вздор. В 6-ом четверостишии третья строка перерублена:

Скончания.
— Всем песням насыпь.

Так и быть должно. Во втором стихотворении прошу проставить ударение: Труднодышащую, ё в слове ошмёт, Тот с большой буквы. Стихотворение «Река». В первой строчке 5-го четверостишия непременно *горний*, а не *горный*. Потом, один раз: «в гордый час трубы», другой раз: «в голый час трубы», чтоб не перепутали. Наконец, в этом же стихотворении (последняя стр., первое четверостишие) заклинаю: курсивом слова: *той*... и: *тот*. (Оба подчеркнуты. И оба с маленькой буквы.

Предвосхищаю, поскольку могу, все опечатки. У меня *очень* ясно написано, но у меня роковая судьба.

Читала в Руле,[2] что вышла моя «Царь-Девица». Голубчик, не могли ли бы Вы деликатным образом заставить моего из-ля Соломона Гитмановича Каплуна прислать мне авторские экз. Геликон[3] мне давал 25, хорошо бы раньше узнать, сколько обычно дает Каплун («Эпоха»). Получив, тотчас же вышлю Вам, клянусь Богом, что между услугой, о к-ой прошу и обещанием — никакой связи, кроме внешней: подарю Вам также свое «Ремесло», когда выйдет (???), — я помню, как Вы тогда *всем существом* слушали стихи: так же, как я их писала.

О себе в этом письме не хочется писать ничего, напишу Вам отдельно. Скажу только, что кончаю большую вещь (в стихах), к-ую страстно люблю и без к-ой осиротею. Пишу ее три месяца. Стихи писала всего месяц — летом — потом обуздала себя и вот за три месяца ни одного стиха, иначе большая вещь не была бы написана. Не пишу Вам ее названия из чистого (любовного) суеверия. Пока последняя точка не будет поставлена.

Очень беспокоюсь о своем «Ремесле». Геликон молчит как гроб: не прогорел ли? Посылала ему стихи для «Эпопеи» — то же молчание. Вообще у меня в Берлине, с отъездом Л. Е. Чириковой, нет друзей: никого.

Берлинских стихов сейчас печатать не буду: тошно! Это еще не переборотая слабость во мне: отвращение к стихам в связи с лицами (никогда с чувствами, ибо чувства — я!) — их вызвавшими. Так что не сердитесь. Если Вам этот стих (с казармами) мил, пришлю Вам его в следующем письме, только не печатайте.

Прозы у меня сейчас готовой (переписанной) нет, есть записные книги (1917-1920 г.) не *личного,* но и не *обществ.* характера: мысли, наблюдения, разговоры, револ. быт — всякое. Геликон очень их просил у меня для отдельной книги. Напишите подробнее: какая проза? Куда? И верное ли дело? Тогда бы прислала, только не сейчас. — Шлю Вам привет, спасибо, что вспомнили. Пишите о себе: жизни и писаниях.

М. Ц.

---

[1] *«Железный Век» — предполагавшийся к изданию литературный сборник (не осуществился).*

[2] *«Руль» — ежедневная русская газета в Берлине 1920-х г.г.*

[3] *Владелец русского изд-ва «Геликон» в Берлине — А. Г. Вишняк.*

II

Мокропсы, 21-го нов. дек. 1922 г.

Дорогой Гуль,

Вот Вам Царь-Девица с 16-ью опечатками — и письмо к Каплуну. Если найдете возможным — передайте лично («с оказией», не говорите, что прислано на Ваше имя), если нет — отправьте почтой, непременно заказным, чтобы потом не отговаривался. Деньги на марку (ибо знаю, что их у Вас нет, ибо Вы порядочный человек) Вы может быть возьмете из гонорара за «Заводские» (если приняты).

Теперь, следующее: если Каплун наотрез откажется (письмо прочтите!) — нельзя ли будет поместить мой перечень опечаток в ближайшем № «Русской Книги».[1] Можно — чтобы не обижать Каплуна — 1) не упоминать из-ва, просто «Царь-Девица», 2) в крайнем случае — взять вину на себя: «книга шла без моей корректуры».

Уломайте или умолите Ященку!

Можно сделать и по другому, по ященковски: авт-фия под углом опечаток, очень весело, — блистательно! Некий цветник бессмыслиц. (У меня — сокровищница, особенно из времен советских!) и кончить «Царь-Девицей».

Кстати, прочла во вчерашнем Руле отзыв Каменецкого:[2] умилилась, но — не то! Барокко — русская речь — игрушка — талантливо — и ни слова о внутренней сути: судьбах, природах, героях — точно ничего, кроме *звону в ушах* не осталось. — Досадно.

Не ради русской речи же я писала!

Если знакомы с К-цким — ему не передавайте, этот человек *явно* хотел мне добра, будьте другом и не поселите вражды.

Посылаю одновременно и книгу для Пастернака,[3] простите за хлопоты, — видите как трудно со мной дружить!

Жду скорейшего ответа. Вы Ященку знаете, а я нет: вдруг он не только откажется, но еще и будет смеяться надо мной с Каплуном.

Тогда я буду посрамлена.

— Будьте осторожны. —

Милый Гуль, еще не поздно со мной раздружиться: это меня нисколько не обидит, а Вас, может, освободит от многой лишней возни, — пока я в Праге, а Вы в Берлине. (Простите за «я» на первом месте, иначе фраза не звучит!)

Жму руку.

М. Ц.

---

[1] *«Новая Русская Книга» — библиографический журнал, выходивший тогда в Берлине под ред. проф. А. С. Ященко, где я работал как секретарь редакции.*

[2] *Под этим псевдонимом в «Руле» писал Ю. И. Айхенвальд.*

[3] *Для Б. Л. Пастернака — книга М. Цветаевой «Царь-Девица».*

III

Мокропсы, 9-го нов. февраля 1923 г.

Мой милый Гуль!

(Звучит, как о голубе).

Две радости: Ваше письмо и привет от Л. М. Э.[1]

. . . . . .

Только что кончила большую статью (апологию) о книге С. Волконского «Родина». Дала на прочтение в «Русскую Мысль», если Струве не примет — перешлю Вам с *мольбой* пристроить. Книга восхитительная, о ней *должно* быть услышано то, что я сказала. Пока усердно не прошу, п. ч. еще надеюсь на Струве. Статья в 22 стр. большого (журнального) формата, приблиз. 1 1/6 печат. листа в 40 тыс. букв. На урезывание не согласна: писала как стихи.

Готовлю к апрелю книгу прозы (записей). Вроде духовного (местами бытового) дневника. Г-н,[2] читавший в записных книгах, когда-то *рвал* ее у меня из рук. Необходимо подготовить почву, — кто возьмет? Если увидитесь с Г-ном — *оброните* несколько слов, не выдавая тайны. *Мне ему* предлагать — немыслимо. Думаю кончить ее к 2-ым числам апреля. Если бы нашелся верный издатель, приехала бы в начале мая в Берлин. Словом, пустите слух. Книга, думаю, не плохая. — Тогда бы весной увиделись, погуляли, посидели в кафэ, я бы приехала на неделю — 10 дней, Вы бы со мной *слегка* поняньчились.

Совсем ничего не знаю о «Веке Культуры»,[3] купившем у меня книгу стихов «Версты» I (т. е. купили «Огоньки» и перепродали в Данциг). В Берлине ли издатель? Очень, очень прошу сообщить мне его адр.!

Bergschuhe (милый, что помните!) — увы! — пролетели. Деньги тогда залежались, потом цены вздорожали. Куплю, когда приеду. Пока хожу в мужских башмаках, — здесь как на острове!

Привезу весной и свою рукопись «Мóлодец». И стихи есть, — целых четыре месяца не писала.

Ваше отталкивание от Н. А. Б-ва[4] я *вполне* делю. Ему принадлежит замечательное слово: «У Вас самой ничего нет: *неразумно* давать». (Собирала на *умирающего* — мох и вода! — с голоду М. Волошина, в 1921 г. в Крыму). Чувствую, вообще, отвращение ко всякому национализму *вне* войны. — Словесничество. — В ушах навязло. Слóва «богоносец» *не* выношу, скриплю. «Русского Бога» топлю в Днепре, как идола.

Гуль, народность — *тоже* платье, м. б. — рубашка, м. б. — кожа, м. б. седьмая (последняя), но *не* душа.

Это все — лицемеры, нищие, пристроившиеся к Богу, Бог их не знает, он на них плюет. — Voilà! —

В Праге проф. Новгородцев читает 20-ую лекцию о крахе Зап. культуры, и, доказав (!!!) указательный перст: Русь! Русь! — это помешательство. — Что с ними со всеми? Если Русь — переходи границу, иди домой, плетись.

А у нас весна: вербы! Пишу, а потом лезу на гору. Огромный разлив реки: из середины островка деревьев. Грохот ручьев. Русь или нет — люблю и никогда не буду утверждать, что у здешней березы — «дух не тот». (Б. Зайцев, — если не написал, то напишет). Они не Русь любят, а помещичьего «гуся» — и девок.

Я скоро перестану быть поэтом и стану проповедником: против *кривизн*. Не: *не хочу* людей, а *не могу* людей, повторяя чью-то изумительную формулу: je vomis mon prochain.

Очень радуюсь Вашему отзыву,[5] куда меньше — айхенвальдовскому. Я не знала, что К-цкий в Руле — он. Я думала, он зорче. Это любитель письменности, не любовник! Но любопытно прочесть, у меня с ним по поводу Ц. Д-цы был любопытный часок. Когда-нб[6] расскажу.

Кончаю, пишите чаще и больше. Как Ваш брат? Поправляется ли? Выходит ли Ваша книга об эмиграции?[7]

Крепко жму руку. — Спасибо. —

М. Ц.

Получила от Пастернака книгу.[8] Прочла раз и пока перечитывать не буду, иначе напишу, и Вам придется помещать.

---

[1] *Л. М. Э. — Любовь Михайловна Эренбург, художница, жена писателя И. Эренбурга.*

[2] *Г-н — Геликон, издатель, А. Г. Вишняк.*

[3] *«Век Культуры» — русское эмигрантское издательство.*

[4] *Н. А. Б-в — Н. А. Бердяев, религиозный философ.*

[5] *Мой отзыв о книге стихов М. И., напечатанный в «Новой Русской Книге».*

[6] *Так в подлиннике.*

[7] *Повесть «В рассеяньи сущие» («Манфред», Берлин. 1923).*

[8] *Книга Б. Пастернака «Сестра моя жизнь», о которой М. И. написала известную статью «Световой ливень».*

IV

Мокропсы, 4/17 января 1923 г.

Дорогой Гуль,

Так как Вы мне больших писем не пишете, я решила писать Вам маленькие открыточки. — Хороша Прага? — К сожалению, я живу в Мокропсах (о, насмешка! — *Горних!*). Спасибо за письмо, хотя маленькое и на ремингтоне: люблю большие и от руки. — Дошла ли до Вас, наконец, моя Царь-Девица? Были посланы две — вторая Пастернаку. Что он? Все спрашиваю о нем приезжающих, — никто не видел.

Спасибо за устройство стихов. Как встречали Новый Год? Мы дважды — и чудесно.

Ну, жду обещанного письма!

Привет.

М. Ц.

V

Мокропсы, 17-го нов. февр. 1923 г.

Милый Гуль,

Отправляю одновременно письмо к Геликону: получила от него покаянную телеграмму (сравнимо только с объяснениями в любви по телефону!) — и по свойственному мне мужскому великодушию и женской низости — пожалела, т. е. спросила в упор 1) хочет ли он еще эту книгу, 2) сколько — применительно к кронам — заплатит за лист, 3) когда издаст. Предупредила, что есть возможность другого издателя и что не настаиваю ни на чем, кроме быстрого ответа.

А Вам на Ваши вопросы отвечаю следующее:

1) Книга *записей*[1] (быт, мысли, разговоры, сны, рев. Москва — некая душевная хроника), 2) объединена годами (от 1917 г. по конец 1918 г.) и моей сущностью: все, в итоге, приходит к одному знаменателю, 3) от 4 до 5-ти печат. листов (в пресловутых 40 тыс. букв лист), но сама книга выйдет больше, ибо много коротких записей, часто начинаю с красной строки. Вообще необходимо некое *бумажное приволье*.

Цен *не* знаю абсолютно, но хотела бы, чтобы плата за книгу и на чешском языке что-нибудь значила. Т. е.: хорошо бы издатель определил в кронах, независимо от срока заключения договора и тех или иных колебаний герм. марки. — Вам ясно? — Сколько бы он *сегодня* дал в марках, переведенных на кроны?

И за эти *кроны* держаться. (Это не значит, что я прошу чешской расценки, это немыслимо, кроны — некий критерий).

Прожду геликонова ответа дней семь-восемь, — засим уполномочиваю Вас вступать в переговоры. (Извещу срочно).

Книга готова будет — самое раннее — к началу апреля. Раньше *не берусь*. (К первым числам). Но если дело наладится, пришлю несколько тетрадей на просмотр.

Итог: если это удобно, понаведайтесь сейчас (это полезно и для переговоров с Г-ном) — если *не* удобно — ждите моего ответа, точного и срочного.

— Милый Гуль, я Вам очень надоела?

Как я жалею, что Вы сейчас в Б-не! Не здесь! (Я ведь помню Вашу страсть к просторам!) Я сегодня пол-дня была на горе, еще рыжей от осеннего листа (некоторые деревья так и простояли!) Нет чувства, что *была* зима: очень долгое северное лето. А теперь все начинается: начало, которому не предшествовал конец! И буйно начинается: два ветра, ледяной и летний, с ног сбивает!

Гуль, непременно, хоть раз, когда я буду в Берлине, мы с Вами поедем за-город — на целый день!

Я страшно радуюсь своему приезду. (Приеду, очевидно, раньше мая.) Дней на десять.

А пока привет и робкая просьба не сердиться.

М. Ц.

---

[1] *Книга записей — Книга московских записей М. И. Я вел переговоры об издании ее в Берлине в русском изд-ве Манфред.*

VI

Мокропсы, ночь с 5-го на 6-ое нов. марта 1923 г.

Мой милый Гуль,

Спасибо нежное за письмо. «Нов. Русск. Книгу» получила, за отзыв благодарить было бы нескромностью, — *не для меня же,* но не скрою, что радовалась.

Два слова о делах. Геликон ответил, условия великолепные... но: *вне политики.* Ответила в свою очередь. Москва 1917 г. — 1919 г. — что я, в люльке качалась? Мне было 24-26 л., у меня были глаза, уши, руки, ноги: и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила

(и записывала!), этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам, — куда только не носили!

Политики в книге нет: есть *страстная* правда: пристрастная правда холода, голода, гнева, *Года!* У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте — это тоже «политика» (приют большевистский).

Ах, Геликон и Ко! Эстеты! Ручек не желающие замарать! Пишу ему окончательно, прошу: отпустите душу на покаяние! Пишу, что жалею, что не он издаст, но что калечить книги *не могу.*

В книге у меня из «политики»: 1) поездка на реквизиц. пункт *(красный),* — офицеры-евреи, русские красноармейцы, крестьяне, вагон, грабежи, разговоры. 2) Моя служба в «Наркомнаце» (сплошь юмор! Жутковатый). 3) Тысяча мелких сцен: в очередях, на площадях, на рынках (уличное впечатление от расстрела Царя, напр.), рыночные цены, — весь быт револ. Москвы. И еще: встречи с белыми офицерами, впечатления Октябрь. Годовщины (первой и второй), размышления по поводу покушения на Ленина, воспоминания о неком Канегиссере (убийце Урицкого). Это я говорю о «политике». А вне — все: сны, разговоры с Алей, встречи с людьми, собственная душа, — вся я. Это не *политическая книга,* ни секунды. Это — живая душа в мертвой петле — и все-таки живая. Фон мрачен, не я его выдумала.

Если увидитесь с Геликоном — спросите: берет ли — боюсь, опять сто лет протянет с ответом. Если не возьмет — Манфреду. Геликон давали 1 1/2 фунта, — жаль, — но что делать! Если Геликон *не берет,* сговаривайтесь с Манфредом. Старайтесь 3 долл., говорите — меньше не согласна. Книга будет ходкая, *ручаюсь.*

И — *непременно* — 1) корректуру, 2) лист с опечатками, не вкладной, а на последней стр., 3) никаких рисунков на обложке, — чисто. Но об этом еще спишемся.

«Ремесло» пришлю, как только получу от Геликона. (Пока получила только пробный экз.).

О «плоти» в следующем письме. Молчащая плоть, — это хорошо. Но обычно она вопиет. У меня в Ремесле стих есть:

«Где плоть горластая на нас: добей!»

— Прочтете. —

М. Ц.

Мокропсы, 11-го нов. марта 1923 г.

VII

Мой дорогой Гуль!

Мои мысли «в великом расстрое» (так мне однажды сказала цыганка на Смоленском, — прогадала ей последнюю тыщонку!) Уезжает мой поэт — из всех любимый — Пастернак,[1] конечно — и я даже не могу поехать к нему проститься: нет умирающего родственника в Берлине, и к 18-му не выдумаешь. Я в большой грусти (видите, умею, и чаще и пуще, чем думаете! Это я о Вашем отзыве говорю!) — и у меня единственное утешение 1) что это всю мою жизнь так, 2) «Geschpräche mit Goethe» Эккермана. Эту книгу я умоляю Вас купить на прилагаемую «валюту» и передать Пастернаку *до* его отъезда. (Уезжает 18-го, так пишет). Думаю есть много изданий. У меня в Москве было чудесное, Вы сразу узнаете: увесистый том, великолепный шрифт (готический), иллюстрации (Веймар, рисунки Гете и т. д.). Я бы не знаю как просила Вас разыскать именно это, это отнюдь не редкость, издание *не* старинное. Меньше всего я бы хотела Reclam Ausgabe (вроде нашей Универсальной). Думаю, ведь можно в магазинах по телеф. справиться? Книга должна быть *большая,* есть выдержки, это не имеет смысла.

Очень хотелось бы мне еще ему старого Гете, хороший портрет. Есть такие коричневые — не гравюры, но вроде. Но не знаю, хватит ли денег. (Около 15 герм. тысяч, кажется?) Во всяком случае — Эккерман на первом месте. Если бы — совершенно не знаю Ваших цен — денег не хватило, умоляю, доложите из своих. Верну тотчас же.

Еще: ничего не знаю о П. и многое хотела бы знать. (Между нами!) Наша переписка — ins Blaue! я всегда боюсь чужого *быта,* он меня большей частью огорчает. Я бы хотела знать, какая у Пастернака жена («это — быт?!» Дай Бог, чтобы бытие!), что он в Берлине делал, зачем и почему уезжает, с кем дружил и т. д. Что знаете — сообщите.

И — непременно — как передавали книгу, что он сказал, были ли чужие. Самое милое, если бы Вы отвезли ему ее на вокзал, тогда бы я знала проводы. Но 1) просить не смею (хотя для Вас, писателя, такой отъезд любопытен: человек уезжает от «хорошей жизни», стоит задуматься!) 2) может быть у Вас привычка опаздывать на вокзал? Тогда мой Эккерман провалится! — Нужно было бы точно узнать время поезда. Передавая, скажите только, что вот я просила... Можете не говорить *что* (назв.

книги), я всегда боюсь смущения другого, некой неизбежной секунды нелепости в комнате. Вокзал для всех — он просто благоприятней (видите, какая я лисица!)

И, чтобы кончить об этом (во мне-то — только начинается!), милый Гуль, не откладывайте! Отсылаю письмо 12-го (в понедельник), дойдет не раньше 16-го, у Вас всего один день на все. Буду ждать Вашего ответа больше, чем с нетерпением, меньше, чем с исступлением, что-то среднее, но с меня хватит.

Вторая печаль (следствие) — осточертела книга. С 9-го (день, когда узнала об отъезде) бросила, рука не тянется. Страшно огорчена: все время гуляю: просквáживаю на мокропсинских горах голову и сердце! Но пишу стихи — опять засоряются. Мутит меня и Геликон (наглец!) не отвечает, берет или нет. Но все-таки, конечно, переборю и примусь. Книга любопытная, очень ясны две стихии: быт (т. е. Революция) и бытие (я). Не сочтите за наглость — бытие, это то, как должно быть, нужно же хоть один угол в мире — неискаженный!

А Ваш Манфред — как? Не боится «белогвардейщиков»? Черной сотни в книге нет, но есть белое бешенство. В России (если большевики не окончательно объóвчели (овца) — навряд ли пропустят. А куда-нб в Болгарию отдавать — они всю Психею (меня то есть) выбросят. — Затрудняюсь. —

Ну, Гуль мой дорогой, до свидания. Читали ли Вы «Родину» Волконского? У меня о ней большая статья где-то гуляет, м. б. Глеб Струве возьмет в «Р. М.» Если увидите «Родину» — прочтите, это *чудесная* книга, такой нет второй.

Геликон, наглец, «Ремесло» не шлет, свой единственный экз. я отослала Пастернаку в дорогу. Как только получу — первая книга Вам. В следующем письме напишу Вам об одном своем невеселом и невольном жульничестве, — сама удивлена.

Ради Бога, подробно и поскорей — о книге и об отъезде.

Ваша неустанная просительница

М. Ц.

---

[1] *Б. Л. Пастернак приезжал на некоторое время в Германию и в эти дни возвращался из Берлина в Москву.*

VIII

Мокропсы, 28-го нов. марта 1923 г.

Дорогой Гуль,

Это письмо Вы получите через Катерину Исааковну Еленеву, мою приятельницу и сподвижницу по Мокропсам.

Очень рада была бы, если бы вы друг другу понравились. Это возможно, ибо мне вы нравитесь оба.

Посылаю Вам «Ремесло». И нежную благодарность за Экермана. Ваше письмо прочла поздно вечером на станции, под фонарем. Душа закипела от Вашей любви к быту: моя извечная ненависть! За прочность в мире тоже не стою. Где прочно — там и рвется. (Это я, впрочем, из злобы!)

О книге: сейчас не пишу, думаю — бросила на все лето. Сейчас погибаю от стихов: рук не хватает!

Пишу в грозу, — первую, почти в темноте: от молнии до молнии!

Книгу (возвращаюсь к делам) закончу к осени. Если раньше — пришлю.

— Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности — людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними бы я умела.

Если что и люблю здесь — то отражения (если принимать их за сущность, получается: искажения). Это я Вам пишу, чтобы Вы со мной раздружились, потому что я люблю, чтобы меня любили из-за меня самой, — не терплю заместителей! (Себя — в толковании другого!)

Спешу. Кончаю. Убеждена, что не раздружитесь. Не сердитесь за волокиту с книгой, — здесь виновны стихии (Весна и стихи!)

М. Ц.

IX

Прага, 27-го нов. мая 1923 г.

Милый Гуль,

Вы не ответили мне на мою записочку и на «Ремесло», но я кажется не ответила Вам на последнее письмо, так что мы квиты. Теперь слушайте внимательно.

Я снова принялась за книгу и скоро ее кончу. Теперь целый ряд вопросов, требующих самых точных ответов.

1) Жив ли еще Манфред?

2) Не подался ли сильно влево?

3) Возьмет ли он книгу в 450 (большого, журнального формата) страниц? *Не* разъединяя ее на два тома. (Есть свои причины).

4) Сколько это будет печатных листов и, посему, долларов?

5) Может ли он мне обещать (на бумаге!) корректуру не только типографскую, но и ремингтонную? (Рукопись у меня *с обеих сторон листа,* и переписка на ремингтоне необходима).

6) Могу ли я, по отпечатании издательством на ремингтоне получить обратно свою рукопись, по которой и буду проверять, ибо многое у меня — из черновых тетрадей, может статься, что и не замечу пропуска?

7) Во скольких экз. он собирается выпускать? Я продала на одно издание, *не на* столько-то лет.

Вот, Гуль, вопросы. Ответы на них необходимы, иначе нет пороху доканчивать работу.

Книга моя будет называться «Земные Приметы», и это (весна 1917 г. — осень 1919 г.) будет I т. За ним последует II т. — Детские Записи — который может быть готов также к осени. Теперь слушайте еще внимательнее, это *важно.*

«Земные Приметы» I т. (1917-1919 г.) то, что я сейчас переписываю — это *мои записи,* «Земные Приметы» II т. (1917-1919 г.) — это *Алины записи,* вначале записанные мной, потом уже от ее руки: вроде дневника. Такой книги еще нет *в мире.* Это ее письма ко мне, описание советского быта (улицы, рынка, детского сада, очередей, деревни и т. д. и т. д.), сны, отзывы о книгах, о людях — точная и полная жизнь души шестилетнего ребенка. Можно было бы воспроизвести факсимиле почерка. (Все ее тетрадки — налицо).

Возьмет ли такую книгу Манфред? Пойдет она под моим именем: «Земные Приметы». Т. II (Детские записи).

Эта книга будет меньше той, стр. 250, думаю. Хотела сначала поместить в одном томе, но 450 моих + 250 Алиных — это уже идет в безмерное и не умещается не только в сердце, но и в руках.

Расскажите все это Манфреду, но расскажите *как следует,* чтобы он ясно понял, в чем дело. Меня эта неопределенность

мучит: работа (переписка) трудная и нудная, у меня плохое зрение, кроме того хочется писать стихи, и если все это так, в пустую — руки опускаются!

Книга, Гуль, *не* черносотенная, она глубоко правдива и весьма противоречива: отвергнутая в Госиздате она так же была бы отвергнута в из-ве Дьяконовой.[1] (Черносотенном?) Это книга живой жизни и правды, т. е. политически (т. е. под углом лжи!) заведомо проваливается. В ней есть очаровательные к-сты и безупречные б-дейцы, первые увидят *только* последних, а последние — *только* первых. Но Манфред не прогорит, это ему скажите. На эту книгу набросятся из дурного любопытства: как читают чужие письма. «Тираж» обеспечен и ругань критики тоже. И то и другое издательствам не во вред.

Итак, милый Гуль, ответьте мне по всем моим пунктам. Не пишите: приедете — увидите. Это мне не годится. *Так* ни за что не поеду, мне в Берлине нечего делать, а в Праге — весьма много. Передо мной лето, т. е. отсутствие плиты, т. е. *свобода,* надо употребить его во благо.

Рукопись (I т. «Земных Примет») для переписки на ремингтоне могла бы представить через 2 недели, максимум — три. Ведь переписать 450 стр. на ремингтоне (это, каж., называется *не* ремингтон? машинка?) — тоже не день, особенно с моими знаками, красными строками и пропусками.

Да, еще: обложка — *без* картинки! Только буквы. Настаиваю. Земные приметы мои все внутри, внешних не надо.

Переписываюсь с Л. М. Э., которую люблю нежно. Слышала о новой книге Э.,[2] еще не читала. Единственное, что читаю сейчас — Библию. Какая тяжесть — Ветхий Завет! И какое освобождение — Новый!

Месяц писала стихи и была счастлива, но вид недоконченной рукописи приводит в уныние. Пришлось оторваться. К осени у меня будет книга стихов, в нее войдут и те, что я Вам читала в Берлине. Как Геликон? Не уехал ли в Россию? Не слыхали ли чего о Пастернаке? Кто из поэтов (настоящих) в Берлине? Читали ли «Тяжелую Лиру» Ходасевича и соответствует ли ей (если знаете) статья в «Совр. Записках» Белого? — Что Вы сами делаете? Вышла ли Ваша книга? — Вот видите, сколько вопросов!

(Да! Нтб. 450 стр. Страницу я считаю приблизит. 32-34 строчки, при чем в каждой, в среднем, я думаю, 42 буквы. — Много коротких строк).

Пишите обо всем. Шлю привет.

М. Ц.

---

[1] *Вероятно М. И. имела в виду берлинское русское изд-во Ольги Дьяковой, издававшее правую литературу.*

[2] *Э. — Эренбурга, о какой книге речь — не припоминаю.*

X

Прага, 6-го апр. 1924 г.

Дорогой Гуль,

Вот письмо Пастернаку.[1] Просьба о передаче лично, в руки, без свидетелей (женских), проще — без жены.

Иначе у П. жизнь будет испорчена на месяц, — зачем?

Если тот, кто поедет — настоящий человек, он поймет и без особого нажима. Некоторые вещи неприятно произносить.

Письмо — без единой строчки политики, — точно с того света.

На Ваше большое милое письмо, только что полученное, отвечу на-днях.

М. Ц.

Адр. Пастернака:
Москва, Волхонка, 14, кв. 9.

Тот знакомый (к-ый поедет) м. б. просто назначит ему где-нб. свидание?

---

[1] *М. И. присылала мне в Берлин из Праги ее письма к Б. Пастернаку, прося переправить их ему в Москву, посылая по адресу одного моего знакомого писателя. Три-четыре письма я так отправил, пока М. И. не получила от Пастернака «верный московский адрес» (как она пишет). Об этих письмах в своем недавно вышедшем «Автобиографическом очерке» Б. Пастернак пишет: «У меня хранилось около ста писем от нее в ответ на мои... Их погубила излишняя тщательность хранения. В годы войны... одна сотрудница музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой*

друг, предложила мне взять на хранение эти письма... С письмами Цветаевой она не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа. Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой».

XI

Прага, 10 апр. 1924 г.

Дорогой Гуль, Вы очень добры, спасибо. Письмо отсылайте почтой своему знакомому, если можно — заказным. Знакомому напишите, что нужно. Был у нас здесь Степун, — замечательное выступление. Хочет сделать меня критиком, я артачусь, ибо не критик, а апологист. Деньги за письмо [заказное] перешлю 15-го, тогда же напишу и стихи пришлю. Еще раз спасибо за доброту, Вы хороший друг.

М. Ц.

Хороша — набережная?[1]

---

[1] *Это письмо — открытка с видом пражской набережной.*

XII

Главищи, близъ Праги, 29-го июня 1924 г.

Мой дорогой Гуль,

Я опять к Вам с письмом Пастернаку. В последний раз, ибо в нем же прошу дать мне какой-нибудь верный московский адрес. Милый Гуль, мне очень стыдно вновь утруждать Вас, но у меня никого нет в Москве, ни души, — ду́ши, но без адресов, как им и полагается.

С той же почтой высылаю Вам 20 крон на почтовые расходы, простите, что не сделала этого раньше.

Письмо, очень прошу, пошлите заказным.

Дошел ли до Вас мой «Феникс»? Посылала. (В двойном № «Воли России»).

Вышел сборник «Записки Наблюдателя» (витиеватое название, а? Не старинное, а старомодное) с моей статьей «Кедр» — о Волконском. О ней уже писал Айхенвальд в Руле (говорили), — кажется, посрамлял меня. А теперь — профессиональную тайну забавную:

«Апология» — полнотой звука — я восприняла, как: хвала. Оказывается (и Айхенв. — внешне — прав) я написала не апологию (речь в защиту), а: панегирик!!!

Панегирик — дурацкое слово, вроде пономаря, или дробного церковного «динь-динь», что-то жидкое, бессмысленное и веселенькое. По смыслу: восхваление.

Внешне — Айхенв. прав, а чуть поглубже копнешь — права я. Речь в защиту уединенного. (Кедр, как символ уединения, редкостности, отдельности). И я все-таки написала апологию!

К сожалению, у меня только один экз. на руках, да и тот посылаю Волконскому. Купить — 35 кр., целое состояние. Думаю, Крачковский (горе-писатель и издатель, воплощение Mania Grandiosa) уже послал в «Накануне» для отзыва.

Есть там его повесть «Желтые, синие, красные ночи», — белиберда, слабое подражание Белому, *имени* к-го он так боится, что самовольно вычеркнул его из «Кедра». (Там было несколько слов о неподведомственности ритмики Волконского — ритмике Белого, о природности его, В-ского, ритмики. Кончалось так: «Ритмика В. мне дорога, п. ч. она природна: в ней, если кто-нибудь и побывал, то не Белый, а — Бог». Крачковский уже в последнюю минуту, после 2-ой корректуры, «исправляет»: ...«то, вероятно, только один Бог». Хотела было поднять бурю, равнодушие читателя остановило. Чорт с ним и с издателем!)

Живу далеко от станции, в поле, напоминает Россию. У нас, наконец, жаркое синее лето, весь воздух гудит от пчел. Где Вы и что Вы?

Пишите о своих писаниях, планах, возможностях и невозможностях.

Думаю о Вас всегда с нежностью.

М. Ц.

XIII

Прага, 11-го августа 1924 г.

Милый Гуль,

Месяца два назад я направила Вам письмо для Пастернака (заказным) и 20 крон на марки, — получили ли? А еще раньше — лично Вам — № «Воли России» с «Фениксом». Но Вы упорно молчите, — больны, недосуг или рассердились? А может быть — переехали? Но тогда бы Вам переслали. (Как странно: все строки с заглавных букв!)[1] Адрес мой на обороте был, и обратно ничего не пришло.

Я очень озабочена, — особенно письмом к Пастернаку, письмо было не житейское, важное. Известите меня хоть открыткой о судьбе его.

Держу в настоящее время корректуру своего «Мóлодца» (пражское из-во «Пламя») — по выходе (недели через три) пришлю. Но раньше хочу знать, где Вы и что Вы. Молчание ведь — стена, люблю их только развалинами.

О себе: живу мирно и смирно, в *Дольних* Мокропсах (оцените название!) возле Праги. У нас здесь паром и солнечные часы. На наших воротах дата 1837 г.

Пишу большую вещь, — те мои поэмы кончены. Есть и новые стихи. Печатаюсь. Хотела бы издать свою новую книгу стихов (за два года заграницей) в России.

Политического стиха ни одного.

Что Геликон? (Из-во). Что другие берлинские? Прозу, кажется, пристроила. (Книги, даже самые мужественные — сплошь дочери. Издатели — женихи. И всегда неравные браки!).

Читали ли «Быт и Бытие» Волконского, посвященную мне? Хорошая книга. Он сейчас пишет роман.

Как Вáши писания?

Словом, Гуль, отзовитесь. Мы с Вами, по нынешнему времени — старые знакомые.

Шлю привет.

М. Ц.

---

[1] *В письме М. И. вышло случайно так, что первые пять строк письма все начинались с заглавных букв.*

XIV

Прага, 11 апреля 1924 г.

Дорогой Гуль,

. . . . . .

Вы спрашивали о сыне Блока. Есть. Родился в июне 1921 г., за два месяца до смерти Блока. Видела его годовалым ребенком: прекрасным, суровым, с блоковскими тяжелыми глазами (тяжесть — в верхнем веке), с его изогнутым ртом. Похож — более нельзя. Читала письмо Блока к его матери, такое слово помню: — «Если это будет сын, пожелаю ему только одного — смелости». Видела подарки Блока этому мальчику: перламутровый фамильный крест, увитый розами (не отсюда ли «Роза и Крест»), макет Арлекина из «Балаганчика», — подношение какой-то поклонницы. (Пьеро остался у жены). Видела любовь матери[1] к Блоку. Узнав о его смерти, она, кормя сына, вся зажалась внутренно, не дала воли слезам. А десять дней спустя ходила в марлевой маске — ужасающая нервная экзема «от задержанного аффекта».

Мальчик растет красивый и счастливый, в X[2] он нашел самого любящего отца. А тот папа так и остался там — «на портрете».

Будут говорить «не блоковский» — не верьте: это негодяи говорят.

Прочтите, Гуль, в новом «Окне» мои стихи «Деревня» и «Листья» (из новой книги «Умыслы») и в «Современных Записках» — «Комедьянт» (из «Верст» II). Были у меня и в «Студенческих годах» (пражских) в предпоследнем номере — «Песенки» (тоже «Версты» II).

К сожалению, милые редакции книг не присылают, знаю по съеденному гонорару и по наслышке.

Была у меня и проза — в «Воле России» (рождественский №), по-моему, неудачно. (Неуместно — верней). В мае пойдет пьеса «Феникс». — Есть ли у Вас, в Берлине, такая библиотека? (Новых период. изданий). Я бы очень хотела, чтобы Вы всё это прочли, но прислать не могу, — у самой нет.

Какая чудная и скудная весна! Середина апреля, пишу у (традиционно!) открытого окна, зажавшись в зимний стариковский халат — индейский, Гуль: синий с рыже-огненными разводами. Не хватает только трубки и костра.

Вчера что-то слышала о надвигающемся новом ледниковом периоде — профессора говорили всерьез. Но не очень-то скоро — через несколько десятков тысяч лет! Оттого, будто, и весна холодная.

Как с письмом П-ку? Вчера отослала Вам открытку с просьбой переслать Вашему знакомому заказным. Деньги за заказ вышлю 15-го, сейчас живу в кредит. А вот жест — украденный.[3] Только масть другая.

Вкрадчивостью волос:
Вгладь и в лоск
Оторопью продольной —
Синь полуночную, масть
Воронову. В гладь и всласть
Оторопи вдоль — ладонью.
Ой, смотри, не обманись!
Так заглаживают мысль
Злостную: разрыв — разлуку —
Лестницы последней скрип...
Так заглаживают шип
Розовый... — Поранишь руку!
Ведомо мне в жизни рук
Многое. — Из светлых дуг
Присталью неотторжимой
Весь противушерстый твой
Строй выслеживаю: смоль
Стонущую под нажимом.
Жалко мне твоей упор-
ствующей ладони: в лоск
Волосы! Вот-вот уж через
Край — глаза! Загнана внутрь
Мысль навязчивая: утр
Навождение — под череп!

М. Ц.

Берлин, 17 июля 1922 г.

Пол-зимы болела и сейчас еще не в колее. Климат ужасный, второй год Праги дает себя чувствовать. Господи, как хочется жары! — А что Вы делаете летом?

М. Ц.

---

[1] *Я опускаю инициалы и фамилию.*

[2] *Опускаю инициалы и фамилию.*

[3] *Об этом «украденном жесте» в другом письме М. И. пишет: «Помню один хороший вечер с Вами — в кафэ, Вы всё гладили себя против шерсти, и я потом украла у Вас этот жест — в стихи». Стихотворение вошло в сборник «После России», Париж. 1928*

ПАМЯТИ ГОГОЛЯ

(к 150-летию со дня его рождения)

Литература о Гоголе, о его жизни и творчестве очень велика, но до сих пор мы не имеем цельного образа личности Гоголя, не имеем и удовлетворительного анализа его творчества, — не только художественного, но и творчества идейного. Последняя по времени книга Мочульского о Гоголе, при всех ее достоинствах, страдает несомненной односторонностью, немного дает и недавняя немецкая книга Сечкарева. Одна из наиболее существенных причин этого лежит, по нашему мнению, в том, что до сих пор не изучена с достаточной серьезностью идейная жизнь Гоголя, не изучены его идейные искания. Обычно эта сторона в творчестве Гоголя отодвигается на задний план или изучается слишком бегло и поверхностно, — в то время как в диалектике внутренней жизни Гоголя основное значение имели как раз его идейные искания и построения. Художественное творчество Гоголя, при всей его внутренней свободе, как художника, находилось в несомненной, хотя часто и скрытой, зависимости от его идейных построений. Но, при изучении этих идейных исканий Гоголя, особенно важно всячески избегать односторонности, плохой пример чего дают блестящие книги Мережковского о Гоголе («Гоголь и черт», две больших статьи о Гоголе). Нельзя, выхватывая ту или иную сторону в идейной жизни Гоголя, ставить все ударения на ней; надо всегда иметь в виду, что у Гоголя в его художественном творчестве и в его идейной жизни всё гораздо сложнее, чем это обычно кажется. Вместе с тем надо очень считаться с тем, что если Гоголь в ранние годы жадно впитывал в себя идеи и даже образы из современной (русской, а также немецкой) литературы, то он всё же очень скоро вышел на путь самостоятельного творчества. Эта независимость Гоголя от среды, от эпохи, не исключала, конечно, действия тех духовных установок, которые сложи-

---

Настоящий этюд является вводной главой к подготовляемой мною книге о Гоголе. *Автор.*

лись у него в до-петербургский период, но ключ к разным зигзагам в жизни и творчестве Гоголя лежит в том, что рождалось в нем самом из глубины души его. Бесчисленные же монографии о Гоголе, к сожалению, всё свое внимание сосредоточивают на изучении возможных внешних воздействий на него, — но это просто locus minoris resistentiae для исследователей. Тут, конечно, можно без особенного труда добиться ценных «результатов», — кстати эти «результаты» притом совсем и не мнимые. Достаточно, например, взять книгу Котляревского о Гоголе или небольшое исследование Gorlin'a «Gogol und Hoffman», чтобы признать такие исследования ценными и полезными. Но все такие исследования застревают во внешней стороне творчества Гоголя, как бы и не подозревая, что за внешней оболочкой есть иные «слои», которые собственно и нужно было бы исследовать. Что проникать в эти скрытые стороны в творчестве Гоголя возможно, это убедительно показал Д. И. Чижевский в своем замечательном этюде о «Шинели»; Чижевский справедливо указывает на то, что сюжет «Шинели», основная тема этого рассказа совсем не заключается в истории о забитом и ничтожном чиновнике. В том-то и дело, что у Гоголя (начиная даже с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и тем более в дальнейших произведениях вплоть до «Мертвых Душ») за внешним сюжетом постоянно проступают иные темы, в которых скрыта художественная острота и сила данного произведения. Если бы удалось вслед за Чижевским проделать ту же работу по всем произведениям Гоголя, нам бы приоткрылся внутренний мир его, его сокровенные интуиции. Так, напр., в тихой идиллии о «Старосветских помещиках» на первом плане (если разобраться глубже в содержании рассказа) стоит *тема смерти*, в «Невском проспекте» мы найдем продолжение и развитие сюжета, начатого в «Ганце Кюхельгартене» и т. д. Но, чтобы убедительно показать это, нужны детальные исследования, подобные этюду Чижевского о «Шинели», — а этих исследований, увы, нет. Гоголь действительно оказывается всё еще «неизвестным», не до конца понятым.

В итоге пристального изучения и художественных произведений и идейных исканий Гоголя выступает с полной ясностью упорная и замечательная *самостоятельность* Гоголя. Потому так и трудно изучать Гоголя, что он, по французской поговорке, всегда «пьет из *своего* стакана». Этого не учитывали современники Гоголя, этого не учитывали почти все исследователи его, — и то взаимное трагическое непонимание,

которое наметилось в последние годы жизни Гоголя между ним и русским обществом, во многом продолжается и ныне. Гоголя постоянно *стилизуют* исследователи, равно как и читатели — вместо того, чтобы овладеть всем содержанием его творчества. Впрочем тут было немало вины и со стороны самого Гоголя, который часто прикрывал основной свой замысел, основные нити рассказа, совсем иной «словесной плотью», как бы намеренно пользуясь ею, как «завесой». Иногда Гоголь и сам не замечал наличности разных слоев в его творчестве, их существенной разнородности, — и этим совсем запутывал и читателей, и исследователей.

Как странно, напр., читать в письмах «по поводу Мертвых Душ» (в «Избранных местах из переписки с друзьями») приглашение Гоголя сообщать ему разные факты действительной жизни, чтобы этим показать ошибочность или неправду нарисованных в «М. Д.» картин! В наивном обращении к русским людям по этому поводу[1] Гоголь как будто ожидал, что эти отдельные факты могут ослабить значение того, что дают различные сцены в «М. Д.», — словно такое сопоставление может что-либо дать. Позже Гоголь признавал, что в «М. Д.» отразилось его собственное «переходное» состояние, — но разве в его образах, в его повествовании не действовала чисто художественная диалектика? Творчество Гоголя всегда было внутренно свободным, т. е. было верным его художественным интуициям и подчинялось лишь имманентной диалектике художественного творчества. При чем же тут «переходное» состояние автора? Ни о каком «давлении» тех или иных идей или размышлений автора на творчество не приходится говорить; *значит дело идет о чем-то другом*. «Переходное состояние» Гоголя только потому им сознавалось как бы имевшим влияние на творческий процесс, что само творчество его было более сложным, чем это казалось ему. С особенной ясностью это выступает при изучении того, что называется «реализмом» Гоголя и что на самом деле раздвигает и усложняет самое понятие реализма Гоголя.

Очень характерна в этом отношении часто встречающаяся у Гоголя *дидактическая тенденция*, стремление его на-

---

[1] «Служащий чиновник мог бы мне ясно доказать неправдоподобность изображенного мною события приведением двух-трех действительно случившихся дел и тем бы *опроверг* (!) бы меня лучше всяких слов... Мог бы то же сделать и купец, и помещик...».

править внимание читателя на те или иные моменты в рассказе, которые без нарочитого вмешательства автора были бы совсем иначе восприняты читателем. Эта дидактическая тенденция, как будто извне привнесенная автором, совсем не означает сосуществования *двух* разнородных императивов в творчестве, а наоборот, показывает сложность творческого процесса, многослойность в том, что он преподносит читателю. В качестве примера этого приведем ту знаменитую страницу в «Шинели», где в словах Акакия Акакиевича «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете» одному (недавно определившемуся) чиновнику послышались другие слова: «я брат твой». Эти слова кажутся так мало связанными с общей характеристикой Акакия Акакиевича, что невольно рождается мысль, что они родились не от чисто художественного процесса, а были привнесены в силу каких-то внехудожественных мотивов — быть может от моралистических соображений автора. Действительно, самый портрет Акакия Акакиевича нарисован так остро и едко, можно сказать беспощадно, почти зло, что сразу трудно понять, зачем здесь вставлена фраза о том, что он «брат» наш. Жалкое, забитое существо во всем рассказе выступает с какой-то беспросветной тупостью (даже когда он «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, то *ел всё это с мухами*»), — и во всём описании как будто нет и тени того «братского» отношения, которое выдвинуто самим же автором. Его слова о том, что Акакий Акакиевич наш «брат», звучат отвлеченно, точно взяты из какой-то прописи, и так мало вяжутся с тем, что говорит автор о Башмачкине. Не он ли подобрал — явно нарочито — все черты не только забитости Акакия Акакиевича, но и ничтожества его? Не автор ли подчеркнул, что Акакий Акакиевич знал только одну радость — переписывать бумаги, причем, «когда он добирался до буквы, которая была его фаворитом, то он был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами». «Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается на улице... если на что он и глядел, то видел во всём свои чистые, ровным почерком выписанные строки»... Всё это сказано с такой беспощадностью, что кажется нечего и жалеть Акакия Акакиевича... Да, но в описании того, как переживал Акакий Акакиевич шитье своей шинели, всё отношение его к шинели, по удачному выражению Чижевского, «изображено языком эроса». Когда Акакий Акакиевич стал копить деньги, чтобы оплатить шитье новой шинели, то он «приучился голодать по ве-

черам и зато питался *духовно,* нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С тех пор как будто самое существование его стало полнее, как будто он женился, как будто он был не один, а какая-то подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель...». И так же верно замечание Чижевского, что «гибнет Акакий Акакиевич собственно говоря от любви» в силу страстного увлечения всё той же шинелью, которая и сбила Акакия Акакиевича с толку.

Всё это показывает, что изображение смешных сторон в жалком и несчастном чиновнике в какой-то глубине художественной интуиции действительно связано с ощущением нашего с ним братства. Братства нет при остановке на одной внешней картине, где беспросветная тупость Башмачкина мешает чувствовать в нем ту же подлинную человеческую суть, какая есть в нас, но «воспламенение души» Акакия Акакиевича по поводу шинели уже приближает его к нам вплотную. Драма, пережитая несчастным Башмачкиным, разбивает всю начавшуюся для него новую жизнь, — и к этому уже совсем подходят финальные строки повести: «исчезло и скрылось существо, ничем не защищенное и никому не дорогое, никому не интересное... для которого всё же таки, хоть перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь...».

Из этого ясно, что «дидактическая тенденция», призыв видеть в жалком чиновнике брата, вовсе не стояла вне связи с самим образом Акакия Акакиевича. При внешнем подходе к рассказу контрастом между беспощадной характеристикой его и призывом видеть в нём брата оправдывается мысль о том, что дидактическая тенденция проистекала совсем из другого источника, чем чисто художественная интуиция, — но всё это рассеивается, когда мы углубимся в рассказ. За внешним реализмом в рассказе стоит анализ душевных движений, который широко раздвигает то, что принято считать реализмом Гоголя.

Здесь мы переходим к проблеме творчества Гоголя в том его аспекте, который обычно ускользает от внимания и читателей, и исследователей. Как ни ярка вся реалистическая картина, которую рисует Гоголь, но это *только внешняя оболочка, за которой встает сложная тема о человеческой душе.* Реалистический рисунок, при пристальном внимании к нему, оказывается очень сложным, таящим в себе иную тему, — и здесь прежде всего надо указать на то, что Гоголь умел как

никто вскрывать *пошлость* в своих героях. Эта тема пошлости, как мы увидим при изучении художественного творчества Гоголя, связана с *эстетическими запросами* Гоголя, с его размышлениями и исканиями в сфере эстетики. Но не только это одно показывает всю сложность «реализма» у Гоголя, не менее важно здесь и то, что я называю «художественным платонизмом» у Гоголя. Здесь уместно сказать, что художественные созерцания Гоголя теснейшим образом связаны в своей глубине с его идейными исканиями и по существу *неотделимы* от них. Реализм Гоголя — исключительно яркий; он сам по себе уже достаточно богатый, чтобы овладеть вниманием читателя — и Гоголь с большим мастерством и блеском создает впечатление именно реализма, близости рисунка к жизни. Но для самого Гоголя и для чуткого читателя за внешним реализмом встают иные стороны в творчестве Гоголя, которые и создают неотразимое впечатление, овладевая вниманием читателя. Лишь сейчас становится ясным, что в творчестве Гоголя его художественная интуиция и его идейные построения интимно сплетаются в одно целое. Если всё же надломилась и оборвалась в нем цельность его вдохновений, то ключ к этому лежит в зигзагах его жизни, а не в самом методе и путях его творчества.

Чтобы хотя бы бегло и предварительно понять это, проследим кратко разные этапы его жизни.

Хотя духовное созревание Гоголя относится к царствованию Николая I (Гоголю было 16 лет, когда Николай I вступил на престол), но верно было сказано о Гоголе, что он был «эпигоном Александровской эпохи». Добавим к этому, что Гоголь всю жизнь оставался глубоким провинциалом, — ни жизнь в Петербурге и Москве, ни долгое пребывание заграницей не могли ослабить всего того, что дала Гоголю провинциальная среда, в которой он рос. Тот неопределенный, расплывчатый интерес к мировой жизни, та неясная, часто сентиментальная широта, которая характерна для Александровской эпохи, то доверие к власти, благодушное восприятие всей русской жизни, которые типичны для того времени, — всё это, в соединении с провинциализмом Гоголя, определило исходные линии его жизни. Высшей задачей жизни Гоголь считал, с юных лет, «служение» государству, — но никогда политическая нотка, столь многое определив-

шая в путях почти всех его современников — Герцена, Огарева и других молодых людей, не звучала в Гоголе: идейные искания Герцена и его друзей, вся политическая напряженность, типичная для эпохи Николая I, прошли мимо Гоголя, ничем его не задев.

Совсем другие особенности 20-х и 30-х годов влияли на Гоголя, — сюда надо отнести сентиментальный универсализм (часто почти внеконфессионализм), религиозные фантазии и мистические грезы, всё то, что широкой волной вливалось в русскую жизнь из Германии, от ее романтизма. Общая идея *реформы* жизни, в свое время провозглашенная самим Александром I, получившая новый смысл после победы над Наполеоном, жила в сердцах всех. Сюда надо присоединить и литературный расцвет 10-х и 20-х годов XIX века, победу над омертвевшим псевдоклассицизмом, свежее дыхание Пушкинской поэзии... Многие идеи немецких романтиков (вплоть до фихтеанского индивидуализма) словно застряли у Гоголя в его юношеский период. Не один Гоголь хотел тогда объять необъятное, не один он жил мечтой о том, чтобы повернуть колесо истории в сторону «добронравия» и более высокого стиля жизни. Немецкая фантастика (особенно Гофманская) сросталась с этими мечтами о преобразовании жизни в одно целое. Печать морализма, особенно в его оформлении в системе эстетического гуманизма, еще не принявшего тогда (как позже, напр., у Герцена) трагического смысла, общая вера в возможность морального преображения жизни, по-своему формулировавшая веру в прогресс (что стало характерным для русской и западной культуры несколько позже), — всё это слагалось в некую общую философию жизни, освобождало от обывательского погружения в личные заботы, в личную жизнь.

Для духовного созревания Гоголя всё это было тем более характерно, что среда, в которой он рос, была чисто провинциальная — не лишенная однако духовной жизни (литературной, религиозной). Гоголь вырос в тихой деревне, в очень нежной семейной обстановке, — и он любил этот тип жизни, который навсегда остался в составе его души. Но провинциальная жизнь не заполняла целиком души Гоголя, а наоборот пробуждала в нем потребность выйти на простор общероссийского и даже общечеловеческого действования. То, что в состав родни Гоголя входил Д. П. Трощинский, бывший одно время министром, как бы напоминало мальчику о каких-то огромных просторах жизни и насаждало и укрепляло уже в

отроческом сознании Гоголя мысль, что жизнь должна быть посвящена «служению» большим и основным задачам, какие ставит жизнь. Так слагалась и оформлялась в душе Гоголя своеобразная *романтика государственности*, — и отсюда его ранние мечты о том, чтобы попасть в Петербург, где Гоголь и хотел отдаться «служению». Эти мечты долго определяли внешние пути жизни Гоголя, но как раз переезд Гоголя в Петербург по-новому направил внутреннюю работу в нем, — и прежде всего потому, что служба в Петербурге оказалась совсем неинтересной и не соответствовала грандиозным планам Гоголя. Идея служения не пропала, но очень осложнилась тем, что перед Гоголем открылся путь литературного творчества. Это не было совсем новым путем для него — еще до Петербурга Гоголь написал поэму «Ганц Кюхельгартен», в которой уже зазвучали мотивы, которые потом занимали его целиком. Но настоящее творчество захватило его тогда, когда он стал писать свои «Вечера на хуторе близ Диканьки», — тут словесное мастерство, подлинный реализм и в то же время идейное брожение, начавшееся в Гоголе, сказались уже с достаточной силой. «Вечера» имели сразу исключительный успех. Пушкин писал о первой части «Вечеров»: «вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами как поэзия!». Добавим к этим метким словам Пушкина и то, что веселые рассказы Гоголя полны жизненного реализма, умения схватить комическое в жизни, — и в то же время уже в них чувствуется тревожная идейная жизнь, которая с годами всё больше крепла и росла в Гоголе. В «Вечерах» есть немало трагических сюжетов, которые под оболочкой народных легенд касаются острых и трудных тем жизни.

В эти же годы Гоголь пробует свои силы и на научном поприще. Он увлекается историей, изучает различные эпохи, строит грандиозные, явно неосуществимые для него планы, добивается кафедры истории в Киеве. Получить эту кафедру ему не удалось, но он на один год стал профессором в Петербурге. Его разнообразные занятия историей давали ему известное право на его научные претензии; как показал в свое время С. А. Венгеров, Гоголь по своему научному уровню был нисколько не ниже своих коллег. Но ученые занятия требовали систематической работы и постоянной подготовки к лекциям, — и всё это так не соответствовало типу внутренней работы Гоголя, что он сам покинул университет. Горечь, которую он испытал при этом, тем скорее рассеялась, что

его литературная слава росла с исключительной быстротой. Одна за другой появлялись его повести, исторический рассказ «Тарас Бульба». Гоголь начал — и очень успешно — работать над театральными пьесами; первый опыт, «Женитьба», был очень удачен и увеличил славу Гоголя. Но в эти же годы всё напряженнее и настойчивее шла мыслительная работа в Гоголе, о чем свидетельствуют различные теоретические статьи, в которых Гоголь развивал, а чаще лишь нащупывал слагавшееся у него мировоззрение. К 1835 году относится начало писания «Мертвых Душ» (сначала именовавшихся «романом», но уже в 1836 г. переименованных в «поэму»). Литературное дарование Гоголя расцветало с необыкновенной яркостью, — и вот в 1836 г. появляется его «Ревизор», имевший неслыханный успех. Но как раз появление «Ревизора» (1836 г.), заканчивая весь период блестящего и яркого творчества, явно обрывает этот период. В Гоголе вдруг с неудержимой силой выявляется очень сложная, часто запутанная, но всегда напряженная внутренняя работа; «литература» постепенно перестает быть в нем главным его делом, на первое место всё больше и больше выступают в Гоголе его личные запросы, как человека. Позже, в «Авторской исповеди» (1847 г.) Гоголь писал: «я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще»; в этих словах не нужно видеть какого-то отречения Гоголя от литературной деятельности — смысл приведенных слов совсем другой. «Человек» в Гоголе стал для него на первом месте, и литературное творчество заняло более скромное место, чем то, какое оно занимало в душе Гоголя в Петербургский период. Тут не было — в этом сосредоточении на самом себе — и тени эгоцентризма, а было уяснение иерархических соотношений в душе: важно прежде всего «быть» человеком, ответственно думать о своей жизни, своей душе, — но, конечно, важно и «действовать», творчески проявлять себя.

Это был серьезный и глубокий перелом — и именно к нему, к этому ответственному самоустранению и надо относить слова о «переходном периоде»: *Гоголь меняется как человек*, и это всё больше захватывало его, даже волновало. Он продолжал свой великолепный первый том «Мертвых Душ», писал их в тех же линиях сурового обличения («хочу с одного бока показать всю Русь» писал Гоголь о своем замысле), — а в то же время в нем строился уже новый человек, часто нервничающий, но в центре всего знавший одну лишь думу — о Боге. Тут не было ни религиозного кризиса

и никакого «поворота» в религиозную сторону, — ведь Гоголь с детства был религиозным. Но до перелома в 1836 г. это часто была скорее религиозная фразеология, известная склонность задумываться над религиозными темами, но теперь всё стало для Гоголя au serieux. Если угодно, Гоголь становился мистиком в том смысле, что «стояние перед Богом» становилось настоящей его потребностью. Гоголь углубляется в святоотеческую письменность, и уже в 1840 г. он писал: «многое совершилось во мне в немногое время», а несколько позже он уже знает переживания, близкие к экстазу (1841 г.: «я слышу часто чудные минуты, чудной жизнью живу»). У Гоголя начинает меняться восприятие жизни, людей («глядите на мир, писал он в 1843 г., он весь полон Божьей благодати»). Это чувство «стояния перед Богом» всё чаще рождает у него мысль, что его жизнью руководит сам Бог (еще в 1836 г. он писал: «кто-то незримый пишет передо мной могущественным жезлом» или в 1840 г.: «создание чудное творится в моей душе — подобное внушение не происходит от человека» или в 1843 г.: «мне открываются тайны, которых дотоле не слышала душа»). Рядом идет и другое — то, что мы называли «дидактической тенденцией» в произведениях Гоголя до 1836 г. и что просто было связано с напряженной внутренней работой, а теперь приобретает черты *учительства*. Он уверен, что «властью свыше облечено ныне его слово» (1841), — это пока касалось, правда, лишь переписки с друзьями. Гоголь становится почти навязчив в советах друзьям, словно он их старец или духовный руководитель, он часто требует от своих друзей исполнения его советов. С какой-то восторженностью (свидетельствующей о том, как захватывал Гоголя процесс сосредоточения на внутренней жизни) он уверяет себя и друзей, что «между любящими душами всё передается и сообщается от одного к другому» (1841). «Дадите ли вы мне слово, писал Гоголь старику Аксакову в 1840 г., слушаться моих советов?».

За этим сосредоточением на духовной стороне жизни, за религиозным подъемом и страстным порывом приобщить к нему близких друзей, шла напряженная перестройка всего миросозерцания Гоголя. Еще в Петербургский период Гоголь совершенно отошел от эстетического гуманизма, от благодушной уверенности в единстве эстетической и моральной жизни, но до перелома 1836 г. Гоголь не ощущал того, что при отвержении эстетического гуманизма служение искусству оказывается по существу беспочвенным, лишенным силы. Но

постановка «Ревизора» на сцене и всё, что в связи с этим пережил Гоголь, показали всю необоснованность его эстетической утопии, его веры, что искусство способствует преображению жизни. Когда же оформилось в Гоголе его поистине «новое религиозное сознание», смысл и функция искусства предстали перед ним в новом свете: искусство, по его новому пониманию, таит в себе силу *религиозного* преображения жизни людей. Он писал в одном письме: «лиризм, стремящий вперед и непоэтов возводит в состояние, *доступное одним поэтам*. Вещь слишком важная — *из-за нее* работает весь мир и совершаются все события» (писано в 1844 г.).

Я не буду входить здесь в анализ перелома в эстетическом и моральном сознании Гоголя под влиянием религиозных идей[2]. Но вот на что я хочу обратить внимание: религиозный перелом, перестройка морального и эстетического мировоззрения у Гоголя приходилась как раз на период, когда писался 1-ый том «Мертвых Душ». Правда, с 1836 г., это была уже «поэма», а не роман, и уже в 1841 г., когда 1-ый том «М. Д.» наконец вышел в свет, Гоголь писал: «первый том лишь бледное преддверие той великой поэмы, которая строится во мне». Новый религиозный романтизм овладевает Гоголем, — но это не мешало ему ни в 1-м, ни во 2-м томе (насколько можно судить по сохранившимся материалам) писать в тех же линиях реализма, какие были у него раньше. По-прежнему внешний рисунок поражает своей близостью к жизни, своим реализмом; Гоголь тщательно обрабатывал каждую главу, а когда цензура отказывалась пропустить «Повесть о капитане Копейкине», то, хотя этот отрывок, полный остроты и беспощадной характеристики нравов столицы, и не имел собственно никакого отношения к сюжету «М. Д.», Гоголь пустил в ход все свои связи, чтобы добиться пропуска «Повести о капитане Копейкине».

Но прежнее недоразумение со внешним реализмом у Гоголя разыгралось и здесь. Выход в свет «М. Д.» был огромным событием в русской жизни — «Мертвые Души» захватили все слои русского общества — все признавали «М. Д.» вещью исключительной глубины и высокой художественной ценности. Еще Пушкин, слышавший только первые главы (вер-

[2] Помимо моих статей о Гоголе в "Ztsch. f. slavische Philologie", см. недавнюю мою немецкую брошюру (1958 г.) "Aus d. Geschichte d. aesthetischen Ideen in Russland im XIX-XX Jahrhundert". Первая глава в этой брошюре посвящена Гоголю.

нее, их наброски), сказал: «Боже, как грустна наша Россия!». То же впечатление, но только еще более острое, было у всех, кто следил по «М. Д.» за безотрадной картиной русской жизни. Гоголь решительно не мог понять и принять того, как читатели воспринимали картину, нарисованную им. «Все принимают мою книгу, писал он 1843 г., за сатиру, а в *ней нет и тени сатиры*». Как странно, что Гоголь серьезно думал, что в «М. Д.» «нет и тени сатиры!». Свою манеру выставить со всей яркостью неправду и ничтожность тех людей, которых он описывал, свой реализм, Гоголь, очевидно, дополнял тем, что для него стояло за этим реализмом, за внешним убожеством русской жизни. Писал он С. Т. Аксакову (еще в 1842 г.): «разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном «М. Д.», лирическую восторженность?». Романтизм в Гоголе заслонял перед ним его реализм.

Гоголь всё же продолжал писать 2-й том «М. Д.», и конечно писал так, как только мог он писать, т. е. в тонах сурового обличения русской жизни. Правда, уже во 2-м томе «М. Д.» намечаются у Чичикова те сдвиги, которые позже (уже в 3-м томе) должны были привести к полному преображению его, но пока образ Чичикова оставался в линиях реализма. Уже в эти годы у Гоголя выросла чрезвычайная потребность изложить свое «положительное» чувство мира, свою веру в возможность всеобщего преображения. Ему пришла в голову неудачная мысль собрать воедино некоторые письма к друзьям, дополнить их несколькими статьями и издать под заглавием «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь писал в начале 1847 г.: «я печатаю книгу в твердом убеждении, что книга моя нужна и полезна России». Нет сомнения, что Гоголь действительно хотел «произвести благодетельное действие» своей книгой, как он писал в другом письме. Еще позже он писал: «издание книги было моей душевной потребностью».

Нельзя отрицать *значительности* книги Гоголя, крайней важности ее тем, но нельзя отрицать и того, что в том виде, в каком она была издана, она не могла быть ни нужной, ни полезной. В книге мы находим лишь *первый черновой набросок* нового миропонимания Гоголя, — но думать, как это пишет напр., Мочульский, что Гоголь в своей книге развивает «стройную и полную систему религиозно-нравственного мировоззрения», не приходится. *Гениальны лишь темы,* затронутые Гоголем в его книге, — и что это так, это видно из того, что эти темы были и остались до сих пор центральными

темами русских идейных исканий. Но одно дело — постановка вопросов, другое — их разработка. Нельзя сказать, что Гоголь был мало подготовлен для разработки его основных идей, но даже если отбросить все неудачные выражения, все неподходящие для основных тем места, всё равно остался бы только черновой набросок — и не больше.

Значение Гоголя и его книги всё же исключительно велико. Гоголь был *пророком православной культуры* (и доныне впрочем остающейся темой лишь пророческих упований), т. е. переработки проблем культуры в свете Православия, его учения о свободе, о соборности. Для современников Гоголя эти темы были новы и чужды; не один Белинский, но и такие близкие друзья Гоголя, как С. Т. Аксаков, прямо отвернулись от него. Всё русское общество восстало против Гоголя — не исключая и русского духовенства (не считая одного лишь архим. Бухарева — см. его наивные, но замечательные «Три письма к Гоголю»), — и это страшно придавило Гоголя. Он не ожидал такого единодушного осуждения со стороны тех, кто был до этого времени восторженным его поклонником: для самого Гоголя единство его взглядов, его установок (в художественных вещах и в его теоретических статьях и в книге «Выбранные места») было совершенно бесспорно. Всеобщее осуждение книги стало действовать угнетающе на Гоголя, — сначала он пробует отвечать на упреки и слова сурового осуждения, но затем смиряется, доходит до того, что пишет (Жуковскому): «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее». «Как мне стыдно за себя», писал он тому же Жуковскому; Гоголь совсем упал духом и признавался С. Т. Аксакову (тоже сурово осуждавшему Гоголя): «как у меня еще не закружилась совсем голова, как я не сошел еще с ума от этого вихря недоразумений — этого я и сам понять не могу».

«Вина» Гоголя собственно заключалась в том, что свою программу радикальной перестройки жизни на религиозных началах он не сумел представить обществу так, как напр. потом это сумел сделать Соловьев, авторы сборника «Вехи», и многие другие, кто тоже в сущности не очень далеко ушли от расплывчатого романтизма Гоголя и тоже не пошли дальше критики безрелигиозной культуры. Нет вообще никаких оснований думать, что у Гоголя иссякла его творческая сила, но ему нужен был бы не малый период молчания для того, чтобы сказать по-иному то, чем жила его душа. Что художественный дар Гоголя вовсе не упал, об этом достаточно свидетель-

ствуют те, кто слышал в чтении Гоголя 2-й том «Мертвых Душ», — да и то, что сохранилось от этого тома, достаточно говорит о неугасшем даре Гоголя. Художественное чутье не покинуло Гоголя, он писал 2-ой том всё в тех же линиях реализма, к каким прибегал раньше. Так, преображение души Чичикова, которое должно было развернуться в 3-м томе, во втором намечено очень реалистически всего несколькими штрихами (встреча с Костанжогло, потрясение Чичикова, вызванное тем, что он был посажен в тюрьму). Насколько это, по мысли самого же Гоголя, было еще незначительно, видно из того, как всё мгновенно исчезло из души Чичикова, когда его освободили из тюрьмы, вернули заветную шкатулочку. «Чичикову начали вновь грезиться кое-какие вещи — вечером театр, плясунья, за которой он волочился. Деревня и мирная жизнь стали казаться бледнее — город и шум опять ярче, яснее». Гоголь от себя меланхолически добавляет: «О, жизнь!»...

После неудачи с книгой «Избранные места», вернувшись в Москву после поездки в Иерусалим, Гоголь продолжал работать над вторым томом «М. Д.», но горькие мысли не покидали его. «Я так был раньше уверен, что я стал на верхушке своего развития и вижу здраво вещи», признавался он в одном письме. В ответ Белинскому на его страстное обличение всяких неудачных фраз в «Выбранных местах», Гоголь писал: «Бог весть, может быть в ваших словах есть часть правды... Душа моя изнемогла, всё во мне потрясено». На Гоголя всё больше находило, как он говорил, «оцепенение», уныние и хандра, — но когда он писал, то оставался таким же несравненным мастером. Вот отрывок из письма С. Т. Аксакова сыну (1850 г.) когда прочитали у Аксаковых одну главу из 2-го тома: «такого высокого искусства показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону — нигде нельзя найти. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Теперь я *убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу,* о которой так самонадеянно и дерзко, повидимому, говорит в первом томе». Эти слова С. Т. Аксакова, человека большого художественного чутья, очень важны, как свидетельство того, что художественное дарование Гоголя вовсе не ослабело. Но психические страдания Гоголя продолжались — его мучило бессилие найти нужные, «настоящие» слова, чтобы сказать то, чем жила всецело его душа, он часто бывал сумрачен, нелюдим... Сестра Гоголя рассказывала, как «с болью в серд-

це она наблюдала печальное, осунувшееся лицо брата» (относится к 1851 г.). На Гоголя часто нападала грусть, какая-то нерешительность. Он даже сказал Тургеневу при встрече с ним (уже незадолго до своей смерти): «если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями», я бы сжег ее». Гоголь был надломлен, он стал всё более уединяться, в нем начала бродить мысль сжечь рукопись второго тома, — и однажды, чувствуя припадок этой одержимости мрачной идеей, Гоголь попросил гр. А. П. Толстого (у которого жил) взять рукопись и спрятать. Он будто бы даже сказал Толстому: «на меня находят часы, когда всё хочется сжечь, но мне самому было бы жаль сделать это». Из ложной деликатности Толстой не согласился, — и в ту же ночь Гоголь сжег второй том. После этого Гоголь стал слабеть, перестал есть и скоро скончался.

Жизнь Гоголя оборвалась рано (он умер 43 лет), и трагический финал ее вошел в историю русской культуры, как некая пророческая, таинственная страница русского духа. Гоголь, при всём изумительном его художественном даре, принадлежал и принадлежит не одной русской литературе — он принадлежит и всей русской культуре со всеми ее духовными исканиями. Духовные проблемы, которыми жил Гоголь, не могли и не могут целиком уложиться в художественные создания, — а основная тема Гоголя о религиозном преобразовании культуры не есть только русская, а общехристианская тема. Если Гоголь не смог много сделать для разработки этой темы, то всё же он гениально и смело, вопреки всему, чем жила его эпоха поставил ее. Нельзя сказать, вслед за Мочульским, что «Гоголь повернул русскую литературу от эстетики к религии». Эстетические темы жили и живут в русской литературе, в русской культуре. Но прививка религиозной темы, сделанная Гоголем, дала богатый плод у Толстого, Достоевского, в русском символизме. Главная брешь в безрелигиозном понимании была пробита именно Гоголем — и в этом его главная заслуга в истории русской культуры. Еще придет время, и его художественное творчество, понятое пока всё еще лишь в социальном аспекте, предстанет трудами исследователей во всей изумительной глубине его идейных исканий. «Загадка» Гоголя будет тогда разрешена, и его гений еще долго будет питать русских людей.

Прот. В. Зеньковский

РЕВИЗИЯ СОЦИАЛИЗМА

В течение второй половины 19-го и в начале текущего века немецкий социализм считался «классическим», наиболее авторитетным, последовательным, всесторонним, заслуживающим подражания. Даже родоначальница социализма, Франция, почти на полстолетия опередившая в этом отношении Германию, уступала ей первенство. Авторитет Маркса, Энгельса, а потом Каутского и Бебеля, а для более умеренных — Лассаля, Бернштейна, Давида затмевал имена Сен-Симона, Фурье, Прудона, Бланки, Жореса, Леона Блюма.

Доминирующая роль германского марксизма ярко сказалась на судьбоносном съезде Социалистического Интернационала в Амстердаме в 1904 г. Из поединка Бебеля-Жореса победителем вышел первый, при активной поддержке русской социал-демократии, возглавленной Плехановым и Лениным. В Германии сложилась идеология, которая с течением времени утратила свою гибкость, окаменела и послужила в России идейно-политическим оправданием к захвату власти большевиками и установлению, так называемой, диктатуры пролетариата. Марксизм-ленинизм-сталинизм-хрущевизм стал для миллионов, волей или неволей, подлинным и единственно-истинным социализмом, а всё прочее — ересью, искажением, извращением социализма.

Однако, в той же Германии раньше, чем в других странах, если не считать России, марксисты приступили к коренному пересмотру былого своего представления о социализме. Как отметил недавно, генеральный секретарь Социалистического Интернационала 1951-1956 гг. Юлиус Брауналь, «ужасы фашистской и коммунистической диктатуры привели социалистические партии к новой положительной переоценке демократии».

Карлу Каутскому, автору знаменитой Эрфуртской программы, прямому наследнику Энгельса и блюстителю марксистского правоверия, принадлежит почтенная заслуга ревизии прежнего понимания социализма и, в итоге отталкивания его от страшной реальности — диктатуры большевицкой партии

во имя якобы социализма (фашизма тогда не было и в помине), — решительно откинуть особенно кричащие пережитки марксистской мифологии.

Уже в 1918 г. Каутский выпустил в Вене брошюру «Диктатура пролетариата», которая привела Ленина буквально в бешенство. Всегда неистовый в полемике, Ленин в пространном ответе «ренегату Каутскому» превзошел себя в грубости и цинизме. Свой ответ он писал в том же 1918-ом году, с 9 октября по 10 ноября, то-есть, когда Россия пылала в огне гражданской войны на множестве фронтов, когда большевицкая партия еще не вполне оправилась от внутренних раздоров в связи с заключением брест-литовского мира и восстанием левых эс-эров и когда Ленин сам только-только пришел в себя после покушения на него Фанни Каплан. Это показывает, какое значение творец большевицкого социализма придавал критике Каутского. Она проникала в самую суть и глубь проблемы. И высказанные Каутским в 1918 г. истины пережили его. А сейчас, через 20 лет после его смерти, получили формальное признание на только что закончившейся конференции германской социал-демократии в Годесберге.

В этой брошюре едва ли не наиболее важным было заявление марксистского законоучителя, что «строго говоря» вовсе «не социализм составляет нашу конечную цель». И признанное обобществление средств и орудий производства не является вовсе «конечной целью», а лишь путем и средством к нашей конечной цели — «устранению всякого рода эксплуатации и угнетения, будут ли они направлены против какого-либо класса, партии, пола или расы».

Об уничтожении всяческой эксплоатации человека человеком и всесторонней эмансипации человечества социалисты, в том числе и марксисты, с Марксом во главе, говорили, правда, и раньше. Но Каутский в данном случае пошел значительно дальше. Он не только отождествил социализм с тем, что назвал «конечной целью», но и *подчинил* его ей, а обобществление частной собственности признал *условно* — в зависимости от того, способствует ли оно достижению «конечной цели» или нет. Он писал: «Мы должны были бы выбросить социализм за борт, нисколько не отказываясь от нашей конечной цели, как раз в интересах этой конечной цели, если бы нам доказали, что она может быть достигнута единственно только или целесообразнее всего на основе частной собственности на средства производства, как это допускал Прудон».

Можно считать неудачным, что, не признавая социализм

«нашей конечной целью», Каутский вместе с тем как бы противополагает социализм «частной собственности на средства производства», т. е. придает ему узко-ограниченный юридический смысл. Последующее развитие социалистической мысли в Германии преодолело эту «неувязку». Инициатива Каутского принесла плоды. Они сказались в гейдельбергской программе германской социал-демократии 1925 г. и, особенно, в линцской программе австрийской партии в 1926 г. Обе программы значительно отошли от прежних образцов и шаблонов. Их примеру последовали программы и других социалистических партий.

Исчезло традиционное деление на программу-максимум и минимум. Место рабочего класса и его интересов заняли «трудящиеся». Выпала освященная авторитетом Энгельса идея «отмирания» или «сокрушения» государства. Не стало больше «железных» или «имманентных» законов истории. Взамен монистического естественно-научного понимания истории выдвинут был плюрализм в развитии человека и общества, — что́ прежде клеймилось как эклектизм. Принцип личности еще не стал доминирующим, но почти сравнялся с началами коллективизма. Собственность перестала быть табу: ее стали расценивать больше как форму и функцию хозяйства, а не морально-политически. С другой стороны, фактором определяющим не одну только социальную политику, но и экономику страны, стали признавать, вместе с производством, и *распределение* хозяйственных благ, — что́ прежде именовалось не иначе как мелко-буржуазной или народнической утопией.

Процесс самокритики и пересмотра социалистических программ особенно ускорился после того, как и Гитлер заявил претензию на социализм и, вместе с Муссолини, стал опираться на массы трудящихся. Вехой в этом направлении надо считать Декларацию, опубликованную реорганизованным Социалистическим Интернационалом 2 июля 1951 г. во Франкфурте под заголовком «Цели и задачи демократического социализма». Завершением этого процесса явился проект новой программы германской социалистической партии, подлежавший окончательному одобрению специальной конференцией в Годесберге 13-15 ноябрря. Проект этот обсуждался больше года в ряде комиссий, которые имели перед собой ряд проектов и множество самых разнообразных поправок. Правление партии, в котором представлены все течения и фракции, приняло представленный к одобрению проект. Он заслуживает пристального внимания — исторически и политически.

*

Здесь прежде всего надо отметить, в качестве факта положительного, отказ от, так называемого, миросозерцательного или историко-философского введения с обоснованием смысла и заданий социалистического движения. В течение многих десятилетий такая интродукция была обязательной частью всякой социалистической программы. И даже в такой чуждой предвзятых взглядов и оценок, как выпущенная в 1952 г. книга английских социалистов «Новые фабианские очерки», в статье редактора сборника Ричарда Кросмэна, можно прочесть утверждение, будто «отсутствие теоретической базы для практических программ действий является главным основанием, почему рабочее правительство (Англии) после войны знаменует собой конец века социальных реформ, а не начало новой эпохи, как на то надеялись сторонники социализма».*

Германская программа, вместо претенциозного и спорного философского или социологического введения, ограничивается фактическим описанием жизненных противоречий нашего времени. Человек расковал первичную энергию атома и — в испуге от собственного творчества; он развил огромные производительные силы, собрал невероятные богатства, однако без того, чтобы предоставить всем справедливое участие в совместном пользовании; подчинил себе земную поверхность, сбли-

---

* Иллюстрацией может служить и эпизод из личного опыта. Когда мне довелось — не в первый раз — предложить опустить «миросозерцательные основы» из программы партии социалистов-революционеров, чтобы сделать ее приемлемой для более широких кадров разномыслящих и вместе с тем обеспечить за каждым членом партии свободу духовного самоопределения вне воздействия часто деспотической и недостаточно сведущей партийной цензуры, — это предложение встретило решительный протест. И не со стороны староверов только, но и такого критического и политически и лично мне близкого «партийца», как В. В. Руднев.

По мнению В. Руднева, «предоставляемая отдельному члену партии свобода иметь целостное миросозерцание только для себя лично не заменит ему ценности коллективных переживаний, чувства идейной солидарности с другими. Всякое ослабление идеологического единства свидетельствует лишь о духовном обнищании и жизненном увядании данной партии... Без наличия единства более глубокого, идеологического, объединение партии было бы «мнимым», настаивал В. В. Руднев («Свобода». Журнал, непериодически издававшийся парижской организацией с. р. — № 3. Июль 1935 г.).

зил континенты и в то же время — мощные, до зубов вооруженные блоки пуще прежнего разделяют народы, а тоталитарные режимы угрожают свободе. Естественно, что наученный разрушительными войнами и варварством недавнего своего прошлого, человек страшится собственного будущего, ибо в любой момент во всяком пункте земного шара может быть развязан хаос самоуничтожения.

В то же самое время возникает надежда, что человек сделает свою жизнь более легкой в атомную эпоху; что ему удастся освободиться от многих забот и создать благополучие для всех, если с каждым днем всё возрастающую власть над природными силами он употребит только для мирных целей; что он обеспечит мир миру, если укрепит международный правопорядок, уменьшит недоверие между народами и воспрепятствует гонке вооружений. Тогда впервые в истории сделается возможным для каждого раскрытие личности в демократии, в многообразии культуры без нужды и страха. Мы, люди, призваны разрешить это противоречие, — утверждает программа. В наших руках ответственность за счастливое будущее или саморазрушение человечества. Человек открывает дорогу к своей свободе только через новый и лучший общественный порядок. К такому новому и лучшему порядку стремится демократический социализм.

Эти вступительные замечания можно считать необязательными. Положительное их достоинство в том, что они не претендуют и на видимость миросозерцательной или историософской установки. Их легко откинуть без того, чтобы пострадала сама программа, которая открывается двумя небольшими, но существенными разделами: «Основные ценности социализма» и «Основные требования для общества, которое достойно человека».

И здесь на первом плане человек и его достоинство, которое, по выражению программы, состоит в притязании человека на ответственность перед собой и на признании права всех его окружающих развивать свою личность и на равных правах с другими содействовать формированию общества. Основные ценности для социалистической воли — свобода, справедливость и солидарность, и вытекающие из общей связанности взаимные обязательства.

Тут же дается убедительное объяснение, почему программа принципиально отвергает необходимость миросозерцательных предпосылок. «Демократический социализм, в Европе укорененный в христианской этике, гуманизме и классической фи-

лософии, не станет возвещать последних истин не из-за непонимания и не из безразличия к мировоззрениям или религиозным истинам, а из уважения к различию верований человека, содержание коих не может определять ни политическая партия, ни государство». Программа заявляет, что социал-демократическая партия Германии — партия духовной свободы. Она — сообщество людей разных верований и разного мышления, связанных общностью своих основных моральных ценностей и политических целей, и стремится к установлению жизненного порядка в духе этих основных ценностей. Социализм — длительное задание завоевать свободу и справедливость, сберечь их и оправдать свое в них бытие.

Не будем излагать подробно другие разделы программы. Ограничимся наиболее существенным или оригинальным, оговорив, что и эти разделы состоят не из конкретных «требований» а из *суждений* исторического, экономического и морально-политического характера.

В разделах «Основные требования для общества, которое достойно человека» и «Государственный порядок» должно отметить настойчивость, с какой выдвигается «уважение к достоинству человека и личная его ответственность перед собой». Социалисты противополагаются коммунистам, демократия — диктатуре. «Социализм будет осуществлен только чрез демократию, демократия будет осуществлена чрез социализм. Всякая власть в демократии подлежит общественному контролю, и права меньшинств подлежат соблюдению наряду с правами большинства. Правительство и оппозиция имеют разные задачи, но равного значения, и несут ответственность перед государством».

Раздел «Хозяйство» самый пространный. В нем многое заслуживает внимания. Переживаемую эпоху программа считает второй индустриальной революцией (после первой в Англии начала 19-го века), которая создает предпосылки для подъема общего уровня жизни и справедливого участия всех в увеличении национального дохода и в устранении нужды и нищеты. Для привлечения всех к возрастающему благосостоянию хозяйство должно быть планомерно приспособлено к постоянным изменениям структуры.

В современном государстве хозяйство находится под постоянным его воздействием в силу налогового обложения, денежного обращения, кредита, таможенной, торговой, социальной, сельскохозяйственной и домостроительной политики.

Больше трети производства общества подвержено такому воздействию со стороны публичной власти. Нет, поэтому, вопроса целесообразно ли регулировать и планировать хозяйство. Вопрос только в том, *кто* регулирует и *в чьих* интересах. И государство не может снять с себя ответственности за то, как протекает хозяйственный процесс. Оно ответственно за создающуюся конъюнктуру и, по существу, должно ограничиваться косвенным воздействием на хозяйство.

Свободное потребление, свободный выбор места работы и предпринимательской инициативы столь же решающи для вольной хозяйственной политики, как и свободное состязание являющееся ее важным элементом. Автономные союзы рабочих и работодателей — существенная составная часть устремленного к свободе порядка. Тоталитарное принудительное хозяйство разрушает свободу. Поэтому социалистическая партия Германии (СПГ) стоит за свободный рынок, где всегда царит настоящее соревнование. Там, где рынок попадает под владычество отдельных лиц или групп, там требуются многообразные меры для сохранения свободы хозяйства. «Конкуренция, поскольку она возможна, планирование — поскольку оно необходимо».

Громадные хозяйственные предприятия, распоряжающиеся миллионными ценностями и десятками тысяч рабочих, приобретают и власть над людьми: зависимость рабочих и служащих выходит за пределы лишь экономической зависимости. И там, где господствуют огромные предприятия, там нет свободного соревнования. Кто не обладает равной властью, не обладает и равными возможностями развития, он более или менее несвободен. Обуздание власти крупного капитала — центральная задача свободной хозяйственной политики. Государство и общество не должны стать добычей мощных заинтересованных групп. Средние и мелкие предприятия заслуживают поощрения. Государство должно создать предпосылки для их сохранения при конкуренции.

Программа не отказывается от обобществленной собственности, но придает ей подчиненное и условное значение. «Общественная собственность — законная форма общественного контроля, от которого не отказывается ни одно современное государство. Она служит ограждением свободы от сверх-мощи крупных хозяйственных образований... Где другими средствами нельзя оградить здоровый порядок хозяйственных взаимоотношений, там общественная собственность целесообразна и необходима». Общество лучше всего будет обслужено не

централизованной бюрократией, а ответственно-сознательным действием всех его сочленов.

В сельскохозяйственной области программа высказывается за частную крестьянскую собственность. Но и здесь рекомендуется приспособление к структурным изменениям всего народного хозяйства в целях его развития и повышения уровня жизни. Социальный порядок современного индустриализованного общества создал, по утверждению программы, предпосылки к тому, чтобы гарантировать всем людям обеспеченное существование.

В разделе «Культура и Жизнь» можно прочесть: «социализм — не подделка под религию (ist keine Ersatzreligion). Социал-демократия уважает церковные учреждения и религиозные сообщества. Она относится положительно к их публично-правовой охране, особому их назначению и своеобразию. Она всегда готова к совместной работе с Церковью при свободном соучастии сторон. Она приветствует, что христиане из своей религиозной связанности делают выводы об обязанностях социальной деятельности и ответственности перед обществом».

В последнем «еретическом» разделе «Наш Путь» имеется и неверное, отдающее дряхлой стариной утверждение.

Социалистическое движение выполняет историческую миссию, говорится здесь. Началось оно как естественный и моральный протест лондонских рабочих против капиталистической системы. И тут неожиданная дань давно отброшенной теории обнищания: создавшееся благодаря науке и технике огромное развитие производительных сил принесло богатство и власть небольшому слою, а «наемным рабочим только (!) нужду и нищету». Впрочем, немногим дальше говорится и другое: «беззащитный и бесправный пролетариат, позволявший раньше сдирать с себя шкуру, работая по 16 часов в день за голодную плату», добился многих и значительных улучшений, экономических, политических, социальных и иных. «Когда-то бывший объектом голой эксплуатации господствующих классов, рабочий теперь занял свое место гражданина государства с признанными за ним равными правами и обязанностями». Всё в большей мере происходит демократизация хозяйства.

Откинув одиозный термин сотрудничества рабочих с предпринимателями, съезд высказался в пользу «соучастия» рабочих в управлении предприятиями. «*Социал-демократическая партия из партии рабочего класса сделалась партией наро-*

да (подчеркнуто мною. *М. В.*). Силы, развязанные индустриальной революцией благодаря техническому прогрессу во всех областях, партия хочет поставить на службу свободе и справедливости для всех».

Отсюда надежда мира — порядок, построенный на основных ценностях демократического социализма, который совместно со всеми людьми доброй воли создаст общество достойное человека, свободное от нужды и страха, от войны и угнетения.

*

В течение десятилетий германский социализм, бывший средоточием марксистской ортодоксии, оказывал решающее влияние на международный социализм. Не миновала общей судьбы и Россия. Больше того: германское толкование марксизма явилось источником и толчком к последовавшему вырождению в ленинизм-сталинизм, сейчас принявший форму хрущевизма. Диктатура пролетариата в СССР стала откровенной «деспотической тиранией», приняла форму «универсального, хозяйственного, политического и духовного порабощения», пишет упомянутый выше Юлиус Брауналь. И нынешняя программа германской социал-демократии носит явные следы прямой реакции на «деспотическую тиранию» коммунистов. Самая формулировка некоторых разделов программы является отталкиванием от понимания социализма большевиками-коммунистами.

Социализм, как идеология развитой демократии, в России загнан в подполье. Не существует ни социалистического движения, ни социалистических партий, как не было их в Германии в пору Гитлера и не может быть ни при каком тоталитарном режиме. Во время войны социалистические партии во многих странах были уничтожены, а уцелевшие одиночки ушли в партизаны. Однако, на следующий же день после падения тоталитарной власти почти повсюду, как Феникс из пепла, стали немедленно возникать и буйно расти якобы навсегда уничтоженные социалистические партии.

Когда-то на заре НЭП-а, на X-ом съезде своей партии, Ленин говорил: «Кооперация, выделяя элементы более хозяйственные, более высокие в экономическом отношении, тем самым в политике выделяла меньшевиков и эсэров. Это химический закон — тут ничего не поделаешь!». Этот «закон», надо думать, будет действовать и в будущем, и, с переменой режима, социалистические партии будут «выделены» в России с тою

же стремительностью, с какой это произошло после 2-ой мировой войны во всех странах Европы. Появятся и правые, и левые партии, но коренным или основоположным, надо надеяться, будет опять-таки, как в других странах, центр — либерально-социалистическая демократия.

Не приемлющим социализма и обладающим при этом короткой исторической памятью, может быть, небесполезно будет припомнить, что «русский социализм» не надуманное и далеко не новое слово. Отталкивающиеся от социализма и в то же время глубоко чтущие Достоевского не могут упразднить того, что «пророк русской революции» говорил о русском социализме не в юные только свои годы, когда он увлекался взглядами Фурье и Сен-Симона, но и в зрелом возрасте, когда, став на религиозный путь, он проповедовал «русский социализм», «социализм народа русского», как веру в спасение «всесветным единением во имя Христово».

У поклонников Достоевского авторитет Герцена стоит, как правило, гораздо ниже. Тем не менее заслуживает внимания, что и он — до Достоевского — тоже писал о русском социализме: «Мы *русским социализмом* называем тот социализм, который идет от жизни и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, — и идет вместе с рабочей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука».

Эти слова звучат сейчас крайним анахронизмом. За истекшее столетие народничество, вместе со всем миром и международным социализмом проделало большую метаморфозу — обновилось в соответствии с духом и нуждами времени. Новейшая программа германской социал-демократии на свой лад защищает многое из того, что в течение текущего века отстаивало нео-народничество.

На съезде Социалистического Интернационала летом этого года в Гамбурге видный лидер социализма в Австрии Оскар Поллак остановился на вопросе, почему социализм утратил свой энтузиазм и былую силу магнетического притяжения? Поллак приписал это превращению главных масс приверженцев социализма из пассивно-страдающих в активных, а потом и в ответственных и даже руководящих вершителей судеб своей страны. Потускнела запредельная миссия социализма и, в силу достигнутых успехов, понизился энтузиазм. Нельзя не признать, что социализма нет и невозможно даже предвидеть и

предсказать, когда, где и как он осуществится, если осуществится. Но движение в сторону того, что подразумевают под социализмом, идет и идет неудержимо, назовут ли это движение социализмом, попечительным государством с плановым хозяйством или как-нибудь иначе.

14.XI.59

М. Вишняк

РУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ И РУССКОЕ ЗЕМСТВО

В декларации нового Интернационала, принятой 2 июня 1951 года: «О целях и задачах демократического социализма» говорится: «Демократический социализм есть международное движение, которое отнюдь не требует твердого единообразия воззрений. Все социалисты стремятся к одинаковой цели безотносительно к тому, приходят ли они к своим убеждениям из данных марксистского или иначе обоснованного анализа, из религиозных или гуманитарных оснований».

То же надо сказать и о «предпосылках» к будущей «единой социалистической партии» в России, опубликованных за подписью 14 социалистов эс-эров и меньшевиков в «Социалистическом Вестнике» за март 1952 года: «Предпосылки решительно отвергают обязательность для каждого члена партии определенной 'мировоззренческой' или философско-исторической концепции. Послебольшевистская демократия будет резко отталкиваться и от монистической партфилософии, не допускающей никаких уклонов, и от железной дисциплины». (М. Вишняк. Оправдание народничества. «Новый журнал» № 30, 1952).

Наконец, только что опубликованный манифест западногерманской социал-демократической партии, принятый 15-го ноября с. г. в Бад-Годесберге, провозглашает отказ от основных принципов Коммунистического манифеста Маркса и Энгельса со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вместе с отрицанием монистической партфилософии в современном социализме все большее значение приобретают идеи реформизма, выраженные ярче всего словами Карла Каутского: «Строго говоря, не социализм составляет нашу конечную цель, а устранение всякого рода эксплуатации и угнетения, будут ли они направлены против одного или другого класса, партии, пола или расы». «Не изменение титула собственности, а улучшение жизни десятков миллионов и есть

социализм. Не через двести лет, а сейчас», пишет русский экономист Е. Юрьевский.

Указанное дает возможность утверждать множественность типов социализма, и, следовательно, дает право говорить об особом русском социализме. Уже Герцен говорил, что особенностью русского социализма является его этическая направленность. Такая этическая направленность имеет глубокие корни в русской истории. На заре русской жизни, под влиянием церкви, создалась идея Святой Руси, той Руси, в которой должна быть воплощена социальная справедливость и правда. Это стремление к воплощению в жизни Божьей правды поддерживалось церковью в течение первых периодов русской истории, и, несомненно, жило в русском народе. Но при этой этической направленности древняя Россия не знала аскетического отрицания культуры. Древне-русское религиозное сознание, наряду с этическим моментом, заключало в себе основание и для широкого культурного творчества. Миросозерцание, сложившееся в Киевский период, хотя и несколько затемненное, было определяющим для последующих периодов русской истории.

Петровская реформа произвела крутой перелом в настроениях и мыслях русского образованного класса. «В культурной жизни России, — пишет М. М. Карпович, — в течение 18-го века царили хаос и смятение. Старая цивилизация Московской России, начавшая терять свое единство и силу в течение 17-го столетия, получила смертельный удар от руки царя-реформатора. Требовалось известное время, прежде чем старая культура могла быть заменена другой равноценной системой верований и идей. Через «окно», прорубленное Петром в стене, отделявшей Россию от западной европейской культуры, различные иностранные влияния — немецкие, шведские, голландские, французские, английские — начали просачиваться в нашу страну и их поток всё время увеличивался. Первым результатом этого натиска могло быть только замешательство. Среди небольшой группы образованных русских многие потеряли душевное равновесие. Результатом было или рабское, доведенное до крайности, подражание иностранным образцам, или необычайное смешение новых идей и старых навыков. За редкими исключениями, не было никакой устойчивости в интеллектуальном и моральном настроении людей этого периода. Совершенно очевидно, что страстно и поспешно произведенные из-за границы заимствования должны были быть переварены и ассимилированы, прежде чем национальная

культура могла быть создана на новых основаниях. Прежде всего не было даже необходимых средств для выражения мысли. До второй половины 18-го столетия Россия не обладала соответственными средствами для обнародования своей мысли, не было ни печати, ни даже соответственно развитого литературного языка. Только в царствование Екатерины были достигнуты осязательные результаты в этом направлении и была подготовлена почва для творческой деятельности» («Imperial Russia» стр. 3, 4).

С конца 18-го и начала 19-го века постепенно создается новая русская культура, выражавшаяся прежде всего в русской художественной литературе. Как-то мне пришлось слышать мнение одного историка литературы, что русская литература 19-го века представляет собою чудо. Но это чудо объясняется тем, что, может быть, и не вполне сознательно в русской литературе оживали и становились достоянием образованных классов те убеждения, которые жили в глубине народного сознания. Оказалось, пользуясь словами П. Н. Милюкова, что русские образованные люди явились вместилищем русской национальной памяти и русской национально-культурной традиции. В искании правды-справедливости русские писатели обращаются к народному сознанию и в нем ищут воплощения своих идеалов.

Если при этом в классической литературе, по мнению некоторых критиков, мы можем видеть известную идеализацию и переоценку народной души, то в возникшем одновременно движении народничества мы встречаемся уже с безоговорочным преклонением перед народом. М. В. Вишняк в своей статье «Оправдание народничества» приводит слова Степняка-Кравчинского — «Народ божество для этого движения» (в народ). Признавая народ за божество, создавая себе кумир из народа, народничество совершило грех против второй заповеди: «не сотвори себе кумира» и тем самым затемнило свое высоконравственное настроение.

Но кроме того, то же идолопоклонство создало в народнических кругах то, что С. Л. Франк назвал нигилистическим морализмом. «Нигилистический морализм, пишет он, есть основная и глубочайшая черта духовной физиономии русского интеллигента: из обожествления *субъективных* интересов народа вытекает отрицание *объективных* ценностей, следует признание, что высшая и единственная задача человека есть служение народу, а отсюда следует аскетическая ненависть ко всему, что препятствует или даже только не содействует осу-

ществлению этой задачи». («Этика нигилизма». Вехи, стр. 156). Вспомните рассказ Гаршина «Глухари», где описывается, как молодой и талантливый художник бросает свое дело и становится народным учителем под влиянием впечатления, произведенного на него условиями, в которых производится работа над паровыми котлами, в результате которой рабочие глохнут.

Но в таком исключительном морализме погибает истинное религиозное чувство. «Религиозное умонастроение, пишет С. Л. Франк, сводится именно к сознанию космического, сверхчеловеческого значения высших ценностей, и всякое мировоззрение, для которого идеал имеет лишь относительный человеческий смысл, будет нерелигиозным и антирелигиозным, какова бы ни была сила сопровождающих его и развиваемых им аффектов. И если интеллигентское жизнепонимание чуждо и враждебно теоретическим и эстетическим мотивам, то еще сильнее оно отталкивает от себя и изгоняет мотивы и ценности религиозного характера. Кто любит истину и красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу и осуждают за забвение насущных нужд, ради призрачных интересов и забав роскоши; но кто любит Бога, того считают прямым врагом народа. Идолопоклонническая любовь к народу сливалась у многих народников с атеизмом».

Но атеизм находился в прямом противоречии с исконными настроениями русского народа и поэтому, на наш взгляд, народникам и их наследникам социал-революционерам было трудно найти доступ к народной душе, они не могли стать истинно народной партией, не могли осуществить этических замыслов русского социализма. Народники до конца не понимали народ, а народ не понимал народников, а потому и народники и эс-эры остались по существу только партией русской радикальной интеллигенции.

Как это ни покажется парадоксальным, но выполнение замыслов русского социализма, особенно в смысле реформистском, мы должны искать у русских либералов. Этот замысел нашел себе осуществление и в практике и теории земства. За всё время существования земства его деятельность была направлена на улучшение материального и культурного благосостояния крестьянства, составлявшего 85 процентов всего населения России. Земство подготовило все необходимые предпосылки для введения всеобщего обучения и приступило к его осуществлению. Оно ввело образцовую медицинскую помощь сельскому населению, которое до земства должно было пользоваться услугами знахарей и безграмотных фельд-

шеров. Оно способствовало переходу крестьян от примитивного трехполья к более усовершенствованным формам землепользования, провело широкую агрономическую помощь, и ряд других мероприятий, способствовавших экономическому и культурному благосостоянию крестьянства, в ряду которых важное место занимает содействие развитию сельскохозяйственной кооперации.

Когда в 1870 году правительство подняло вопрос о реформе нашего податного дела и передало этот вопрос на обсуждение земства, почти все земские собрания в один голос заявили, что время податных изъятий и привилегий миновало и что в несении государственных налогов должны участвовать все сословия без изъятия, что пора облегчить неимущих и привлечь к податной тягости состоятельные классы путем введения единого подоходного налога.

Наряду с своими экономическими и культурными мероприятиями земство старалось поднять и личное достоинство крестьян, попавших после реформы 1861 года в положение граждан, так сказать, второго разряда. Оно ходатайствовало об отмене телесных наказаний и настаивало на том, чтобы крестьяне были освобождены от деспотической власти мира, от административной опеки и полицейского произвола и таким образом были бы наделены теми же правами, которыми пользовались остальные граждане империи. Указанная направленность деятельности русского земства на интересы низшего слоя русского общества делает его совершенно своеобразной формой местного самоуправления, параллель которому мы напрасно стали бы искать в самоуправлениях западной Европы и Америки.

Все мероприятия земства подвергались тщательному и подробному рассмотрению в земских собраниях. Распорядительным органом земства было земское собрание, исполнительным — земская управа. Земское собрание получало в докладах и объяснениях управы все данные, необходимые для всестороннего ознакомления и обоснованного обсуждения всех вопросов, касающихся разнообразнейших отраслей земской деятельности. Но помимо того, земские гласные принимали деятельное участие в разных комиссиях и советах при управах и, таким образом, являлись его действительными руководителями. Заседания земских собраний носили строго деловой характер и земства являлись отличной школой для будущих общественно-политических деятелей.

Как-то в разговоре с членами московского губернского комитета земского союза, московский городской голова и член Государственной Думы М. В. Челноков сказал, что ему всегда было страшнее выступать в московском губернском земском собрании, чем в Государственной Думе. «Что бы я ни сказал в Государственной Думе, я всегда мог рассчитывать на аплодисменты нашей фракции, и на то, что на следующий день в газете «Речь» появится статья: замечательная речь московского депутата и т. д. В московском же земском собрании передо мной сидели Шипов, Головин, Кокошкин и многие другие, которые сейчас же бы остановили меня, если бы я сказал какую-нибудь нелепость или даже что-нибудь не относящееся к делу».

Но особенно важными являются те идеи, которые воодушевляли земство. Без преувеличений можно сказать, что во вторую половину 90-х годов Д. Н. Шипов был идейным руководителем всего русского земства, хотя отдельные деятели не всегда и не во всём с ним соглашались. И вот в своих «Воспоминаниях и думах» Д. Н. Шипов пишет: «Я всегда понимал земскую идею, как идею этико-социальную, призывающую всех членов земских союзов к выполнению требований правды и справедливости: требований нравственного долга... земские союзы, по моему убеждению, имеют главной задачей постепенное ослабление исторически сложившейся социальной несправедливости; ...лица и классы общества, в руках которых при существующем социальном строе сосредоточиваются более или менее крупные средства, не могут не признавать своей нравственной обязанности уделять часть своих избытков на удовлетворение потребностей значительной массы населения, страдающей от несправедливо сложившихся социально-экономических условий жизни» (стр. 27, 28).

Высказанные Д. Н. Шиповым положения всегда воодушевляли лучших деятелей руководящего слоя земства — представителей, так называемого, цензового элемента. Но воплощать свои идеи в жизни цензовый элемент мог только при содействии земских служащих, получивших, с легкой руки самарского вице-губернатора Кондоиди, название третьего элемента. Поэтому в высшей степени важными являются настроения земских служащих и те взаимоотношения, которые устанавливались у них с хозяевами земского дела — с земскими гласными и земскими управами.

«Я всегда, — пишет Д. Н. Шипов, — с большим уважением смотрел на работу 'третьего элемента' в земстве, и это

уважение в значительной мере возрастало во мне по мере нашей совместной работы. Большая часть земских работников, особенно те из них, на которых лежали наиболее ответственные обязанности, по своему образу мыслей и настроению принадлежали к русской интеллигенции, в среде которой с семидесятых годов проявлялось и преобладало народническое настроение. Отличительной чертой их настроений являлось народолюбие. Любовь к народу была для них не пустым звуком, а живым деятельным чувством, и они видели в своей земской деятельности исполнение лежавшего на них нравственного долга. В этом именно сознании и заключалась коренная основа нашего взаимопонимания и нашей солидарности в земской работе. Господствующее в это время в среде земских служащих настроение очень верно было охарактеризовано Ф. Ф. Эрисманом в ответном письме его в декабре 1896 года на приветствие земских врачей, посланное ему в Цюрих после вынужденного оставления им кафедры в Московском университете и, одновременно, деятельности в санитарной организации московского земства. Швейцарец по происхождению, Ф. Ф. Эрисман много лет прожил и проработал в России и проникся глубоким пониманием земской общественной среды. Он видел в русских людях людей отзывчивых, с теплой душой, с более широким, чем на западе, взглядом на жизнь, идеалистов, проникнутых желанием работать для других, людей, движимых глубокой верой в торжество альтруистических идей. В конце своего письма он говорит: «Дорогие товарищи, держитесь крепко земской идеи, земского дела, лелейте эту идею, сплачивайтесь всё крепче и крепче во имя ее, храните ее, как зеницу ока, она всегда будет для вас источником радости, она всегда согреет вашу душу, осветит ваш жизненный путь лучезарным пламенем».

«Однообразное понимание управой и земскими тружениками сущности земской идеи, — продолжает Шипов, — сближало нас в нашей работе и являлось в высшей степени благоприятным для нее условием. Настроение, которое при вступлении моем в губернскую управу я застал господствующим среди земских служащих, сохранилось в значительной мере в течение всего времени моей службы в губернском земстве» (там же, стр. 25, 26).

Но такая дружная и согласованная работа двух элементов земства, являвшаяся залогом успешности земской деятельности, была нарушена в конце 90-х и начале 900-х годов вследствие того, что многие земские служащие в значительной ме-

ре подпали под влияние совершенно чуждого русскому духу марксизма. Две идеи марксизма оказались особенно роковыми. С одной стороны представление о том, что исторический ход событий неизбежно приведет к торжеству социализма, вместе с которым наступит всеобщее благополучие, с другой — та идея, что основной движущей силой истории является классовая борьба.

Уверовавшие в близкое торжество социализма широкие круги русской интеллигенции были убеждены, что первым шагом к достижению чаемого всеобщего благополучия должно быть разрушение существовавшего в России политического строя. «К удивлению земцев, — пишет В. А. Маклаков,* — им стали указывать, что главная цель земской деятельности вовсе не в том, чтобы «создавать», а в том, чтобы «протестовать».

На этой почве не могло не создаться разногласия между революционно настроенной интеллигенцией и представителями цензового элемента, которые, несмотря на все ограничения и стеснения, которым подвергало правительство земскую деятельность, всегда стремились к примирению и сотрудничеству с исторически сложившейся верховной властью. Но еще большее значение в указанном разногласии имела теория классовой борьбы.

В земстве этот вопрос еще более обострялся тем, что борьба была не только классовой, но и сословной. Уже по положению 1864 года дворянство имело преобладающее значение в земских собраниях, по положению же 1890 года, если в уездных собраниях мы всё-таки видели немногочисленных представителей крестьян и других сословий, то губернское земское собрание очень мало чем отличалось от обычных дворянских собраний. Дворянство же считалось оплотом реакции.

Но что же в действительности представляло собой русское дворянство?

«Было бы несправедливо, — пишет И. И. Петрункевич, — рассматривать дворянство, как однородную группу, выдрессированную в одинаковых привычках, взглядах и чувствах... Между Львом Николаевичем Толстым, искателем правды и справедливости, и извергом человеческого рода Лениным, принадлежавшими по рождению к одному сословию, — мы видим всю бесконечность нравственных восприятий и чувств, всё добро и зло, свойственные человеческой природе. Перебирая

* «Власть и общественность на закате Старой России», стр. 164.

весь список жертв борьбы за освобождение народа от рабства, от нищеты, от произвола самодержавной власти и произвола ее сателлитов, не трудно убедиться, что за Радищевым и Новиковым тянется целая вереница людей, принадлежавших к дворянскому сословию и окончивших свою жизнь либо на эшафоте, либо в рудниках Сибири, либо в каменных мешках Шлиссельбурга или Петропавловской крепости. И все эти люди, начиная с декабристов, умирали не за свои личные интересы, а за общее благо народа, за обездоленных и угнетенных, бессильных возвысить свой голос и побороть неправду. Такое жертвенное настроение и глубокое сочувствие народной массе не было ни случайным, ни эпизодическим. Напротив, все выдающиеся русские писатели в течение всего XIX века непрерывно и неустанно в своих творениях обращались к разуму и чувству русских людей, указывали им на необходимость разбить цепи рабства и невежества, в которых держали огромную массу крестьянства, и сделать это не во имя тех или иных государственных соображений, а во имя человечности, во имя свободы, равенства и братства.

В настоящее время едва ли можно указать какую-либо партию или профессию, в которой не было бы значительного числа дворян по происхождению. Вот почему, мне кажется, что говорить теперь о дворянстве, как о замкнутой сословной группе, о дворянских традициях, о дворянских стремлениях — значит прибегать к демагогии и выражениям, затемняющим существо дела и решительно ничего точно не определяющим». («Из записок общественного деятеля». Архив русской революции, т. XXI, стр. 211-215).

Конечно, среди дворянства были широко распространены реакционные настроения и среди многих преобладали чисто сословные интересы, но не эти отсталые элементы создавали основные тенденции земской деятельности. Большей частью они были инертны и бездейственны. Главная же работа в земстве падала на лиц, настроенных совершенно противоположным образом.

Потому, как бы высоко мы ни оценивали работу третьего элемента и вообще представителей русской демократической интеллигенции, многие из которых были настоящими подвижниками, мы не должны забывать, что самая возможность их плодотворной работы зависела от тех взглядов и принципов, которыми руководились в земской деятельности представители цензового элемента.

Хотя временами и возникали столкновения и недоразуме-

ния между управами и земскими служащими, всё же приходится отметить, что управы предоставляли значительную свободу и самостоятельность своим служащим и вследствие этого положение земского работника всегда выгодно отличалось от положения чиновника в бюрократических учреждениях.

Устраивая съезды, советы и другие организации, управы содействовали профессиональному объединению служащих и и укрепляли их независимость и самостоятельность. Самый выбор новых работников часто предоставлялся соответственным корпорациям. Относясь внимательно к мнению специалистов, управы делали их непосредственными участниками общей земской работы. Наконец, в борьбе за самостоятельность и независимость земских учреждений управам приходилось тратить немало энергии и сил на защиту служащих от различных преследований со стороны администрации.

Но под гипнозом теории классовой борьбы всё это часто забывалось и постепенно нарушалось то единство в настроении управ и их служащих, которое являлось главным основанием успешности земской работы.

Д. Н. Шипов в своих воспоминаниях только вскользь упоминает об этих разногласиях. «Настроение, которое, при вступлении моем в губернскую управу, я застал господствующим среди земских служащих, сохранялось в значительной мере в течение всего времени моей службы в губернском земстве, но за последние годы, насколько могу судить со стороны, в настроении этой среды произошло, к сожалению, заметное изменение под влиянием получившей большое распространение вообще в кругах нашей интеллигенции идеологии марксизма». («Воспоминания и думы». стр. 25).

Но зато И. И. Петрункевич дает яркую картину происшедших изменений, описывая новоторжское земское собрание осенью 1905 года, когда делегация учителей обратилась к собранию с заявлением, — что учительский персонал не признает компетенции собрания, в котором гласные избраны не всем населением, а сословно, на основании цензов, что поэтому земское собрание не соблюдает народных интересов и не может почитаться уполномоченным на какие-либо решения или действия; что поэтому оно и не может распоряжаться народными деньгами, собираемыми с населения. Ввиду этих соображений, учительский персонал считает наиболее правильным выходом из настоящего положения — передачу ассигнуемых по смете сумм на народное образование в распоряжение учительского персонала, который и представит отчет о расходо-

вании денег не цензовому земскому собранию, а непосредственно населению, как настоящему хозяину уезда.

«Нелепость этого заявления, — пишет И. И. Петрункевич, — меня нисколько не удивила, потому что для всех было ясно, что устами учителей к земству обращается партия эсеров, преследующая свои партийные цели. Но я был очень удивлен, когда к учительскому заявлению присоединились врачи... Мы с полным убеждением могли всегда рассчитывать на поддержку врачей, которые не только в нашем земстве были драгоценнейшим элементом земства, одним из самых твердых устоев местного самоуправления, которому они служили не из корысти и не из страха, а за совесть по любви к своей родине». («Из записок общественного деятеля», стр. 400, 401).

После горячей и убедительной речи И. И. Петрункевича, в которой он показал всю необоснованность и незаконность заявления учителей, земское собрание единогласно отвергло их требования и собрание закончилось мирно. Но описанный эпизод с достаточной ясностью показывает на изменение отношений между управой и служащими.

После 1905 года, вследствие того чисто делового характера земской деятельности, который был свойствен предвоенным годам, мы можем снова наблюдать дружную совместную работу цензового и третьего элементов. Но в 1917 году настроения классовой борьбы обнаружились с необычайной силой. Могу говорить только о том, что происходило в московском губернском земстве, но думаю, что более или менее аналогичное положение было и в других земствах.

В начале ноября 1917 года происходило губернское земское собрание, созванное на основании нового закона, изданного еще временным правительством. Собранию предстояло избрать новую управу. В избрании принимали участие почти исключительно социал-революционеры, так как, по заявлению гласного Мещерякова, большевики отказались принимать участие в работе собрания, где господствовала партия, обагрившая свои руки в крови пролетариата. Меньшевики были в меньшинстве и совсем незначительно было число представителей других партий. В результате была избрана управа из социал-революционеров и только одно место заместителя председателя управы было предоставлено меньшевикам. При этом, конечно, не могло быть и речи о переизбрании кого-нибудь из членов старой управы, т. е. тех лиц, которые обладали навыками общественной деятельности.

Новая управа, приступая к своей работе, повидимому, руководствовалась одним отрицательным принципом — прежде всего порвать с земской традицией и, где возможно, действовать вопреки ей. Результаты такой работы один из старых гласных — сам социал-революционер — характеризовал следующим образом: «Ну что же! Детям попалась в руки дорогая игрушка — они ее и ломают».

Одним из первых актов новой управы должно было стать обращение к населению, в котором она изложила бы свою программу и попыталась бы объединить население в предстоящей сложной и трудной работе. Этой цели должен был служить, издававшийся управой, журнал — «Известия московской губернской земской управы». (Я тогда состоял секретарем редакции этого журнала).

Между членами управы были распределены программные статьи, из которых некоторые, как, например, статья губернского агронома А. Н. Минина, представляли несомненную ценность. Но главный вопрос заключался в передовой. Первоначально написать передовую было поручено председателю управы, но представленная им статья была единогласно отвергнута всеми членами управы. Тогда написать передовую было поручено мне. Я написал ее по следующей схеме: кратко упомянув о прежней деятельности земства, я указал на существенные недостатки прежнего земства — крайне несовершенный избирательный закон и отсутствие исполнительной власти у земских управ. Теперь новым положением эти недостатки устранены, и новое земство, опираясь на всеобщее голосование, будет, конечно, ближе к действительным народным требованиям, а с другой стороны, пользуясь полнотой исполнительной власти на местах, земство будет иметь возможность беспрепятственно проводить в жизнь свои постановления. Таким образом, хотя основная цель земства — способствовать экономическому и культурному благосостоянию населения остается прежней, но эта цель будет осуществляться с бóльшим размахом, и, надо надеяться, с бóльшим успехом, чем это могло достигаться прежним земством.

Моя статья была также отвергнута на том основании, что нельзя говорить что-нибудь хорошее о прежнем классовом земстве. Другого автора для передовой не нашлось, и номер журнала так и не вышел.

Не могу удержаться, чтобы не вспомнить еще один факт. Когда в Петербурге, в больнице матросами были убиты Ф. Ф. Кокошкин (бывший член московской земской управы)

и А. И. Шингарев — всероссийски известный земский деятель, — служащие губернской земской управы постановили отслужить по убиенным панихиду. Панихиду служили в большой зале управы рядом с кабинетом председателя, где в это время происходило заседание управы. Ни один из членов управы на панихиду по «классовым врагам» не вышел.

Всё лето 1917 года русская радикальная общественность только и думала о спасении революции от угрозы справа — мнимой угрозы классовых врагов, а о действительной опасности со стороны большевиков не беспокоилась — ведь большевики были социалистами, а, стало быть, не классовыми врагами.

Катастрофа 1917 года уничтожила земство, как и ряд других ценнейших достижений русской культуры. Но у нас осталась память о земстве, в деятельности которого за весь период его существования, а в особенности за время мировой войны, русский народ как в лице своих лучших деятелей, так в значительной мере и в деятельности широких масс, показал свою способность к плодотворной и самоотверженной работе на общее дело. Работа эта воодушевлялась не эгоистическими классовыми интересами, а идеалистическими побуждениями; и этот идеализм должен быть признан одним из основных свойств всех слоев народа, искавшего правду-справедливость. Основные черты народного характера не могут быть изменены историческими событиями, и на основании отрывочных сведений, идущих к нам из-за железного занавеса, мы можем предполагать, что большевикам всё-таки не удалось сломить основы народного духа, а, следовательно, у нас могут быть и обоснованные надежды на будущее возрождение России. Не будем же угашать в себе этой веры!

М. Поливанов

БИБЛИОГРАФИЯ

THE SOVIET CITIZEN: DAILY LIFE IN A TOTALITARIAN SOCIETY. By *Alex Inkeles* and *Raymond A. Bauer*. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1959. XX, 533 pp. $10.00.

Недавно, в серии монографий Гарвардского центра по изучению СССР, вышел солидный том, озаглавленный «Советский гражданин: повседневная жизнь в тоталитарном обществе». Читатель может предположить, что перед ним еще одна книга на бывшую одно время модной тему — «как в СССР живет Иван Иванович». Но нет: это работа о советском обществе в его прошлом, настоящем и будущем, с упором на прошлое, а именно на состояние его около 1940 г. Это прошлое изображено преимущественно на основании детального и научно точного анализа данных, собранных членами Гарвардского центра в 1950-51 гг. путем опроса около трех тысяч советских беженцев, живших по большей части в лагерях Германии, но отчасти тех беженцев, которые уже успели переселиться в Америку. Возникает два вопроса: 1) может ли такое обследование дать правильное представление о фактах и настроениях в СССР и 2) представляет ли такое обследование интерес в настоящее время, ибо опрашиваемые давали сведения лишь о фактах и настроениях, предшествовавших началу второй мировой войны.

Первому вопросу авторы, А. Инкелес и Р. Бауэр, оба хорошо известные обстоятельными трудами об СССР, посвящают несколько вступительных глав книги. Они вполне признают, что контингент опрошенных лиц не отвечает научным требованиям, обращаемым к «представительному образцу», на основании которого можно было бы с уверенностью судить о целом. Но они утверждают, что большинство выводов совпадают с данными, полученными из других источников, а, главное, оба автора отмечают, что в своей работе они нарочито ставили вопросы так, чтобы ответы не в слишком сильной мере отражали резонно допускаемую ими повышенную враждебность беженцев к советскому строю. Так напр., они не пытались получить ответ на вопрос, каков абсолютный уровень враждебности к советскому строю; вместо этого они исследовали вопрос, как видоизменяется такая враждебность в за-

висимости от социального происхождения опрашиваемых лиц, занимаемого ими положения в обществе, возраста, национальности и т. п. В сопоставлении, во многих комбинациях, ответов разных групп и их отношения к изучаемым фактам заключается неоспоримая ценность работы.

На второй вопрос можно ответить так: основательное знание прошлого необходимо для правильного понимания настоящего и предвидения будущего. Отсутствие такого знания дореволюционной России среди американских — да и большинства западно-европейских исследователей советской жизни — часто в корне подрывало выводы авторов. Но теперь знания дореволюционной России уже недостаточно. Чтобы понять состояние России под Хрущевым нужно знать и понимать Россию сталинских времен. Такому знанию и пониманию труд Инкелеса и Бауэра несомненно служит.

Исследование начинается с установления факта, в котором, после неоднократных признаний Хрущева, нет никаких сомнений: в советском обществе люди расценивают разные формы труда приблизительно так же, как в не-коммунистических обществах; интеллигентный труд явно предпочитается физическому: и даже предпочтение отдельных занятий по степени их «желательности» там, в СССР, мало чем отличается от предпочтения их здесь, в США.

Но вот что интересно: главным фактором, решающим, кто может достичь наиболее желательного положения, является образование; а, несмотря на все изощрения советской власти, дети интеллигентных работников получали, в среднем, гораздо лучшее образование, нежели дети рабочих и крестьян. Таким образом, функциональные группы, наличность которых признается в СССР, на деле превращаются в наследственные. Более детальный анализ показывает, что в коммунистическом обществе, как и в капиталистическом, дети рабочих и крестьян гораздо реже, чем дети интеллигентов, задаются целью занять положение среди интеллигенции.

Как и следовало ожидать, процент лиц, удовлетворенных выпавшей на их долю работой, резко падает по мере спуска от наиболее к наименее желательным занятиям. Так напр., 77% людей интеллигентных профессий (докторов, ученых, инженеров) заявили, что своей работой они были довольны; также были удовлетворены своей работой 62% квалифицированных рабочих, но только 23% неквалифицированных и 12% колхозников заявили, что были работой недовольны.

Классовое расслоение общества, по данным обследования, не успело привести к подлинной классовой вражде. Независимо от

классовой принадлежности, огромное большинство опрошенных находило, что все классы получают от государства меньше, чем заслуживают. Вместо классовой борьбы или между-классовой зависти в обследовании проступило противоположение беспартийных и партийных; термины «мы» и «они», столь характерные для всяких групповых антагонизмов, повторялись очень часто. На вопрос, совпадают ли интересы этих обеих групп, 95% ответило — нет! По мнению беспартийных, среди партийных огромное большинство не верит в партийную идеологию. Среди них можно различить «карьеристов», которые вступили в партию из-за ожидаемых и часто действительно получаемых выгод, и «жертв», т. е. лиц, завербованных в партию в таких условиях, что отказ от предложения вступить в партию был почти невозможен или по крайней мере весьма опасен. По общему убеждению, партийцы причиняют вред населению, но среди них различают таких, которые стараются свести этот вред к минимуму, и других, которые идут напролом. На этом основании население резко различает партийную верхушку от рядовых коммунистов.

Однако далеко не всё в советском строе отрицается. Огромное большинство опрошенных ставит на первое место достижения в области народного образования; на второе место ставится развитие медицинской помощи; на третье — покрытие социальным страхованием почти всех рисков, которым подвергается человек (кстати, такое социальное страхование во много раз лучше проведено в Англии и Швеции). Многие также с удовлетворением говорят о развитии театрального и концертного дела, о громадном увеличении производства сельскохозяйственных орудий и т. д.

Опрос о желательных формах хозяйства в случае крушения коммунизма дал огромное большинство в пользу социалистического хозяйства приблизительно того типа, который был осуществлен при НЭП-е (от 69 до 86% опрошенных). За капитализм высказались от 5 до 28% опрошенных по разным группам, при чем наивысшая цифра выражает отношение к данному вопросу неквалифицированных рабочих, а низшая — интеллигентов. За сохранение государственной собственности на транспорт и тяжелую промышленность высказалось около 86%. Но около 60% настаивало на ликвидации системы колхозов. На общий вопрос об отношении к советскому строю наибольшую враждебность проявили колхозники; в этом настроении естественно проявилась продолжающаяся «колониальная эксплуатация» крестьянства.

Особенно интересны результаты обследования по национальному вопросу. Авторы благоразумно свели свою работу к изучению отношений между великороссами и украинцами, ибо по дру-

гим этническим группам у них не было достаточных данных. Обследование начисто разрушает многие положения, выдвигаемые крайними националистами и сепаратистами. Украинский мальчик имеет ровно столько же шансов получить высшее образование, как и русский; в обоих случаях, как уже было сказано, решающая роль принадлежит социальному положению отцов. Нет никакой разницы в отношении, как русских так и украинцев, к вопросу об огосударствлении многих общественных функций; пресловутый украинский индивидуализм, в противоположность русскому коллективизму, оказывается мифом. Украинские дети так же часто, как и русские, поступают в комсомол. Одинаковая пропорция русских и украинцев признает вредной деятельность Ленина. Это не означает, что среди украинцев нет национального чувства или что отсутствует сепаратизм. Но, по словам авторов, данные обследования не подтверждают мысли, будто Советский Союз — пороховой погреб, готовый взорваться от искры, зажженной ненавистью между национальностями.

Надо помнить, что все выше приведенные данные (которые не покрывают и сотой части фактического материала сообщаемого в книге) непосредственно отражают состояние советского общества в 1940 г. Почти за 20 лет, протекших с тех пор, многое могло измениться и конечно изменилось. Опираясь на изучение обширной литературы предмета, на личные впечатления, полученные авторами от поездок в СССР в 1956 и 1957 гг., и беседы с другими лицами, недавно посетившими СССР, авторы стараются эти изменения учесть и угадать основные линии развития. Они вероятно правы, когда говорят, что после смерти Сталина число арестов радикально сократилось, а бытовые условия заметно улучшились. Поэтому они думают, что антагонизм между властью и населением («мы» и «они») ослабел. Но они однако недостаточно учитывают, что многие из сталинских бесчинств сменились новыми, пожалуй, не лучшими. Сюда относятся напр., «народные дружины», члены которых уже успели заслужить кличку «советских опричников». К тому же, как указывают сами авторы, наиболее ненавистный институт советского строя, коллективизация сельского хозяйства, не только продолжает существовать, но, пока держится строй, и не может быть отброшена.

Авторы заканчивают свое исследование благоразумно неопределенными предсказаниями будущего развития. Они исходят из того положения, что в Советском Союзе действуют две разнородные силы: одна заложена в самой природе тоталитарного общества, другая вытекает из природы индустриального общества, которое выросло в России под покровом тоталитарной диктату-

ры. Новое руководство проявило больше приспособляемости к требованиям жизни, нежели сталинское. Это как будто обеспечивает устойчивость строя на ближайшее время, но отнюдь не гарантирует устойчивость и на долгие сроки. Однако, вопреки господствующему мнению, тоталитарный строй не является абсолютно несовместимым с высоким развитием промышленности. Пишущий эти строки готов с этим согласиться, вспоминая слышанные от П. Б. Струве слова о том, что, вопреки марксистам, капитализм прекрасно уживается и с абсолютной и с конституционной монархией, и с демократией. Но справедливо и обратное положение: вопреки мнению многих пессимистов, индустриальное общество отнюдь не обречено на превращение в тоталитарное.

Возвращаясь к труду Инкелеса и Бауэра, стоит отметить, что, по их мнению, радикальные перемены могут произойти в Советском Союзе или на почве проблемы преемства власти, которое не непременно же будет разрешаться так же благополучно для коммунистического господства, как это случилось после смерти Ленина, а затем Сталина; или на почве распада советской империи (авторы не говорят, при каких условиях это могло бы произойти), или вследствие «эрозии диктатуры» на почве объективно все повышающихся требований эффективности, трудно достижимой при диктатуре сложившегося в СССР типа. Но все это — только возможности, отнюдь не исторические необходимости. В существование последних современное обществознание больше не верит.

Н. С. Тимашев

РОМАН ГУЛЬ. АЗЕФ. *Исторический роман. Изд. «Мост». Нью Йорк.* 1959, 320 стр. **Printed by Rausen Bros. New York, N. Y.**

От чтения «Азефа» трудно оторваться по многим причинам. Помимо художественности изображения волнует другое: прошлое обернувшееся настоящим. Азефы, бывшие тогда, в начале века, исключением, теперь, измельчав, стали «ширпотребом». Книга предельно современна. Но на первом месте в романе не Азеф — а Савинков. Это он у «Яра» ритуально перечеркивает слово «любовь» словом «смерть»: паролем грядущего. У революционеров «нет жизни такой, как у всех». Террористка Дора так и говорит: «А разве для нашего дела надо быть веселой?». Пути убийц — пути тоски. Живое изгнано. Вот почему они боятся «размякнуть» от мирной жизни. Путь этих людей, «особой породы бездомников», Р. Гуль проследил подробно, от завязи до плодов. И против этих путей в душе Веры — жены Савинкова, звучит тот же тайный протест, как и в «Докторе

Живаго» Пастернака: «Человек рождается, чтобы жить, а не готовиться к жизни». Но такие, как Савинков, как Азеф, родились, чтобы убивать. Для них это азартная игра. Савинков о благе «вшивого мужика» не думает. Будучи реалистом, знает, что живой, не книжный народ, никогда не оценит жертвы революционеров. В «земной рай», которого ждут романтики революции, не верит. В борьбе за новое хочет участвовать «для себя». Сазонов, Каляев жертвуют жизнью для отвлеченных Петров и Иванов, Савинков во главу угла ставит свою личность. Ему просто радостно «идти и бить».

У Р. Гуля есть замечательная фраза: «Сокольничий парк видел несчастия и счастия. Но *этих* людей видел в первый раз». Под своды парка пришел новый человек, переставший быть человеком. Все законы божеские и человеческие как бы вывернуты наизнанку. Вот идут убивать метальщики бомб. «Это была святая минута Ивана Каляева и Егора Сазонова». И в другом месте: «Каляева оскорбили в заветном, оттолкнули от дела жизни, от убийства во имя России, во имя любви Каляева к людям». «Террор — дело святое», говорит и теоретик партии Чернов. Савинков думает о Каляеве: «Спит, наверно, счастливый ребенок, и видит во сне смерть министра». И еще: Каляев похож на «истомленного постом монаха», на «отрока св. Сергия». Другого дела, как отдать жизнь» у революционеров типа Каляева быть не может. Но путь этот не имеет ничего общего с дорогой настоящего святого. И ложность путей Каляева обнаруживает Савинков: «Ведь вот этого лакея, который нам подавал, ты не любишь? Ты жертву свою любишь!..». Это и есть любовь к дальнему, но не Христова любовь. Разговор Каляева с Савинковым в неизбежном трактире, — это разговор новых «русских мальчиков», — сыновей героев Достоевского. Даже перед смертью Каляев думает только о революционной пропаганде. Говорит, что умирает за людей. В письме к матери пишет о «торжестве моего духа». Отстраняет крест.

Одержимость Каляева несомненна. Но она иного рода, чем одержимость его друга, Савинкова. Разное смешано в революции. Каляев гибнет, не зная, что настоящие сыны бунта не такие, как он, а Савинковы и Азефы. Недаром Савинков, никого не предавший, бросает: «каждый революционер — потенциальный провокатор».

Кроме людей, автор дает и дух и стиль новой эпохи. Он — во всё ускоряющемся кинематографическом ритме повествования, в коротких главах, переносящих нас с одного конца мира в другой; в таком изображении ресторана: «Сидели фраки, декольте, смокинги, сюртуки, поддевки». В замене лица — «поддевкой» тоже современное. Читая описание сцены в отдельном кабинете, вспоминаешь Блоковскую «Незнакомку». И подспудно, за всем этим — тоска.

Проследим же путь главного героя — (хотя роман и носит другое имя) Савинкова. Сначала убийство является только томящей мечтой, волнующей кровь эстетствующего барчука. Он думает о выстреле и «чувствует необыкновенное захватывающее волнение». Ему мерещится «выход на сцену, залитую миллионами глаз». Савинкову нет дела не только до народа, но даже до партийных теорий социалистов-революционеров. Ему нужны только сильные ощущения. В этом его связь с страшным другом — Азефом. Всё начинается с литературы. Первый рассказ Савинкова «Тоска по смерти» символичен. Убивать он пойдет от тоски, от скуки, той скуки, что еще томила Печорина, о которой в наши дни писал Бернанос: «Мой приход снедаем скукой, (вот настоящее слово!) как и многие другие. Скука их гложет на наших глазах, а изменить что-либо не в наших силах. Быть может, когда-нибудь зараза коснется и нас, и мы тоже ощутим эту раковую опухоль». — «Ни в рай на земле, ни в рай на небе не верую. Но я хочу борьбы», говорит Савинков. Но «борется» Савинков «не во имя чего».

Убийство Плеве — второе рождение. Когда в бане, после убийства, банщик говорит Савинкову: «Ваше время вышло», Савинков понимает эти слова, как знак. То «время», когда еще можно было передумать, отказаться, уйти — навеки «вышло». Всё завершено. Богооставленность. Одиночество. На живое идет мертвое, «отвлеченное», так говорит Пастернак.

Первое убийство для Савинкова — тяжелый этап. Он так меняется, что друзья его не узнают, а он сам смутно догадывается: «убить трудно». «Метафизическая ерунда», оказывается существует, и после убийства «кроме радости, пришло что-то новое». Он еще мечется, ищет поддержки у жены, пишет ей с предельной искренностью, что «тоска по ней сильнее любви к ней». Убийство Плеве что-то в нем навеки надломило: «После убийства я узнал что-то, чего до убийства не знал». Но это не чувство греха, а освобождение от греха. Он уже по ту сторону добра и зла. Но больше нет своей воли. Его «категорический императив» — воля «Боевой Организации». Словно что-то вошло в него, подменило. Здесь автор очень тонко касается одержимости наступающей за опустошением, того, что Георгий Иванов определяет:

Словно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.

Если у Каляева за террором мерещится «рай земной», то у Савинкова одно: «наплевать!». Человечество — неопределенный миф. Важна сильная встряска, игра со смертью. Но он всё же долго носит в себе убитого Плеве, пишет о нем стихи под Андрея Белого, завидует Азефу, у которого вместо души «революционная

машина». Подсознательно Азеф становится «героем» писателя Савинкова, тем твердо-каменным, положительным героем, которого тщетно ищут советские авторы, не догадываясь, что герой уже найден, что это знаменитейший провокатор 20-го века.

Р. Гуль шаг за шагом прослеживает скольжение по откосу Савинкова, его постепенное «схождение с ума». Обо всех последующих убийствах, вплоть до убийства Татарова, Савинков думает уже спокойно, со вкусом. Анализирует собственные чувства: «Вот этого большого человека убью за то, что гадина, за то что глуп, за то что бездарно накрутил пестрый галстук, убью, как быка». С неумолимой логикой развивается путь Савинкова от неопытного революционера до опытного убийцы, который во время допроса Татарова небрежно чертит «женский кудрявый профиль».

После конституции Савинков насмешливо смотрит на Чернова, говорящего, что террор «придется засолить впрок». Самому же ему в мирные дни делать нечего. «Мы отдали жизнь террору». Красные полотнища, ветер, музыка революции... Эстетически Савинков зачарован этим. А с массами «объединяет кровь». Он уже далеко ушел от первого смятения после убийства Плеве. Напоследок ему хочется «хоть жандарму Тутушкину всадить последнюю пулю». Пусть бедный жандарм из мужиков. «Хоть народ, да не тот!». И одновременно всё в мире стало «чужим». «Кажется, есть только смерть и время. Не знаю, что бы я мог делать в мирной жизни?». Здесь хочется провести параллель между Савинковым и Стрельниковым Пастернака. То же «возвышенно-отвлеченное» начало вошло в их душу и «обесцветило» ее. И тому и другому осталось лишь самоубийство. Разрыв с женой показателен. Вера для него то же, что Даша для Ставрогина, но Вера сиделкой при безумном быть не хочет. А для Савинкова в размеренной семейной жизни «растет скука». И Савинков уходит в литературу. В герое-убийце, который должен «плюнуть в лицо человечеству» он временно думает, что рисует себя. Но «гений и злодейство — вещи несовместимые» и его роман, отрывки из которого приводит Р. Гуль, — эстетствующая пошлость. Убийство стало «интересным спортом». А бедная наивная Вера мечтала войти «в его прекрасный духовный мир»! И, уходя, Вера ему бросает: «Не только меня не любишь, ты убиваешь меня». Но кровь теперь для Савинкова только «красный клюквенный сок». Автор вплотную подводит героя к предельному опустошению. Узнав, что Азеф — провокатор, что из за него и он бы мог болтаться на виселице, Савинков гибнет не только в своих глазах, но и в глазах боевиков. Он больше даже убивать не способен. Его самого убивает сознание, что герой его романа, который должен был «плюнуть в лицо человечеству», не он, конечно, а Азеф.

Сам же Азеф, чьим именем назван роман, это уже в самом деле новый человек. В Савинкове есть дух товарищества, порою даже жалость — не захотел позволить беременной женщине метать бомбу, Азеф просто машина, идеально и расчетливо работающая в свою пользу. Савинков с течением времени меняется, Азеф, который, правда, уже дан сложившимся человеком в начале романа, остается неизменным. Чем привлекла его роль провокатора? Деньги ли были на первом месте, сознание ли неограниченной власти, страсть ли игрока, которому грозит ежеминутная гибель? Ответа на это автор не дает. Но если Савинков согласен заплатить за «игру» головой, то Азеф прежде всего любит свое тепленькое местечко и безопасность. Внешне он дан превосходно. У него красные губы, как у вампира. Вперед идущий живот, перемалывающий чужие жизни. Тоненькие ножки труса. Более убийственной картины подпольного быта трудно придумать. И сочувствуешь жене Савинкова Вере, которая сердцем не приемлет революцию и ждешь, как она, чтобы снова открылась «форточка в милостивое чудо прежних дней».

Екатерина Таубер

СТИФЕН ВИНСЕНТ БЕНЭ. ДЬЯВОЛ И ДАНИЭЛЬ ВЕБСТЕР и др. рассказы. *Изд. «Чайка», Нью-Йорк. 1959.*
Printed by Rausen Bros. New York, N. Y.

Эту книгу можно рассматривать как попытку дать советскому читателю образец американской литературы, не прошедший через цензурный стерилизатор советского перевода. Издание книги было приурочено к Американской выставке в Сокольниках. И — помещенная среди американских книг — она избегла участи некоторых изданий, как например, последняя книга стихов Георгия Иванова, выпущенная «Новым Журналом», на выставке в Москве тут же изъятая советскими властями как «декадентская». Все 12 экземпляров отчетной книги, выставленные в Сокольниках, не замедлили вскоре исчезнуть с выставки — надо думать, нашли путь к советскому читателю.

Для русского перевода выбор Бенэ, писателя почти неизвестного в СССР, надо признать удачным. В целом удачны и переводы. Почти всем авторам их удалось сохранить «художественную тождественность» (выражение Романа Ингардена) рассказов Бенэ, прозу которого переводить почти так же трудно, как поэзию. Так «коронный» рассказ книги «Дьявол и Даниэль Вебстер» в превосходном переводе Ольги Анстей не потерял почти ничего из своей первозданности и скульптурной изобразительности.

Анстей сумела верно передать не только содержание рассказа, но и его ритмический и звуковой рисунок, его колорит, даже его интонационный лад. Анстей нашла подходящий эквивалент и для диалога (порой очень своеобразного) и для архаических выражений и для метких образов-характеристик незаурядных персонажей Бенэ. Переводчица постаралась сохранить и приемы «сказа», которыми так умело пользуется автор.

Очень удачен и перевод Николая Моршена («Счастье О'Халлорана»), осложненный игрой на англо-ирландских речевых элементах и фольклорных мотивах. Моршен не только ничего не «отнял» у оригинального произведения, но умудрился даже кое-что добавить, как, например: «первый раз в жизни я делаю работу смертных, и ни одного живого места на мне нет!» — здесь добавлена антитеза, без нарушения идиоматичности и верности перевода. Моршен полноценно передает ритмическую и красочную прозу Бенэ, насыщенную «инструментовкой на согласных» и оригинальной образностью. Вот пример: «Ему здесь всё было как хлеб насущный: и голые рельсы, ползущие по голой равнине, и суетливое покашливание топившихся дровами паровозов, и холодные, слепые глаза убитого в драке, устремленные на звёзды прерий». — «Временами он, казалось, отдал бы всё золото Америки за один глоток клонмелльского воздуха, за клочок клонмелльского неба». В последней фразе «glimpse» оригинала заменен «клочком», чтобы сохранить игру на согласных.

Хорош перевод и Владимира Маркова, хотя ему и не удалось в большинстве случаев воспроизвести тот народный негритянский говор с его морфологическими и синтаксическими особенностями, на котором говорят главные герои рассказа. Однако Марков старается не нарушать ритма прозы Бенэ, сохраняя его повторы и концовки и последовательность ритмических единиц. Но в своем переводе Марков достигает самого главного для художественного произведения: эмоциональной реакции читателя.

Не так удачен перевод рассказа «Яков и индейцы», сделанный М. Железновым. Всякая критическая оценка субъективна, но мне кажется, что «художественная тождественность» рассказа Бенэ в этом случае не сохранена. Мне думается, переводчик снизил тон рассказа и наложил на него слишком сильный отпечаток своего собственного стиля. Так, к словам «чума, новый герцог» переводчик добавляет «то, другое, пятое, десятое», отсутствующие в оригинале; «Honeymouthed» переводит как «красноречивый и прекраснодушный», girl's face как — «смазливое женское личико» и др. Невнимателен переводчик и к ритмическому рисунку прозы Бенэ: он не передает повторов и эффектных концовок, умело варьируемых

автором. Иногда в переводе опущены целые фразы и даже образы, как, например, сравнение героя с «юным Давидом» (на стр. 61), впоследствии снова всплывающее в рассказе и имеющее не только смысловое, но и символическое значение.

Особняком стоит последний рассказ рецензируемой книги — «Епископ и его нищий». Перевод сделан не совсем уверенной рукой. Но есть в нем и несомненные удачи, к которым надо причислить в первую очередь диалог, переведенный индивидуализированным языком нищих, бродяг и других персонажей. А диалог всегда особенно труден для перевода.

Об искусстве перевода в последнее время написано много книг на разных языках, и ни в одной из них нет верного «рецепта» удачного перевода. Муза переводчика не менее капризна чем все другие музы. «Художественный перевод предполагает и идеальное присутствие оригинала, и его физическое отсутствие», говорит проф. Поджиоли в книге, посвященной переводу, изданной недавно Гарвардским университетом. Переводчик должен быть и поэтом (хотя бы и не самого высокого ранга), и психологом, и историком литературы, и лингвистом, и критиком, и... «алхимиком», а кроме того ему должно «везти», говорит Дадли Фиттс в той же книге.

В целом книга читается с большим интересом и дает представление о творчестве одного из самых выдающихся поэтов и писателей современной Америки.

Зоя Юрьева

ПРОФ. А. А. БОГОЛЕПОВ. ЦЕРКОВЬ ПОД ВЛАСТЬЮ КОММУНИЗМА. Мюнхен, 1958.

Цель работы, как пишет автор, это — посильное уяснение нового исторического явления — положения христианских церквей в коммунистических государствах. И так как впервые эти отношения, как образец, сложились в СССР, то особое внимание уделяется автором взаимоотношениям этих двух организаций в СССР. В основном не надо забывать, что как бы ни слагались взаимоотношения коммунизма и церкви, коммунизм, пытаясь быть целостным материалистическим мировоззрением, которое в сознании людей должно занять место религии, всегда относился резко отрицательно к церкви и, в конечном счете, стремится к полному уничтожению религии, пользуясь для этого как государственным законодательством, так и прямым насилием.

Автор рассказывает, как в течение первых 25 лет существования советской власти, между церковью и государством шла непрерывная борьба. Выдвигая принцип своей аполитичности, провозглашенный патриархом Тихоном, церковь пыталась обеспечить хоть некоторую самостоятельность религиозной жизни, советская же власть стремилась всецело подчинить церковь своим интересам. От митрополита Сергия она, наконец, добилась прямой поддержки, как власть якобы общенародная и национальная. Вместе с тем установился контроль правительства над церковью, выражающийся в подборе личного состава клира.

Особое внимание автор уделяет тому положению Церкви, которое создалось во время второй мировой войны и нашло себе законодательное выражение в «Положении об управлении Русской Православной Церкви», принятом на Московском Соборе 1945 г. Здесь особенно ярко раскрывается та ложь, с которой мы встречаемся во всех областях советской политики. Нуждаясь в поддержке Церкви в том тяжелом положении, которое создалось для власти и государства во время войны, советская власть внешне пошла на большие уступки. Церковь получила стройное иерархическое управление, носящее явно централистический характер. Главной движущей силой является Патриарх, которому предоставлены чрезвычайно широкие полномочия. Признав права Патриарха по отношению к епархиальным епископам, Положение наделяет епископов правами власти по отношению к настоятелям приходов, а настоятелям приходов предоставляет право руководства и контроля жизнью прихода. Церковь получила свободу в совершении богослужений. Но создав видимость самостоятельности Церкви, советская власть установила порядок, обеспечивающий подчинение деятельности церковных учреждений целям советского правительства. Это подчинение осуществляется системой государственных контролирующих органов как в центре, так и на местах. В центре, еще при Совете народных комиссаров был образован Совет по делам Русской Православной Церкви, а на местах — введены особые уполномоченные. Вместе с тем, под видом регистрации штампа и печати было установлено утверждение в должностях всех деятелей церкви государственной властью.

При этой кажущейся самостоятельности Церкви советская власть требует от нее сотрудничества во всех своих мероприятиях. Здесь Патриарх Алексий проявил себя последовательным проводником этой новой политики. В особенности ценной для советского правительства была его энергичная поддержка, так называемой, борьбы за мир. Это было тем выгоднее власти, что акция эта переходила в область международных отношений. Принимая деятельное участие в всемирных ассамблеях мира и в сессиях Всемирного

Совета Мира, представители московского Патриарха тем активно поддерживали советскую международную политику. При этом особенно тяжелое впечатление производит то, что московская патриархия пытается дать религиозное обоснование своей тактике. «Правда христианской жизни, говорил митрополит Николай, может осуществляться в разных социальных условиях. Но легко заметить огромную близость социальной правды нового строя жизни нравственным понятиям христианства, и никак невозможно установить их связь с социальной действительностью капитализма».

Таким образом, мы видим, что новое положение в действительности привело церковь к полной зависимости от власти. Внешним проявлением такого порабощения является официальное отрицание наличия гонений и выражение благодарности советскому правительству за благосклонное отношение к церкви. А в речи Патриарха Алексия в день похорон Сталина было высказано даже чувство не только благодарности, но и горячей любви к умершему.

Автор отчетной книги не ограничивается рассмотрением положения Церкви в СССР, но подвергает тщательному анализу и проблему взаимоотношений Церкви и государства в странах «народных демократий». В каждой из этих стран борьба между церковью и государством имеет некоторые своеобразные черты, но везде, несмотря на официальное прокламирование свободы внутреннего управления Церкви, в действительности, эта свобода превращается в свою противоположность — в подчинение церковного управления и всего состава клира коммунистическому правительству. И тем не менее автор в заключение пишет: «Констатирование тех тягостных уступок, на которые были вынуждены идти христианские церкви, не может изменить того факта, что население в Советском Союзе получило и в народных демократиях сохранило благодатную возможность молиться и слушать Слово Божие. Пусть в стесненных условиях, с крайне ограниченными возможностями и даже с унижением, церкви все же продолжают жить и развивать свою деятельность под коммунистическим режимом, привлекая в свои ряды не только пожилых людей, но частично и молодежь. Стойкость верующих принудила коммунистическую власть признать существование церквей, и одним своим существованием церкви подрывают материалистическую идеологию и антирелигиозную тактику коммунизма».

Думается, что обстоятельная книга проф. А. А. Боголепова вполне достигает цели, которую поставил себе автор. Эту книгу можно смело рекомендовать всем желающим ознакомиться с правдивым положением Церкви в коммунистическом государстве.

М. Поливанов

STANISLAVSKI'S LEGACY. A Collection of Comments on a Variety of Aspects of an Actor's Art and Life by Constantin Stanislavski. Edited and translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. Theatre Arts Books. New York. 1959.

Известно, что К. С. Станиславский оставил после себя большой и ценный материал: его статьи, заметки, записанные речи, воспоминания, письма. Он умер в 1938 году. Из этого материала Элизабет Рейнольдс Хапгуд, близкий друг К. С. и переводчица его книги «Работа актера над собой», выбрала наиболее ценное, что характеризует К. С., как актера, театрального режиссера и человека. По мысли составительницы и переводчицы книги эти статьи, речи, письма должны показать широкой театральной публике то, что было главной идеей Станиславского в искусстве и то, что он сам называл «духовным натурализмом».

Влияние Станиславского на мировой театр было сильно при его жизни. Оно продолжается и после его смерти, в особенности в Англии и Америке. Так называемому «методу» Станиславского следуют почти во всех театрах мира и тем более в театральных школах. Но к сожалению очень часто за «метод» Станиславского выдается многое ему совершенно чуждое. И именно поэтому книга Э. Рейнольдс Хапгуд «Наследство Станиславского» чрезвычайно ценна для всех людей театра. Она показывает живого настоящего Станиславского и его подлинное понимание, как театрального искусства, так и искусства вообще. В этом смысле очень интересны главы: «Что такое гротеск?», «Спор с декоратором», «Искусство актера и искусство режиссера», «Разговор за кулисами», «Типы актеров» и многие другие.

Конечно, книга «Наследство Станиславского» предназначена главным образом для людей театра. Всё что думал, писал и чем жил Станиславский, всё было — театр. Вне театра Станиславского не существовало. И тем не менее многие главы книги, такие, например, как «Воспоминания о Чехове» с большим интересом прочтутся всяким читателем. Здесь вырисовывается образ Станиславского, как человека. Интересно здесь, например, искреннее признание Станиславского, что вначале он Чехова не понял и не оценил. И лишь впоследствии он не только оценил, но «обожал» автора «Чайки» и «Вишневого сада». В этих воспоминаниях и в Станиславском и в Чехове читатель увидит одинаково привлекательную черту характера — скромность больших людей.

Книга «Наследство Станиславского» прекрасно переведена, что и не удивительно. Элизабет Рейнольдс Хапгуд талантливая и опытная переводчица со многих европейских языков. В ее переводе с русского вышла книга А. Л. Толстой о Льве Толстом (по русски

книга называется «Отец»), с немецкого ей переведены — Томас Манн, Карл Цукмейер, Эрнст Лотар и другие. Издана книга скромно, но хорошо, со вкусом. Может быть небезинтересно отметить, что сюда дошел отзыв сына К. С. Станиславского об этой книге, как об очень ценной и сожаление его, что такой книги еще нет на русском языке.

Варвара Булгакова

«ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ». Альманах под редакцией Р. Н. Гринберга. Нью-Йорк. 1960. Printed by Rausen Bros. New York, N. Y.

На почетном месте в «Воздушных Путях» печатаемая впервые полностью «Поэма без героя» Анны Ахматовой. По собственным словам Ахматовой поэма написана «симпатическими чернилами». На советы сделать её более понятной Ахматова в предисловии отвечает «ни изменять, ни объяснять её я не буду. Еже писах — писах». Конечно, не в короткой рецензии разбирать эту поэму. О ней будет наверное ещё много разговоров. Лично у меня нет сомнения: стихи не часто так ощутимо передавали биение человеческого сердца и тоску об умерших. Эта трагическая поэма — одно из замечательных произведений русской поэзии двадцатого века. Появление её за рубежом — событие, может быть, не меньшее, чем появление «Доктора Живаго». В предисловии от редакции указывается, что поэма печатается в альманахе без ведома Ахматовой.

Кроме ахматовской поэмы в альманахе помещены ещё превосходные стихотворения Димитрия Кленовского, Николая Моршена, Игоря Чиннова и ряд статей. По замыслу редактора «Воздушных Путей» Романа Гринберга весь альманах посвящён Борису Пастернаку. В редакционном предисловии говорится, что альманах назван «подобно одному давнему его рассказу, чтобы подчеркнуть мнимость преград, тщетно возводимых между нами на земле».

Всего в сборнике двенадцать статей. Они почти все говорят или непосредственно о Пастернаке или в связи с его творчеством о значении искусства, о судьбе человека, о кризисе культуры. Каждая приглашает к раздумью и спорам.

Разбирать все эти статьи у меня нет, к сожалению, возможности. Пусть простят меня те авторы, чьи статьи не вызывают у меня возражений общего характера. Скажу только, я нашёл в них много нового и интересного. Это: «О непереводимом» Владимира Вейдле, «Из заметок о мастерстве Бориса Пастернака» Глеба Струве, «По литературным адресам поэта» Веры Александровой, «Стихи русских прозаиков» Владимира Маркова.

Георгий Адамович в «Темах» продолжает начатую им в «Опытах» борьбу против всего «враждебного поэзии»: ходулей, сентиментальности, иронии, фокусничества, излишних «имажей», неоправданных метафизических притязаний и т. д. Трудно преувеличить воспитательное значение этой чистки. Но когда всему недопустимому в поэзии Адамович противопоставляет свой положительный аскетически-строгий идеал поэтического искусства, этот идеал можно принять только с оговоркой, что он не единстсвенно возможный. Попытка, руководствуясь им, составить антологию мировой поэзии привела бы к немыслимым исключениям и перестановкам. Юрий Иваск, поэтому, совершенно прав, когда тут же в «Воздушных Путях» в статье «Возможность поэзии» заступается за русских «барóчных» поэтов. На Парнасе царствуют, каждое в своём «бесконечном одиночестве», произведения поэтов разных школ, а не та или другая академия.

Марк Вишняк в большой статье «Человек в истории» говорит о истории в религиозном сознании и о истории в «Докторе Живаго». Точка зрения автора мне чужда. Но статья его не только чрезвычайно интересна. В ней подкупают так редко встречаемые в публицистике русской радикальной интеллигенции трагическое чувство жизни и терпимость к чужой мысли. Это особенно порадовало в статье такого страстного полемиста, как Марк Вишняк.

Больше всего мыслей и возражений вызвала у меня блестящая и глубокая, но ошибочно, по моему, направленная статья Фёдора Степуна «Современность и искусство». Созданный Степуном совместно с Фондаминским и Федотовым «Новый Град» был самой близкой мне в эмиграции «духовной семьёй». Но я всегда думал: «Новый Град» должен сделать выбор: или зловещий путь «Нового средневековья» или тот путь веры в творческую эволюцию, в прогресс и встречу «мистики» и «техники», на который указывали Бергсон, Уайтхэд, Тейяр де Шарден и столько других учёных и мыслителей Запада, а в России Фёдоров и Циолковский. Из всех участников «Нового Града» именно Степун был ближе всего к этому второму пути, единственно, по моему убеждению, правильному. Тем досаднее удивили в статье старого вдохновенного бойца за человеческое дело преувеличенные и несправедливые обвинения против современной научно-технической революции, которые вот уже полвека повторяются философами и поэтами, напуганными наукой двадцатого века, ставшей, по выражению Валери, «первой загадкой в мире».

Самая яркая и «взрывчатая» статья в сборнике — «Ignorantia est» Николая Ульянова. Это страстное и гневное обвинение против русской интеллигенции. Если бы Ульянов ограничился критикой интеллигентских идеологий, я не стал бы ему возражать. Во многом он продолжает справедливый, по моему, пересмотр начатый «Веха-

ми». Но вот в чём трудно с Ульяновым согласиться. Он не хочет видеть, что под шелухой убогого «базаровского» миросозерцания «орден русской интеллигенции» был в сущности особой христианской сектой. «За Лавровым, за Боклем, явно стоит образ другого Учителя, зовущего на жертвенную смерть» — писал Федотов. Ульянов утверждает прямо противоположное: «не христовым миром там мазали». Какое из этих двух утверждений правильно? У тех, кому, как мне, посчастливилось присутствовать при попытке Фондаминского-Бунакова воссоздать орден в эмиграции, не может быть сомнения. Напомню слова К. В. Мочульского: «Если Дух Святой есть любовь к ближнему и милосердие, жажда правды и справедливости, то, верим мы, русская мысль никогда не была виновна в хуле на Духа».

Горький смех Ульянова производит сильное впечатление, но иногда трудно понять над чем он иронизирует. Так он пишет: «прибавьте к этому всевозможные «алтари всемирного чувства», мечты о нерасторжимой связи соединяющей человека с космосом, о красоте наполняющей космос, о божественном достоинстве человеческой личности, чтобы хоть сколько-нибудь представить тот бредовой романтический мир, что возник между Моховой и Маросейкой».

Если эта мечта о связи человека с космосом и о божественном достоинстве человеческой личности — бред, то тогда бред и вся европейская культура, которая именно из этой мечты выросла. Не было бы этой мечты не было бы и того европейского начала, которое Ульянов противопоставляет утопизму и максимализму русской интеллигенции. Тут он неожиданно перекликается с Марком Вишняком, только тот противопоставляет умеренность западной мысли крайностям не радикальной интеллигенции, а русских религиозных авторов.

После войны в обескровленной и потрясённой Европе действительно, временно восторжествовали пессимизм и скептическая консервативная мудрость. Но Ульянов и Вишняк, мне кажется, ошибочно ретроспективно приписывают эту острожную мудрость всему прошлому Запада. Так не всегда было. Европейская цивилизация, с её динамизмом и с её мессианством, универсалистическими и прометеевскими устремлениями, в своих истоках вдохновлена совсем другим духом. Неслыханный темп и размах научной и промышленной революции наших дней лучшее тому свидетельство.

Юлий Марголин в статье «О Боге великом» рассказывает о своём пути к религии. Каждый, кто мучается раздумьями о вере, прочтёт эту статью с вниманием. Она искренне написана и за ней чувствуется настоящий опыт. Но теоретические рассуждения Марголина мне кажутся спорными. Если ещё вчера экзистенциалисты и

марксисты могли считать, что окончательно разоблачили «мистификацию» философии Бергсона, то сегодня уже наблюдается возвращение к ней интереса. Марголин отвергает бергсоновскую критику идеи небытия. Совсем недавно Габриель Марсель, философ очень чуждый Бергсону, заявил, что как раз в этом вопросе позиция Бергсона была образцовой.

Последняя в альманахе статья — заметка Эрге «В общих чертах». Это интересное короткое введение к пересмотру старого спора о России и Западе. Теперь, когда на мир уже легла огромная тень Китая, спор этот актуальнее, чем когда либо. Можно только пожелать, чтобы Эрге продолжил свои мысли и его инициатива вызвала бы широкое обсуждение.

Особняком стоит в альманахе статья Льва Шестова, написанная им ещё в 1899-м году, но прежде нигде не напечатанная. Статья о Пушкине. Она удивит читателя, знающего Шестова только по его поздним книгам. Бесконечно далёкая от торжествующего в современной европейской литературе догмата абсурдности мира и безнадежности, статья эта, проникнутая детски-простодушной верой в жизнь и в победу добра, оставляет необыкновенно радостное и светлое чувство.

Общее впечатление от «Воздушных Путей»: такого насыщенного идеями сборника давно уже не появлялось в эмиграции.

В. Варшавский

ЕЛЕНА РУБИСОВА. «НЬЮ ИОРК». *Париж. 1958.*

Это было давно. Ту незабываемую зиму мы, т. е. Георгий Иванов и я, проводили вместе с Верой Николаевной и Иваном Алексеевичем Буниными в Жуан-лэ-Пен, в Русском Доме. Был февраль и закатный час, когда вечно лазурное средиземноморское небо вдруг неожиданно расцветает красными и белыми розами, похожими на розы, переполняющие сад. Я вышла из дома. Иван Алексеевич стоял под пальмой, такой же прямой и стройный. У Ивана Алексеевича была особенная, очаровательная манера издали узнавать знакомых. Его внимательные, зоркие глаза останавливались на вас, и он так приветливо улыбался, будто чрезвычайно рад этой встрече. И хотя вы сознавали, что дело совсем не в вас, а в нем, что со всяким другим встречным знакомым он был бы сейчас так же любезен, блестящ и остроумен, вам все же не удавалось победить чувство удовольствия, похожего на гордость, и каждая встреча с ним, даже самая мимолетная, превращалась в своего рода событие.

Но в тот день он как будто не замечал меня. Он задумчиво смотрел на поднимавшиеся на горизонте снежные вершины Альп. Я подошла и стала рядом с ним. Я постояла с минуту в нерешительности и уже хотела молча ускользнуть, когда он, не поворачивая ко мне головы, спросил: — «Вы читали «Белую Республику» Рубисовой? Как она хорошо и верно описывает все это». — Он надвинул на лоб свою круглую каракулевую шапку и прибавил, со свойственной ему безапелляционной убедительностью: — «Это прелестно и странно. И сколько поэзии. Прочтите непременно. Вам понравится. Вам очень понравится».

Так (хотя я тогда и не прочла «Белой Республики») имя Рубисовой осталось для меня навсегда связанным с средиземноморским закатом, снежными вершинами Альп и пальмой, под которой Иван Алексеевич Бунин сказал: «Прелестно и странно. Вам очень понравится».

И теперь, через десять лет, когда я, наконец, прочла не только «Белую Республику», но и все остальные рассказы недавно вышедшего сборника Елены Рубисовой «Нью-Йорк», я вижу, что Иван Алексеевич был совершенно прав. Да, мне очень понравилось. Да, прелестно и странно.

Странная прелесть, прелестная странность. Прелесть и странность переплетаются на каждой странице. Под пером Елены Рубисовой звуки, шорохи, запахи, краски, чувства и предчувствия перекликаются, отвечают друг другу, сливаясь в целостную гармонию. Внутренний мир, как свет, как морская волна, широко разливается, затопляя внешний мир. Он так же ясен и понятен. И в то же время так же непроницаем, герметически заперт, так же недоступен пониманию, как и внешний мир.

У Елены Рубисовой свое оригинальное и неожиданное ви́дение мира, почти лишенное реальности, свой какой-то «философский взгляд на мир». Она незаметно создает особую связь между людьми, животными и предметами, переводя их в нереальность с такой виртуозностью, что нам кажется, что мы не покинули трехмерного мира. И вдруг мы с удивлением понимаем, что мы уже в царстве фантасмагории, где люди и предметы меняются как во сне, не теряя все же логики поступков, хотя это и новая логика, похожая на логику сна. Читая Рубисову, я вспомнила слова Паскаля: «Кто знает, может быть, та половина жизни, которую, как нам кажется, мы проводим наяву, только слегка измененный сон, и мы просыпаемся от него, когда засыпаем».

С Рубисовой мы точно переходим из сна наяву в явь во сне, одинаково нереальные, сверх-реальные — сюрреалистические. «В этом мире бредовой конкретной иррациональности» человеческий

ум способен только оперировать в царстве материи, тогда как интуиция проникает к самым истокам бытия. Интуиция и особый «духовный взгляд», проникающий (в «Белой Республике») даже за Третий Круг, за «Горнее Царство, не принадлежащее уже земле», позволяет Е. Рубисовой видеть «лед и свет, где начинается чудо». Она постоянно ощущает близость чуда, но о нем нелегко говорить на человеческом языке: «И тут что-то случилось, и крепкий трехмерный мир заколебался, поплыл, растворился. Исчезло время, и в образовавшуюся дыру мелькнул новый горизонт... На линии круга того горизонта, вероятно, лежит точка, откуда видны все вещи сразу, вещи и их душа — их значение...».

Е. Рубисова будто ставит своего героя — безразлично — нью-иоркца Мельхиора Ивановича Галкина, горного проводника Рито или цыпленка Отшельника — перед магическим зеркалом, показывая его поверхностное отражение и всю нелепость его горького существования. Но сто́ит заглянуть вглубь зеркала, чтобы увидеть невидимое, понять непонятное — то, что магическим образом превращает нелепую горестную земную жизнь в сияние и торжество. Я упомянула о сверхреальности, сюрреалистичности рассказов Е. Рубисовой. Но это не значит, что я считаю ее сюрреалисткой, ученицей Бретона, Десноса, Левиса или раннего Арагона. Нет, она, конечно, училась не у них. Трудно определить, у кого из писателей она, вообще училась, настолько у нее свой собственный голос, тон и стиль. В нашей эмигрантской прозе она, как киплинговская кошка, «ходит сама по себе», никому не подражая, ни на кого не похожая.

Передать хоть приблизительно содержание ее рассказов о Мельхиоре Ивановиче, услышавшем во сне фразу: «Бутылка спирта едет на голубом звуке», о «Белой Республике», о влюбленных лягушках и их поэте и о многом другом — очень трудно. Я могу только еще раз повторить слова И. А. Бунина — и как бы мне хотелось вложить в них убедительность: — Прочтите. Вам понравится. Вам очень понравится.

Ирина Одоевцева

"THE KILGOUR COLLECTION OF RUSSIAN LITERATURE 1750-1920". *With Notes on Early Books and Manuscripts of the* 16*th and* 17*th Centuries*. Harvard College Library. Cambridge, Mass. 1959.

Американский студент заинтересовался в Харварде русской историей и литературой. Интерес был так серьезен, что он трижды совершил путешествие в Сов. Россию. Страсть коллекционера, несомненно таившаяся в нем от природы, нашла себе точку приложе-

ния в систематическом собирании русских книг. Так американец Килгор стал заправским русским библиофилом, со всеми благородными излишествами этого звания. Он не останавливался перед покупкой целых антикварных коллекций и главную из них приобрел у С. А. Болана в Нью-Йорке. Как настоящего библиофила, Килгора прельщали не только содержание, но и редкость книги, и внешний вид, и хороший переплет «эпохи», и происхождение экземпляра, удостоверенное то изящным книжным знаком, то красноречивым библиотечным штампом. Не пропускал он и ценного автографа, и старинной рукописной книги при случае. Шли десятилетия, наступало время подумать и о будущем устроении ценного собрания. Как известно, американский университет школа частная и поддерживается, главным образом, усилиями своих питомцев. Не удивительно поэтому, что Байярд Л. Килгор подарил богатое книжное собрание своей «Alma Mater». Желая подчеркнуть его целостный характер и сделать более доступным новичкам «русистам», Килгор предоставил средства и для напечатания специального каталога своего пожертвования. Но библиофильский энтузиазм привел нашего мецената к решению не только описать свое собрание, но и показать его. Это достигнуто офсетным, крупного размера, воспроизведением каждой книжной обложки или титульного листа, не говоря о многочисленных репродукциях переплетов, книжных знаков и штампов, факсимиле автографов. В результате получился каталог, которого по отзыву специального антикварно-книжного журнала, приведенному Г. Н. Раковским (Нов. Р. Слово, 1 апр. 1959 года), «нет ни на одном языке, включая и русский». Он содержит 1323 издания, отнесенные к периоду с 1750 по 1920 г. Фактически эти рамки раздвигаются до двух столетий (1744-1943). При таком методе, монументальный каталог, может быть, помимо воли создателей превращается в столь же величественный памятник всей русской книжной культуре, тому коллективному русскому печатнику, который явился достойным наследником первоискусника в этом деле Ивана Федорова. И даже еще шире — это памятник и русской литературе, и русской мысли в целом. В конце концов, это музей или постоянная выставка русской культуры, экспонаты которой свободно умещаются на вашем письменном столе и легко доступны для обозрения. Россия, лишившись таких сокровищ, может найти утешение в чувстве благодарности американцу — русскому библиофилу, открывающему ее ценности своей стране.

Здесь приходится сделать оговорку, приобретающую принципиальный характер. Очевидно, солидный коллектив работников науки, искусства, издательской и библиотечной техники, трудившихся над созданием этого монумента, не во всю меру оценил подлинное

значение преподносимого ими великолепного сюрприза. Иначе трудно оправдать принятое в каталоге размещение описаний по алфавиту авторов или названий. То, что привычно и уместно в «генеральных» каталогах, положительно не подходит для подобного издания и даже мешает извлечь из него максимальную пользу. В книге научной, развертывающей глубокую историческую перспективу, не алфавит (да еще при условностях транскрипции!), а хронология авторов, с размещением их по первым произведениям, должна быть решающим критерием. Русский обозреватель, конечно, сможет преодолеть неудобство в размещении объектов, но для американского русиста-новичка оно остается. Всё же и тот и другой едва ли без досады встретят эти причуды алфавита, опрокидывающие перспективу. В самом деле, каталог ведет вас от Блока к Боборыкину 70-х годов и дальше, к «Душеньке» Богдановича. Бунин идет на сто лет впереди своей прабабки А. П. Буниной. Его подвел исчезнувший в фамилии твердый знак, который он так любил. Равным образом, каково пребывать Андрею Белому в одном разгибе с «Иваном Выжигиным» Фаддея Булгарина! Скромнейший Чехов следует сразу за шумной и хлопотливой мастерицей на все руки в литературе Екатериной II.

Каталог описывает 1323 издания. Основная линия собрания — поэзия и художественная проза. Русские классики 18-го, а особенно 19-го века представлены в нем с большей или меньшей полнотой, и почти все в первых отдельных изданиях и с сохранением обложек, большей частью в прекрасных и богатых переплетах эпохи. Я тем более подчеркиваю эти признаки, что русские собиратели обычно ими пренебрегают, кроме записных библиофилов. С каким волнением должен смотреть русский на первые портреты творений своих классиков! Ведь эти произведения заложили фундамент всей его духовной жизни. Пушкин, как ему и подобает, царствует над всеми в этой галлерее. Стройный ряд отдельных книжечек «Евгения Онегина» глядят на вас, как и великое число изданий басен Крылова. По условиям происхождения тут оказалось немало забытых и совсем безвестных поэтов начала 19-го века, таких, чьи псевдонимы даже еще не раскрыты.

Особо нужно отметить журналы. Тут и редкие 18 века, и «Современник» Пушкина. За строгой обложкой катковского «Русского вестника» в коллекции прячутся 250 томов этого журнала, давшего величайшие произведения нашей литературы. Альманахи и сборники насчитывают более десятка прекрасных образцов. За них в наш век взялись и ученые, и любители. Последние особенно ценят в них типографическую красоту и прелесть иллюстраций. Полустолетие от Пугачева до декабристов в искусстве русской кни-

ги эпоха восхождения до вершины; альманахи особенно наглядно отразили этот расцвет.

Собрание Килгора по составу расширяет понятие литературы; она здесь обнимает вообще русскую мысль, выраженную в печатной форме. По крайней мере, в нем налицо прекрасные образцы произведений, которые в свое время служили вехами в критике, философии, языкознании, истории, библиографии. Перечислять эти издания не позволяет место. По той же причине я могу лишь упомянуть о других разделах каталога, сопровождающихся богатыми иллюстрациями на отдельных листах. Это вводная часть с описанием старопечатных книг и рукописей, таблицы книжных знаков и библиотечных штампов, образцы переплетов и группы книг из собраний высочайших особ, наконец описание автографов и архивных рукописей 19-го века, также с их факсимиле.

Составители проделали большую и кропотливую библиографическую работу, останавливаясь иногда перед неодолимыми затруднениями, зависящими от состояния нашей библиографии. Это касается авторов, датировок, счета изданий и проч. Не легка была и задача перевода заглавий. Хорошо, что условность его нередко разъясняется в комментариях, но их стоило бы применять и чаще. Вот примеры: «В усадьбе и на порядке» (№ 136) — «порядок» не совсем то же, что «деревня»; «Хмельнищина» (№ 592) — гораздо больше события эпохи Хмельницкого, чем его время; «Соборяне» (№ 692) — и два слова, взятые для перевода, не уточняют понятия; «Развиватели» — здесь такая густая публицистическая ирония, что никак нельзя в переводе обойтись тусклыми «воспитателями». Вообще эти индивидуальные переосмысления, к тому же еще и временные, точному переводу и не поддаются. И мои примеры приведены не в укор, а в пояснение трудности задачи.

Можно только приветствовать, что для каждого автора приводятся годы рождения и смерти. Немногие зияния показывают, сколь хлопотлива эта работа, но часть их могла бы быть устранена без крайних усилий (напр. Серафимович, А. М. Федоров, Саша Черный). Отмечу расхождение: годом смерти Веселитской, писавшей под псевдонимом В. Микулич, обозначен 1936-ой год, тогда как в комментариях к новому изданию Лескова (т. XI, стр. 472) им считается 1934-ый. Год смерти Сыромятникова (Сигмы) могла бы сообщить проживающая в С. Штатах его дочь. Но почему годом рождения Я. П. Полонского авторы каталога считают 1819-ый? Им должен быть 1820-ый. Полвека назад частенько приходилось мне прогуливаться в Рязани мимо дома на углу Николодворянской и Владимирской улиц, где жил поэт. По смерти его местная Архив-

ная комиссия установила на фасаде серую мраморную доску, на которой золотились крупные цифры: «1820-1898».

Ряд сомнений и догадок вызывает аннотация к № 895. По осторожному предположению составителей эта книжечка об открытии памятника Пушкину может содержать первое издание известной речи Достоевского. Здесь либо открытие, либо ошибка. Вопрос может разрешить только специальное историко-литературное и библиографическое исследование. В нем прежде всего судить о книжке нужно de visu. Дело осложняет путаница источников в указании номера «Моск. Ведомостей», где речь была впервые напечатана: то 13-ое, то 18-ое июня. Одна из этих дат, по-моему, последняя, опечатка. Если окажется, что это первое издание и притом не какое-нибудь отчетное изложение в чужой записи, то тут придется видеть чью-то махинацию, учиненную без разрешения самого Достоевского, — может быть, тем же Катковым или Юрьевым.

Собрание Килгора дает исключительный материал для истории происхождения отдельных единиц. Это можно угадывать уже из общей характеристики коллекции, а в подробности я не могу входить за недостатком места. Чтобы очертить рамки, замечу, что сочинения Карамзина (№ 494) имеют подпись императрицы Елизаветы Алексеевны, а сто слишком лет спустя свое право собственности на томик «Ямбов» Блока крепким и четким гимназическим почерком утверждает Н. Берберова. И всё внутри этих рамок полно глубокого интереса. История собрания в таком разрезе послужила бы частью общей большой истории великого книжного разорения на Руси, вызванного октябрьской революцией. Не забудем, что план этого погрома был начертан и объявлен в печати Лениным еще до революции 1905 года.

Перемена мест и владельцев книг может вести к недоразумениям. К прекрасному составному комплекту «Истории» Карамзина дана обширная справка. Но вывод в последней фразе, приписывающий *весь* комплект Александру I как владельцу, явно противоречит содержанию справки. Из нее ясно видно, что Александру I могли быть поднесены лишь первые 8 томов, а остальные 4 (последний и вышел-то по смерти его) несомненно из фамильной библиотеки Головниных, отца-адмирала, известного путешественника, и сына-министра. Соединили обе части, конечно, в новейшее время дельцы антикварного отдела «Международной Книги». Неверно также прочтен и штемпель вязью «Александра». Его приписали императрице Александре Федоровне II-ой, тогда как это книги юности Александра III, а имя на штемпеле вырезано в родительном падеже, как и у других братьев в то же время. Скорее к опечаткам нужно отнести такие, например, недочеты: «Змиоподский» всё тот же, но

плохо прочтенный «Змигродский», представленный в других книгах; известный собиратель, мануфактурист из Иванова Витов однажды является как «Витив»; из-за бледности штампа по-разному прочтен второй инициал Лемке и т. д. Отмечая как особую заслугу тщательное перечисление страниц, допускаю в иных случаях возможность неточностей; например, в предисловии к 3-му тому старого академического издания писем Пушкина указано XVI страниц, а на самом деле их XV, а XVI-ая белая. И напоследок, загадочна история с книгой «Политиколепная апофеозис». К ней отсылают имена Феофилакта Лопатинского (?) и Иосифа Туробойского (ее автора), причем оба раза в названии пропускается второе *и*. Но когда вы доходите до ее места в алфавите, то видите, что книга исчезла. Почему?

Прошу читателя не почесть эти мелкие замечания за придирки желчного буквоеда. Наоборот, цель их показать, сколь велика, трудна и ответственна исполненная работа и как мы должны быть благодарны тем, кто ее произвел.

К. Солнцев

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

АЛЬМАНАХ

под редакцией Р. Н. ГРИНБЕРГА,

изданный в честь Б. Л. ПАСТЕРНАКА
по случаю его 70-летия, исполняющегося в начале 1960 г.

СОДЕРЖАНИЕ: Г. Адамович — Темы; *Л. Шестов* — А. С. Пушкин; *В. Вейдле* — О непереводимом; *Д. Кленовский* — Стихотворения; *Г. Струве* — Из заметок о мастерстве Бориса Пастернака; *В. Александрова* — По литературным адресам поэта; *В. Марков* — Стихи русских прозаиков; — *Н. Моршен* — Стихотворение; *М. Вишняк* — Человек в истории; *Ф. Степун* — Современность и искусство: *И. Чиннов* — Стихотворение; *Н. Ульянов* — Ignorantia est; *Ю. Иваск* — Возможность поэзии; *Ю. Марголин* — О Боге великом; *Эрге* — В общих чертах.

В альманахе напечатана большая поэма *Анны Ахматовой* «Поэма без героя», написанная в 1940-1943 гг. и нигде прежде не печатавшаяся.

В сборнике около 300 страниц. ***Цена $300 с пересылкой.***

Заказы и деньги направлять по адресу:
R. N. GRYNBERG, 304 West 75th St., New York 23, N. Y.

В ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ФОНД «НОВОГО ЖУРНАЛА»

В ответ на обращение М. М. Карповича «К друзьям и читателям», напечатанное в «Новом Журнале», в «Новом Русском Слове» и в «Русской Мысли», в редакцию нашего журнала поступили следующие пожертвования на создание «Издательского Фонда Нового Журнала»:

	(в долл.)
В. и С. Беляевы	500
Т. А. и А. Р. Г.	500
Н. Берберова	100
М. Вишняк	25
Д. Шуб	50
Г. Абрамсон	50
Е. Могилат	5
Др. В. Леонтьев	5
Е. Клебанова	5
Л. Д.	10
Л. В.	4.50
В. Войтинский	50
А. Болотовская	10
С. Кучеров	50
С. Бертенсон	10
О. Бондарь	2
А. Стадницкая	8
Н. Калашников	20
В. Г.	25
И. Литвишко	10
М. Павликовский	5
М. и С. Архангельские	15
Н. Рибо	15
С. М. и Р. Н. Г.	250
Н. Лосский	5
Н. Цонев	5
Г. Зяблов	5
Е. Ганфман (в память А. П. Беклемишева)	20
Ю. Иваск	10
В. Зилова (в память М. Л. Гофмана)	2
В. Просс	3
В. Дюк	15
А. Вельмин	5
Ю. Денике	30
А. Осепьян	15
В. и С. Шварц	25
С. М. Л.	200
И. Микуловский	5
С. Сатина	5
М. Покровский	3
Вл. Марков	10
Г. Таскин	25
И. Иратов	3
С. Левитас	25
Н. Сильверглейт	10
В. Сандор	5
Г. Бобринский	10
Н. Ц.	10
С. Васильев	10
М. Б.	10
И. Коварский	25
А. Шарыкин	10
Т. Конюс	50
А. Гольденвейзер	25
З. Юрьева	20
Е. Якоби	2

	(в долл.)
Н. Вольский	40
Г. Фрумкин	15
О. Деженеев	7
Н. Саваж	7
N. N.	100
Ж. Фореста	15
С. М. Л.	300
N. N. (через С. Л.)	100
N. N. (через С. Л.)	100
М. Виленкин	25
Г. Л.	25
Е. Кучинская	3
Н. Ульянов	20
Н. Нароков и Н. Моршен	10
Д. Левин (вместо цветов на могилу Карповича)	15
А. Яглом	50
Г. Мекленбург	50
А. Липец	25
Г. Кобылянский	25
И. Волынская	25
А. Каган	25
С. Кауфман	50
В. Вер	8
И. Тартак	10
И т о г о	3274.50

Редакция приносит искреннюю благодарность всем жертвователям и просит друзей и читателей, желающих поддержать «Издательский Фонд Нового Журнала», выписывать чеки на "The New Review" и присылать их по адресу редакции: The New Review, 2700 Broadway, New York 25, N. Y.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА. *В пути.* Стихи. Мюнхен. 1959.

Н. А. БАЙКОВ. *Черный капитан.* Роман. Бризбен — Австралия. 1959.

АНАТОЛИЙ ГЕЙНЦЕЛЬМАН. *Стихотворения* (1916-1929; 1941-1953). Рим. Типогр. Чампи. 1959.

ГР. А. А. ИВАНОВСКИЙ *Исцеление слепого.* Изд. ЕНИ. Нью-Йорк. 1959.

В. ИНГУЛ. *Цепи и крылья.* Стихи. Изд. Р. Н. О. Бельгия.

В. П. МАРЧЕНКО. *Основные черты хозяйства послесталинской эпохи.* Институт по изучению СССР. Мюнхен. 1959.

АНАСТАСИЯ НОРД. *Дали.* Сборник рассказов. Нью-Йорк. 1959.

Р. В. ПЛЕТНЕВ. *Лекции по истории русской литературы 18 и 19 веков.* Изд. Русского Культурно-Просветительного Общества в г. Торонто. 1959.

ИРИНА САБУРОВА. *Копилка времени.* Мюнхен.

ИРИНА ЯССЕР. *Последние стихи.* Изд. Рифма. Париж. 1959.

Е. А. ИЗВОЛЬСКАЯ. *Американские святые и подвижники.* Русский центр Фордамского Университета. Нью-Йорк. 1959.

B. GOUSSINSKY. *Continuity and Number.* Israel. 1959.

DIMU KOTSOVSKY. *Tragödie des Genius.* München. 1959.

Problems of Soviet Foreign Policy. A Symposium of the Institute for the Study of the USSR. Münich. 1959.

Soviet Youth. Twelve Komsomol Histories. Institute for the Study of the USSR. Münich. 1959.

УКАЗАТЕЛЬ
СОДЕРЖАНИЯ 58-ми КНИГ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»
(1942 - 1959)

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ 58-ми КНИГ «НОВОГО ЖУРНАЛА»* (1942—1959)

ПРОЗА

Алданов, М. — Политические рассказы: Фельдмаршал. Грета и танк. 1. Командировка Тамарина. 2. Реквием. 3. Истоки. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Астролог. 16. Повесть о смерти. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Бред. 38, 39, 40, 41, 42, 48.
Альтшуллер, Г. — Дело Тверитинова. 34, 44.
Андреев, Г. — Два Севастьяна. 28. Трудные дороги. 42, 44, 47, 49. День гнева. 51. В дни короткого отпуска. 55.
Берберова, Н. — Воскрешение Моцарта. 17. Плач. 20. Мыс бурь. 24, 25, 26, 27. Большой город. 32. Мыслящий тростник. 55. Черная болезнь. 58.
Бондаренко, В. — Исигона. 41.
Бунин, Ив. — Руся. 1. В Париже. 1. Натали. 2. Генрих. 3. Таня. 4. Чистый понедельник. 10. Речной простор. Дубки. Пароход «Саратов». 11. Месть. 12. Галя Ганская. 13. Ловчий. 14. Происхождение моих рассказов. 53. Из литературного наследства И. А. Бунина. 57, 58.
Варшавский, В. — Первый бой. 14. Дневник художника. 31.
Величковский, А. — Сон в степи. У пруда. Иволги. 33. В поезде. Ярмарка. 35. Старики. 40.
Гагарин, Евгений — Охота на гусей. 45.
Газданов, Гайто — Призрак Александра Вольфа. 16, 17, 18. Шрам. 21. Возвращение Будды. 22, 23. Пилигримы. 33, 34, 35, 36. Судьба Саломеи. 58.
Гребенщиков, Г. — В просторах Америки. 4, 5. Страшнее смерти. 6. В гостях у Полуярова. 8.
Гречанинов, А. — Лермонтов у спиритов. 31.
Гузенко Игорь — Падение титана. 39.
Гуль, Роман — Конь рыжий. 14, 15, 16, 17, 19, 20.
Евангулов, Г. — Игра. 47.

---

* Цифры после названия произведений указывают №№ книг «Н. Ж.».

Ершов, Петр — Нинель. 37, 38, 39.
Жигалова, О. — Любовь к Ильюхе. 7. Полустанок Васьково. 10.
Зайцев, Борис — Царь Давид. 11. Путешествие Глеба. 12, 13, 14, 15. Жуковский. 17, 19, 20, 21. Древо жизни. 28, 29, 30. Чехов. 36, 37. Звезда над Булонью. 43. Разговор с Зинаидой. 55.
Замятин, Евг. — Атилла. 24.
Зуров, Леонид — Ксана. Гуси-лебеди. 43.
Иванников, Мих. — Правила игры. 44. Заговор. 46.
Иваск, Ю. — Я уеду в Юкатан. 57.
Ильинская, Н. — Вовина весна. 56.
Калашников, Н. — Не мир, но меч! 1. Скакун. 7.
Камышников, Л. — Два портрета. 3.
Кашин, А. — Из племени Хан. 52. В стране дракона. 57.
Кодрянская, Н. — Земля русская. 1. Серафима. 10. Мария Безрадостная. 5.
Корвин-Пиотровский, Вл. — Рассказ пожилого человека. 34. Два рассказа: Признание. Измена. 57.
Косач, Юрий — Талисман. 31.
Красуский, Игорь — Лоси. 29. Берлога. 32. Утренница. 46.
Кригер, Мария — Вечер в Сан-Франциско. 22.
Кузнецова, Г. — Поцелуй свиданья. 36.
Макаев, И. — В усадьбе. 10.
Марголин, Ю. — Галя. 33. Non omnis moriar. 35.
Набоков, В. — Ultima Thule. 1. Другие берега. 37, 38.
Нароков, Н. — «Могу». 42.
Невский, Н. — В окруженье. 40.
Неймирок, А. — За океан. 27.
Одоевцева, Ирина — Год жизни. 35. Когда бушевала буря. 45.
Осоргин, М. — Времена. 1, 2, 3, 4, 5. Субботний поезд. 6.
Пастернак, Борис — Доктор Живаго. Глава «В дороге». 54.
Петровская, Т. — Интеллигенция. 36.
Ремизов, Алексей — Магнит. 25. Камертон. Англичанин. Лягушник. Злые слезы. 27. В сырых туманах. 34. Тень ночи. 39. Плачужная канава. 48, 51, 56.
Ржевский, Л. — Человек, которому было всё равно. 45. Два варианта. 50. Рябиновые четки. 55.
Рубисова, Е. — Мерка масштаба. 5. Белая республика. 8.
Седых, Андрей — Гидра. Керчь. 5.
Таубер, Е. — Возвращение. 42. У порога. 53.
Тепер, Б. — Вторая память. 23.
Толстая, Александра — Предрассветный туман. 1, 2, 3.
Толстой, А. Н. — Никита Шубин. 18.

Ульянов, Н. — Сириус. 43. Педро Иванович. 52. Солнца свет. 55.
Федорова, Нина — Семья. 2. Мадам Бовари со станции Хинган. 3. Талант. 5. Темная совесть. 32.
Христианович, О. — Там. 2.
Чехонин, М. — Матильда. 27.
Юрасов, С. — Страх. 41.
Яблоновская, Н. — Кролик Сивэ. 18.
Яновский, В. — Портативное бессмертие. 6. Пол-пути. 9. Американский опыт. 12, 13, 14, 15, 18, 19. Болезнь. 44. Челюсть эмигранта. 49, 50.

СТИХИ

Алексеева, Лидия — 28, 33, 37, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 56.
Анстей, Ольга — 22. 28, 48.
Антонова, Елена — 7, 13.
Арсеньев, Н. — 20.
Бакунина, Е. — 11.
Балтрушайтис, Ю. — 12, 17.
Белоцветов, Николай — 24.
Берберова, Н. — 34, 46.
Бернер, Николай — 34, 37, 43.
Биск, А. — 4, 13.
Браиловский, А. — 24, 30, 34, 35, 41.
Британ, И. — 3.
Брюсов, Валерий — 37.
Бунин, Ив. — 28, 34, 57, 58.
Бушман, Ирина — 19.
Вебер, Н. — 7.
Васильковская, А. — 33.
Величковский, А. — 30, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58.
Волкова, Мария — 53.
Волошин, Максимилиан — Дом поэта, поэма. 31, 39.
Гершельман, К. — 31.
Гингер, Александр — 46, 47, 57.
Гиппиус, Зинаида — 28, 30, 37, 39.
Глинка, Глеб — 33, 49.
Голохвастов, Г. — Святая могила, 9.
Горская, А. — 24, 42, 47.
Гребнев-Файнберг, Л. — 5.
Гумилев, Н. — 8.
Джанумов, Ю. — 26.

Дороганов, Михаил — 52.
Дудорова, Наталия — 47.
Евангулов, Г. — 52, Кентавр, поэма, 57.
Евсеев, Николай — 20, 51.
Елагин, Иван — 22, 26, 29, 34, 41, 43, 48, 55. Небо. 58.
Железнов, М. — 2, 5, 16, 21.
Забежинский, Г. — 35.
Злобин, Вл. — 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 41, 45, 50.
Иванов, Георгий — 22, 25, 31. Дневник. 33. Дневник. 38. Дневник. 42. Дневник. 44. Дневник. 48. 50. Дневник. 51. Дневник. 54. Посмертный дневник. 55. Посмертный дневник. 56. Посмертный дневник. 58.
Иваск, Ю. — 19.
Иждина, К. — 7.
Ильин, М. — 18.
Ильинский, Олег — 28, 30, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57.
Ильяшенко, В. — 17.
Карелин, Ю. — 8.
Кленовский, Д. — 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 49, 52, 55, 57.
Клюев, Николай — Плач о Есенине, поэма, 35. Заозерье, поэма, 35.
Кнорринг, Ирина — 13.
Корвин-Пиотровский, Вл. — Бродяга Глюк, поэма, 32. 36. 40. 41. 42. Заклинанья. 44. Золотой песок, поэма, 46. Стихи о России, 49. Поражение, поэма, 53. 55. 58.
Крачковский, Дм. — 15.
Кригер, М. — 17. 20. 24.
Кроткова, Х. — 6. 23.
Крыленко, Елена — 5.
Кузнецова, Галина — 18. 27.
Кучеров, С. — 7.
Лахман, Гизелла — 14.
Легкая, Ираида — 31. 33. 34. 39. 41. 45.
Лисицкая, А. — 14.
Лифтон, С. — 57. 58.
Ляпин, В. — 56.
Маковский, С. — 32. 36. 40.
Марков, В. — 23. Гурилевские романсы, 25.
Моршен, Николай — 21. 29. 36. 37. 42. 49.
Набоков, В. — 2. 3. 7. 10. 15. 46.
Неймирок, А. — 26.
Одарченко, Юрий — 19. 27. 28. 29. 32. 36. 39. 40. 43. 45. 49.
Одоевцева, Ирина — 36. 37. 38. 40. 41. 43. 45. 51. 52. 53. 55. 56. 58.

Опалов, Л. — 2. 4. 6. 8.
Остроумова, Татьяна — 1. 3. 5. 9. 10.
Оцуп, Николай — 32.
Померанцев, К. — 32.
Прегель, София — 1. 2. 4.
Присманова, Анна — 46 57.
Раевский, Георгий — 11. 15.
Рубисова, Е. — 11. 14. 24.
Савинков, Б. В. — 52.
Северянин, Игорь — 44.
Славина, Кира — 2. 13. 44.
Смоленский, Влад. — 16. 19. 23. 29, 30. 40. 57.
Сологуб, Федор — 4.
Софиев, Юрий — 6.
Страховский, Л. — 24. 57.
Струве, Г. — 7. 11. 16. 18. 20.
Таубер, Е. — 15. 21. 22. 28. 32. 41. 43. 50. 51, 53. 58.
Терапиано, Ю. — 4. 5. 6. 11. 16. 29.
Тимашева, Татиана — 10. 13. 17. 20. 27.
Толстая, Мария — 1. 2. 4. 6. 36. 39.
Троцкая, Зинаида — 13.
Трубецкой, Ю. — 41. 49. 50. 51. 52. 53. 58.
Туроверов, Александр — 58.
Туроверов, Николай — 51. 52. 54. 55. Степь, 57. 58.
Успенская К. — 4.
Фатьянов, П. — 40.
Франкфурт, К. — 1.
Хаимсон, С. — 13.
Цетлин, М. — 1. 3. 5.
Цветаева, Марина — Мэксимилиану Волошину, 33.
Червинская, Лидия — 28.
Чиннов, Игорь — 23. 26. 32. 34. 40. 43. 49. 52. 54. 57.
Чехонин, М. — 16. 21. 24.
Шаховская, Зинаида — 8.
Шидловский, Вяч. — 50. 53.
Шиманская, А. — 28.
Шишкова, Аглая — 45.
Шувалова, Е. — 15. 18. 21. 28.
Юрасов, С. — Сегежская ночь, поэма, 27.
Яблоновский, Сергей — 11, 13. 18.
Яковлев, Г. — 13. 18.
Яковлева, Л. — 32.
Ян Рубан, А. — 14.
Яссен, Ирина — 11.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Адамович, Г. — Наследство Блока. 44. Наши поэты. Георгий Иванов. 52. О чем говорил Чехов. 58.

Алданов, М. — О Бунине. 35.

Александрова, В. — Проблема свободы в советской литературе. 2. Первая военная зима в России. 4. Командиры Красной Армии. 6. Обзор советских журналов за 1943 г. 7. Советская современность в зеркале исторического романа. 8. По советским журналам. 9. Театр во время войны. 10. По советским журналам. 11. И. А. Бунин. К 75-летию. 12. Советская молодежь 40-х гг. 13. Встреча с Европой. 15. Тридцатилетие советской литературы. 17. Белинский и наша современность. 19. «Несогласные граждане» 21. Советские журналы за 1951 г. 28. Советская литература после XX-го съезда КПСС. 46. К сорокалетию советской литературы. 51. Тургенев в Америке. 56.

Берберова, Н — Набоков и его «Лолита». 57.

Бертенсон, Сергей — На страже искусства старины. 6.

Биншток, Г. — Бальзак как социолог. 23.

Бурназельский, Н. — Хартия вольностей. 36.

Вайнтрауб, В. — Литература независимой Польши. 32.

Варшавский, В. — Незамеченное поколение. 41.

Вейдле, В. — Последняя любовь Тютчева. 18. Три предсмертья. Стендаль, Гейне, Бодлер. 28. О религиозном корне русского искусства. 33, 35.

Галич, Леонид — Реализм Достоевского. 13.

Гершельман, К. — Тема «тайной свободы» у Пушкина. 22.

Глинка, Глеб — На путях в небытие. О советской литературе. 35.

Гофман, М. Л. — Клевета о Достоевском. 38. Проблема сумасшествия в творчестве Пушкина. 51.

Гуль, Роман — Цветаева и ее проза. 37. Георгий Иванов. 42. Победа Пастернака. 55. Об «Оттепели» Эренбурга. 40.

Денике, Ю. — Гамлет 1947. 15.

Добужинский, М. — О творчестве Фокина и о работе с ним художника. 6. Историческая выставка портретов. 42.

Елагин, Ю. — Мейерхольд и Коммиссаржевская. 37.

Ершов, П. — Стилизация и музей на сцене. Символические пьесы Ф. Сологуба и А. Ремизова. 54. «Анатэма» Леонида Андреева. 57.

Забежинский, Г. — О Сергее Клычкове. 29.

Завалишин, Вяч. — XIX-й съезд партии и «рецидив буржуазного декаданса» в литературе. 33. Артём Веселый. 53. Николай Заболоцкий. 58.
Зензинов. В. — Иван Алексеевич Бунин. 3. По советским журналам. 8. По советским журналам. 10.
Зеньковский, В. прот. — Эстетические воззрения Вл. Соловьева. 47.
Злобин. Вл. — З. Н. Гиппиус. Ее судьба. 31.
Иваск, Ю. — О послевоенной эмигрантской поэзии. 23. «Подлипки» К. Леонтьева. 40. Батюшков. 46. Баратынский. 50.
Каннак, Е. — Неизвестная пьеса Чехова. 44.
К-ий, А. — О Качалове. 41.
Клобуковский, Ю. — Трое Толстых. 43.
Коварская, Вера. — Искусство на островах Океании. 13. Пути живописи в современной России. 15. Искусство у индейцев Северной Америки. 17. Американские нео-примитивы. 20. Американское кустарное искусство. 27.
Кодрянская, Н. — Ремизов о самом себе. 52.
Конский, А. — Бернгард Беренсон. 34.
Коряков, Михаил — Великий перелом. 31. Заметки об американской литературе. 35. Подстриженный Версаль. 40. Литературная Москва. 49. Термометр России. 55. Афиногенов и Пастернак. 56.
Косач, Юрий — Украинская литература в эмиграции (1925-1950). 28.
Кохановский, Г. — История янтарной комнаты Царскосельского Екатерининского дворца. 33.
Ледницкий, Вацлав — «Польская поэма» Блока. 2, 3. О прозе Пушкина. 21.
Лурье, Артур — Линии эволюции русской музыки. 9.
Маковский. С. — Вячеслав Иванов в России. 30. Вячеслав Иванов в эмиграции. 31.
Мансветов, Вл. — О советской художественной прозе. 1.
Марков, В. — Мысли о русском футуризме. 38. Моцарт. 44.
Менский, Р. — Н. А. Клюев. 32.
Метнер, Н. К. — Мысли о музыке. 47.
Мочульский, К. — Александр Добролюбов. 32. Юность Валерия Брюсова. 54.
Набоков. В. — Заметки переводчика. 49.
Нароков, Н. — Чехов-общественник. 48. Два Чацких. 53.
Одоевцева, Ирина — О Николае Моршене. 58.
Ольховский, А. — Творческий путь С. Прокофьева. 34.

Плетнев, Ростислав — «Отец Сергий» и Четьи-Минеи. 40. Преображение мира. Природа в творчестве Достоевского. 43.
Поляков-Литовцев, С. — Залман Шнеур. К 40-летию литературной деятельности. 4.
Ржевский, Л. — Подлинное и заказанное. 29.
Сабанеев, Л. — Стравинский. 50.
Седуро, В. — Истоки белорусского искусства. 36. Достоевский как создатель полифонического романа. Бахтин о форме романа у Достоевского. 52.
Слоним, М. — Роман Пастернака. 52.
Степун, Федор — Б. Л. Пастернак. 56.
Струве, Г. — Неизданные стихи Гумилева. 8. Три судьбы (Блок, Гумилев, Сологуб). 16, 17. Писатель ненужных тем. Творческая судьба Юрия Олеши. 25. Новые варианты шигалевщины. 30.
Тарасов, Сергей — Возможный автор «Слова о полку Игореве». 39.
Татищев, Н. — Поэт в изгнании. Борис Поплавский. 15.
Трубецкой, Н. С. — О методах изучения Достоевского. 48.
Ульянов. Н. — Об историческом романе. 34. После Бунина. 36. Еще об историческом романе. 37. Застигнутый ночью. 39. По Испании. 40. Арабеск или Апокалипсис. 57.
Федотов, Г. — Христианская трагедия. 23.
Фесенко, А и *Т.* — Язык войны и послевоенного периода. 36.
Филиппов, Б. — Николай Клюев. 19.
Цетлин, М. — Балакирев. 1. Юный Мусоргский. 2. В зените («Борис Годунов»). 3. Конец Мусоргского. 4. Стасов и «Могучая кучка». 5. Глинка. 6. О критике. 53.
Чернов, Виктор — Стихия скитальчества у корифеев русской литературы. 4. Два полюса духовного скитальчества (Лев Толстой и Глеб Успенский). 5. А. П. Чехов. К 40-летию смерти. 7. Литературные мытарства Чехова. 10. Чехов и Суворин. 11.
Чехов, Михаил — Мысли об искусстве актера. 2.
Чижевский. Д. — Неизвестный Гоголь. 27 Три книги о Гоголе. 41. Шиллер в России. 45. Выставки русских художников в Европе. 53.
Шик, А. — Гоголь в Ницце. 12. Осенняя любовь Дениса Давыдова. 22.
Юрьева, Зоя — Новолунье. О поэзии Казимира Вежинского. 33. И. Анненский о Гоголе. 45. О творчестве Иосифа Витлина. 47. Ремизов о Гоголе. 51.

Яблоновский, Сергей — Качалов и Москвин. 17.
Яссер, Иосиф — Мысли об искусстве и творчестве. 5. Прогрессивные тенденции в творчестве Рахманинова. 6.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Авъерино, Н. — Из моего прошлого. 7. А. Г. Рубинштейн. 14. Из воспоминаний о С. В. Рахманинове. 18.
Алексеев, Н. — В бурные годы. 53, 54, 55, 57.
Альтшуллер, И. — Воспоминания о Толстом. 2. Еще о Чехове. 4.
Анненков, Юрий — Об Александре Блоке. 47.
Аронсон, Г. — Московские зимы. 10. Англичане в Москве. 11. Эпизоды февральской революции. 14.
Б., В. — Из встреч и разговоров. 14.
Бабкин, Б. П. — И. П. Павлов. Главы из биографии. 9. Политические взгляды И. П. Павлова. 12.
Бармин, А. — Академия генерального штаба. 3.
Баулер, А. — Воспоминания о М. П. Драгоманове. 8.
Берберова, Н. — М. О. Цетлин. 24.
Березов, Родион — По советской провинции. 33.
Бертенсон, Сергей — Из писем М. В. Добужинского. 53. Письма О. Л. Книппер-Чеховой. 57.
Богданович, А. — Я гражданин Ленинграда. 21, 22.
Брешковская, Катерина — 1917-й год. 38.
Букиник, Мих. — Рассказ о художнике В. Э. Борисове-Мусатове. 9. Мои воспоминания о П. И. Чайковском. 28.
Бургина, А. — Неизданные письма Софьи Ковалевской. 44.
Бутенко, В. — Возвращенка. 21.
В., Б. И. — Граница зла. 18.
Валентинов, Н. — Встречи с Андреем Белым. 45, 46, 47, 49. Суть большевизма в изображении Ю. Пятакова. 52.
Варецкий, Д. — Маршал В. К. Блюхер. 27.
Винавер, Р. Г. — Вожди кадетской партии. 10.
Витов, Н. — Рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР. 34.
Вишницер, М. — Как я занимался русской историей. 53.
Вишняк, М. — Владислав Ходасевич. 7. «Современные Записки». 20. З. Н. Гиппиус в письмах. 37.
Воинов, Н. — Беспризорники. 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Вышеславцев, Б. — Мои дни с К. А. Коровиным. 40.
Гершун, Б. — Воспоминания адвоката. 43.
Гессен, И. В. — Из воспоминаний. 5.

Гиевский, Н. — Из театральных воспоминаний. 10.
Гиппиус, Зинаида — Он и мы. Главы из воспоминаний о Д. С. Мережковском. 23, 24, 25. Серое с красным. 33.
Горький, Максим — Письма к В. Ф. Ходасевичу. 29, 30, 31. Письма к Леониду Андрееву. 55.
Гофман, М. Л. — Петербургские воспоминания. 43.
Гречанинов, А. — С. И. Танеев. 3. Добрыня Никитич. 5.
Гумилева, А. — Николай Степанович Гумилев. 46.
Давыдов, А. В. — Каменка. 23.
Дадина, Л. — Максимилиан Волошин в Коктебеле. 39.
Дейкарханова, Тамара — Московский Художественный Театр. 20.
Деникина, К. — Страницы из дневника. 20.
Дерюжинский, Г. — В Академии Художеств. 13.
Добужинский, М. — Круг «Мира Искусства». 3. О Художественном Театре. 5. Встречи с писателями и поэтами. 11. Новгород. 15. Петербург моего детства. 21. Деревня. 26. Из воспоминаний. 52.
Евреинов, Н. — О «Кривом Зеркале». 35.
Елагин, Ю. — «Театр имени Вахтангова». 26. Жизнь московских актеров. 28.
Ермолов, Ив. — Начало индустриализации Абхазии. 31.
Ершов, В. подполк. — Репатриация. 32. Работа НКВД в госпиталях во время войны. 37.
Жуков, Евг. — Последние дни Дахау. 41.
Зайцев, Бор. — М. О. Цетлин .14.
Замятин, Евг. — Встречи с Б. М. Кустодиевым. 26.
Зензинов, В. — Февральские дни. 34, 35.
Игнатьев, гр. П. Н. — Совет министров в 1915-16 гг. 8, 9.
Извольская, Е. — После разгрома. 2.
Ильин, И. С. — Революция. 56.
Ипатьев, В. — Воспоминания о М. Горьком. 3. Наука в современной России. 5.
Каннак, Е. — С. Ковалевская и М. Ковалевский. 39.
Керенский, А. — Накануне Версаля. 11.
Кленовский, Д. — Поэты Царскосельской гимназии. 29.
Коряков, Михаил — Костел панны Марии. 16. Панихида. 15. В советском посольстве. 17. Вне закона. 18. 16 октября. 20, 21. Мой ровесник из Калифорнии. 25.
Кошенова, Т. — Будни советской женщины. 35.
Кромиади, К. — Советские военнопленные в Германии в 1941 году. 32.
Кускова, Ек. — Давно минувшее. 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54.

Ледницкий, В. — Вокруг В. А. Маклакова. 56.
Либерман, С. — Народный комиссар Красин. 7.
Ло Гатто, Этторе — Воспоминания о Клюеве. 35.
Маклаков, В. — Канун революции. 14. Ф. И. Родичев и А. Р. Ледницкий. 16.
Манухин, И. — Воспоминания о 1917-18 гг. 54.
Манухина, Т. — Монахиня Мария. К десятилетию со дня кончины. 41.
Марголин, Ю. — История одного разочарования. 18.
Марков, В. — Et ego in Arcadia. 42.
Милюков, П. — Студенческие годы. 42.
Муромцева-Бунина, В. Н. — Отроческие годы И. А. Бунина. 53.
Неведомская, Вера — Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой. 38.
Новиков, Вл. — Встреча с советскими подданными во Франции. 12.
Новиков, Вяч. — Мои адвокатские воспоминания. 55.
Оболенский, В. А. — Под итальянской оккупацией. 18.
Орлов, Вл. — Из записок гвардейского политработника. 22, 23.
Ос, Александр — По лесам и лагерям Суоми. 30.
Павлова, Н. — Киев, войной опаленный. 27, 28.
Панина, С. В. — На Петербургской стороне. 48, 49.
Петров, В. — Из воспоминаний. 19.
Погорелова, Б. — Валерий Брюсов и его окружение. 33. «Скорпион» и «Весы». 40.
Поздняков, В и Каров, Д. — «Республика» Зуева. 29.
Романов, Борис. — Павлова и Нижинский. 50.
Сазонова, Ю. — Письма Рейнер Мария Рильке. 5. Владимир Соловьев. 10.
Седых, Андрей — Бальмонт. 55.
Степун, Ф. — Москва накануне войны 1914 года. 26. Москва и Петербург накануне войны 1914 года. 27. Россия накануне войны 1914 года. 36. В русской провинции. 37.
Страхова-Эрманс, В. — Воспоминания о Шаляпине. 34.
Струве, Петр — М. В. Челноков и Д. Н. Шипов. 22.
Ходасевич, Владислав — Письма к М. Вишняку. 7.
Цветаева, Марина — Письма к Роману Гулю. 58.
Церетели, И. — Российское крестьянство и В. М. Чернов в 1917 роду. 29. Накануне июльского восстания. 50, 51, 52.
Цитрон, И. — В. Г. Короленко под судом. 56.
Чернов, Виктор — «Волга, Волга, мать родная...» 22.
Чехов, Михаил — Жизнь и встречи. 7, 8, 9, 10, 11.
Шаблэ, Морис — В доме предварительного заключения НКВД. 16, 17.

Шавельский, Г. протопресвитер — Вел. кн. Николай Николаевич. 32. Николай II-й в ставке. 34.
Шнееров, М. — Воспоминания об Азефе. 46.
Штеппа, К. — В плену коммунизма. 57. Ежовщина. 58.
Фондан, Б. — Разговоры с Львом Шестовым. 45.
Франк, С. Л. — Письмо к Г. П. Федотову. 28.
Ярмолинский, А. — Есенин в Нью-Йорке. 51.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Авксентьев, Н. — Россия в войне. 1.
Алданов, М. — Убийство Троцкого. 1.
Андреев, Г. — Иные времена. 45.
Анин, Д. — Французская компартия, попутчики и Жан-Поль Сартр. 33. Перспективы и внутренние противоречия большевизма. 36. Проблема «дебольшевизации». 46. О советском бонапартизме. 51. Франция на распутье. 54.
Анисимов, О. — Советское поколение. 22. Коммунизм и послевоенная Европа. 24. Большая стратегия советской внешней политики. 44. От Маркса к Павлову. 52.
Аронсон, Г. — Социализм в наши дни. 17. Советский антисемитизм после войны. 32. Е. Д. Кускова. 37. Из истории фальсификаций в СССР. 55.
Арсеньев, Николай — Потемкин-Таврический. 18. Князь С. Н. Трубецкой. 29.
Бердяев, Н. — Третий исход. 32. Выдержки из писем к г-же Х. 35, 36. Из записной тетради. 43.
Берлин, П. — Руссификация интернационализма. 12.
Биншток, Г. — О смысле истории. 21.
Боголепов, А. — Государственная Дума. 46.
Бондаренко, В. — Заметки о высшей школе в СССР. 25.
Бурышкин, П. — Филлип — предшественник Распутина. 40.
Вакар, Н. — Христианская революция? 3. П. Н. Милюков в изгнании. 6.
Валентинов, Н. — Трагедия Г. В. Плеханова. 20. Чернышевский и Ленин. 26, 27. Ранние годы Ленина. 36. Ленин в Симбирске. 37. Выдумки о ранней революционности Ленина. 39. Ранние годы Ленина. 40. Превращение Вл. Ульянова в Ленина. 41. Встречи Ленина с марксизмом. 53.
Васильев, С. — Великая железнодорожная держава. 26. Ответ Ю. Маркову. 31.
Вейнбаум, М. — Япония и Соединенные Штаты. 2.

Вельмин, А. — Русское население в Польше во время немецкой оккупации. 14.
Вишняк, М. — Россия, Европа и мир после войны. 1. Правда анти-большевизма. 2. На родине — на чужбине. 5. Американские затруднения. 6. О «советской цивилизации». 8. Международный билль. 9. Сан-Франциская хартия. 11. Соблазн патриотизма. 13. Из тридцатилетнего далека. 15. Вышинский. 17. Свобода и социализм. 23. Израиль. Из впечатлений. 26. Идейные корни большевизма. 27. Оправдание народничества. 30. О социализме, неосоциализме и неолиберализме. 34. О Вышинском. 39. Право убежища. 41. Пересмотр устава ООН. 42. Об общественном мнении в СССР. 43. Мемуарист, историк, политик, человек в «Воспоминаниях» П. Н. Милюкова. 44. Перечитывая Хрущева. 46. Вторжение в Египет. 47. Сорок лет. 48. Через сорок лет. 50. Большевики и Учредительное Собрание. 52. К истории Февральской революции. По поводу книги Оливера Радки. 54. Устои демократии в свете новой французской конституции. 55. Заключительное слово. 57. Ревизия социализма. 58.
Войтинский, В. — После победы. 7.
Волин, С. — Смоленские документы. 55.
Вышеславцев, Б. — Ответ моим критикам. 38.
Гальперин, А. — Мир после войны. 2.
Геннер, Б. — Маркс и Россия. 32.
Гинс, Г. — Мир перестраивается. 3. Россия и Америка. 8. Перевоплощение Петербурга. 28. Церковь и война. 43.
Годин, В. — Проблема и внутренние противоречия послесталинского большевизма. 41.
Гольденвейзер, А. — Три программы американской внешней политики. 6. Президентские выборы. 9.
Градобоев, Н. — Состав Верховного Совета СССР. 30. Некоторые итоги XIX-го съезда. 31.
Грегуар, Анри — Византиноведение в Советской России. 12.
Гурджиян, Г. — О советской торговле. 31.
Давыдов, К. Н. — А. О. Ковалевский. 51.
Далин, Д. — Коминтерн в войне. 1. Красная армия. 4. Советская сфера безопасности. 6. Как Россия оборонялась. 14. Пять лет советской империи. 23. Пути и зигзаги революции. 32. Американская политика и Россия. 36.
Двинов, Б. — Пораженчество и власовцы. 39. Ленинский Интернационал. 56.
Двойченко-Маркова, Е. — Американское философское общество и Россия. 36, 42.

Денике, Ю. — Можно ли спасти Европу? 2. Гитлеровская война. 3. Размышления о власти. 5. Революция без термидора. 7. Чем будет Франция? 9. Защита цивилизации. 12. Новая идеологическая политика. 19. Новые источники и их критика. 24. Как открыть Россию. 27. Социализм и хозяйственная демократия. 34. К истории власовского движения. 35. Два года без Сталина. 40. Проблемы коллективной диктатуры. 45. Два кризиса. 47. К вопросу о советской эволюции. 48. Кризис тоталитаризма. 49. Переворот 29-го июня. 50. Джилас о коммунизме. 51. Политический кризис Франции. 55. Партия без идеологии? 57.

Добровольский, А. — Фиктивные и действительные закономерности. 44.

Зак, А. — Америка после войны. 9. Действительность и возможности в американо-русских экономических отношениях. 16. Возможна ли депрессия в США? 18. Атомная политика США. 20. Новые тенденции в американской экономике. 54.

Занкевич, Е. Х. — Владимир Соловьев как публицист. 33.

Зензинов, В. — Трифоно-Печенгский монастырь. 1.

Зеньковский, В. прот. — Черты утопизма в истории русской мысли. 42. Миросозерцание И. С. Тургенева. К 75-летию со дня смерти. 52. Памяти Гоголя. К 150-летию со дня рождения. 58.

Зеньковский, С. — Россия и тюрки. 46.

Иванов, Б. — Советский строй и мы. Записки советского интеллигента. 13.

Иванов, Вячеслав — О дневниках Т. Л. Сухотиной. 32.

Иванович, Ст. — Кризис социалистического сознания. 1. «За что кровь проливали?». 4.

Иванцов, Д. — Агрономы на производстве. 39. Последний удар по колхозам. 43. Назад к сословному строю? 51.

Извольская, Елена — Духовный фронт французского «сопротивления». 10.

К., М. — Россия и ее западные союзники. 7. Послевоенные проблемы. 9.

Карпович, М. — П. Н. Милюков как историк. 6. Заключительный период войны. 8. Послевоенные проблемы. 9. После победы. 10. О смысле международного кризиса. 14. Америка, Россия и Европа. (О доктрине Трумана и плане Маршала). 16. Разрушение иллюзий. 18. Наши задачи. 21. Русский империализм или коммунистическая агрессия. 25. Комментарии: 1) По поводу статьи Дж. Кеннана, 2) О подходе к национальным проблемам в России. 26. Комментарии: 1) Споры о народничестве и марксизме, 2) Кто виноват в

торжестве большевизма? 27. Комментарии: 1) Эмиграция и культура, 2) Эмиграция и политика. 28. Комментарии: 1) Цена революции, 2) Две демократии. 29. Комментарии: 1) По поводу американских выборов, 2) Еще о «цене революции». 31. Комментарии: В поисках «третьего исхода» (о статье Н. Бердяева). 32. Комментарии: 1) После Сталина: в России, 2) После Сталина: на Западе. 33. М. И. Ростовцев и А. А. Васильев. 34. Комментарии: 1) По поводу книги Б. П. Вышеславцева, 2) Несколько мыслей об историческом романе. 35. Комментарии: 1) Философия случая, 2) Философия компромисса. 37. Комментарии: 1) Америка и ее союзники, 2) О сосуществовании. 38. Комментарии: По поводу статьи Б. Двинова. 39. Комментарии: 1) На новом этапе, 2) Об эмигрантской политике. 41. Комментарии: 1) Что же дальше? 2) Еще об эмиграции. 42. Комментарии: 1905 год — пятьдесят лет спустя. 43. Комментарии: 1) Постскриптум к статье О. Анисимова, 2) К нашим читателям. 44. Комментарии: 1) О русском мессианизме, 2) Достоевский, Белинский, Шиллер. 45. Комментарии: О воспоминаниях Ф. А. Степуна. 46. Комментарии: М. А. Алданов и история. 47. Комментарии: О Феврале. 48. Комментарии: 1) К спору о Достоевском, 2) О формальном методе в литературоведении, 3) Проблема свободы творчества в советской России. 52. Комментарии: 1) О трудностях западного мира, 2) О трудностях Советского Союза, 3) Перспективы, 4) Два постскриптума. 53. Комментарии: Еще о русском мессианизме. 54. К друзьям и читателям «Нового Журнала». 57, 58.

Кеннан, Д. — Америка и русское будущее. 26.

Керенский, А. — Передышка. 1. О границах и о прочем. 7. О революции 1917 года. 15. Два октября. 17. Как это случилось? 24.

Кулишер, Е. — Н. П. Карабчевский. 31.

Курганов, И. — Национальная проблема в России. 25.

Кускова, Ек. — Трагедия Максима Горького. 38.

Левицкий, С. — Вл. Соловьев и Достоевский. 41. Н. Н. Страхов. Очерк его философского пути. 54.

Лосский, Н. — В защиту Влад. Соловьева. 33. Какой идеал противопоставить коммунизму? 37. Мысли Н. А. Бердяева о назначении человека. 44.

Маклаков, В. — Перед второй Думой. 12. Еретические мысли. 19, 20.

Марголин, Ю. — Куда идет Израиль. 31. Проблема еврейского национализма. 41.

Марков, Ю. — О советской железнодорожной политике. 30.
Мацкевич, Иосиф — Польша под Россией и под коммунизмом. 53.
Мельгунов, С. — Рыцарь свободы. К 100-летию со дня смерти декабриста Лунина. 13, 14. Осада Зимнего Дворца. 17.
Милюков, П. Н. — Положение накануне войны. 6.
Николаевский, Б. — Внешняя политика Москвы. 1. Смещение фельдмаршала Браухича. 2. Внешняя политика Москвы. 3, 4. Советско-японское соглашение. 5. Революция в Китае, Япония и Сталин. 6. За вашу и нашу вольность. 7. Революция в Китае, Япония и Сталин. 8. Как Япония пришла к войне. 11, 12. Советская каторга на Колыме. 15. Пораженческое движение 1941-45 гг. и ген. А. А. Власов. 18, 19. Новый поход против деревни в СССР. 24. Поражение Хрущева. 25.
Новиков, М. — П. А. Лебедев. К 200-летнему юбилею Московского У-та. 40. Русские эмигранты в Праге. 49.
Пантелеев, И. — Письмо о последнем Бердяеве. 22.
Петрункевич, А. — «Завещание Петра Великого». История и авторы этого подлога. 23.
Плетнев, Р. — Н. Ф. Федоров и Ф. М. Достоевский. Из истории русского утопизма. 50.
Поливанов, М. — Русский социализм и русское земство. 58.
Поляков-Литовцев, С. — Действительность и перспективы. 1. Мелодии еврейского быта. 9.
Пущина, Е. — Женщина-работница в СССР. 51.
Робинзон, Я. — Судьба европейских евреев. 4.
Солнцев, К. — В преддверии орфографической реформы. 22. Граф Д. И. Милютин и его «дневник». 51.
Соловейчик, С. — О сепаратистах. 1. Пангерманизм. 3.
Сорокин, П. — Причины войны и условия мира. 7.
Станка, Владас — Мрак и свет экзистенциализма. 34.
Станкевич, В. — Homo gaudens. Радость, как источник цивилизации. 24.
Степун, Ф. — Родина, отечество и чужбина. 43. Г. П. Федотов. 49.
Тан, Л. — Запечатленный язык. 23.
Тимашев, Н. С. — Сила и слабость России. 2. Война и религия в советской России. 5. О целях войны. 6. После Москвы и Тегерана. 7. Перестройка Советского Союза. 8. Мысли о послевоенной России. 10. Противоречия во внешней политике СССР. 11. Плановое хозяйство и демократия. 13. Три победителя или один? 15. Обречена ли Россия? 17. Насе-

ление послевоенной России. 19. Пути послевоенной России. 22. Советское право в американском освещении. 26. Окаменение коммунистического строя. 30. На карательно-террористическом фронте. 33. В защиту промышленной культуры. 35. Очернение Сталина. 45. Две идеологии. Мысли о современном положении в России. 53. Реформы в советском уголовном праве. 56.

Тыркова-Вильямс, А. — Ф. И. Родичев. 38. Русский парламентарий. В. А. Маклаков. 52.

Ульянов, Н. — Культура и эмиграция. 28. Комплекс Филофея. 45. «Патриотизм требует рассуждения». 47.

Федотов, Г. — Новое на старую тему. К современной постановек еврейского вопроса. 1. Новое отечество. 4. Загадки России. 5. Как бороться с фашизмом. 6. Рождение свободы. 8. Россия и свобода. 10. Запад и СССР. 11. Между двух войн. 14. Судьба империй. 16. Народ и власть. 21. Две статьи. 43. Об утопии Данте. 47.

Фесенко, Татьяна — Производство ненависти. 29.

Франк, С. — Ересь утопизма. 14. Письмо Г. П. Федотову. 28.

Херасков, Ив. — Общество благородных. 14. Ленинец середины прошлого века — Эрнест Кэрдеруа. 17.

Ц., М. — Власть и война. 8.

Чернов, Виктор — Антисемитизм немецкий и русский. 2. К русско-польским отношениям. Разрыв ПСР и ППС накануне первой мировой войны. 28.

Чижевский, Дм. — Три книги о русской философии. 30. Баадер и Россия. 35.

Шварц, С. — Демографическое лицо России. 8. «Большая Волга». 13. Двадцатый съезд КПСС. 44.

Шестов, Лев. — Лютер и церковь. 54,

Шефтель, М. — Памяти А. А. Экка. 52.

Шпилевой, П. — Добыча радия в Советском Союзе. 54.

Шуб, Д. — Германский вопрос и немецкие социалисты. 4. Бакунин, Нечаев и Ленин. 55. Ленин и Вильгельм II. 57.

Юрьевский, Е. — О «великих стройках» и «преобразовании природы». 29. О последнем труде Сталина и его источниках. 31. О С. Н. Прокоповиче. 42.

Ясный, Н. — Ахиллесова пята колхозной системы. 14.

Эмиграция и советская власть. 10, 11.

Эрге. — Неправда разума. К годовщине смерти Льва Шестова. 54.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Георгий Адамович — Одиночество и свобода. Статьи. 43. (Георгий Иванов).

М. Алданов — Истоки. 24. (М. Карпович). Живи, как хочешь. 33. (Ю. Сазонова). Самоубийство. 56. (М. Карпович).

Лидия Алексеева — Лесное солнце. Стихи. 39. (Г. Забежинский).

Г. Альтшуллер — Царь и доктор. 25. (М. Карпович).

Вадим Андреев — Стихи. 25. (Ю. Иваск).

Г. Андреев — Горькие воды. Очерки и рассказы. 48. (В. Александрова).

Н. Арсеньев — Преображение мира и жизни. 57. (Р. Плетнев).

Анна Ахматова — Избранные стихотворения. 32. (Б. Филиппов).

Александр Бенуа — Жизнь художника. 45. (Е. Климов).

С. В. Бенэ — Дьявол и Даниель Вебстер и др. рассказы. 58. (З. Юрьева).

Н. Берберова — Облегчение участи. 23. (Эрг).

Р. Березов — Далекое и близкое. 34. (Роман Гуль).

Н. Бердяев — Русская идея (Основные проблемы русской мысли 19 века и начала 20 века). 17. (М. Карпович). Самопознание. 23. (Архимандрит Киприан).

Сергей Бертенсон — Вокруг искусства. 49. (Роман Гуль).

Раиса Блох — Михаил Горлин. Избранные стихотворения. 57. (Е. Каннак).

Леонид Богданов — Телеграмма из Москвы. 53. (Н. Б.).

А. А. Боголепов — Русская лирика от Жуковского до Бунина 31. (Б. Филиппов).

Эдуард Бок — Как Эдуард Бок стал американцем. 37. (М. Г.).

Александр Браиловский — Из классиков. Переводы. 7. (М. Цетлин). Дорогою свободной. Стихи. 44. (В. Эфер).

Михаил Булгаков — Сборник рассказов. 30. (В. Завалишин).

Иван Бунин — Темные аллеи. 15. (В. Александрова). Жизнь Арсеньева. 30. (Ю. Сазонова). Весной в Иудее и Митина любовь. 33. (Ю. Сазонова).

Б. Бурсов — Мастерство Чернышевского-критика. 51. (В. Завалишин).

Н. Валентинов — Встречи с Лениным. 36. (Ю. Денике).

Владимир Варшавский — Семь лет. 24. (Ю. Иваск). Незамеченное поколение. 44. (Ю. Денике).

А. Васильковская — Узелок. Стихи. 53. (Л. Алексеева).

В. Вейдле — Вечерний день. 30. (Архимандрит Киприан). Задача России. 49. (М. Карпович).
М. Вейнбаум — На разные темы. 48 (М. Карпович).
Вестник Института по Изучению Истории и Культуры СССР. 34. (З.).
Вестник Русского Христианского Студенческого Движения. 33. (А. Ш.).
М. Вишняк — Дань прошлому. 39. (М. Карпович). «Современные Записки». Воспоминания редактора. 50. (Роман Гуль).
Воздушные пути — Альманах под ред. Р. Н. Гринберга. 58. (В. Варшавский).
Н. Воронович — Всевидящее око. 27. (Р. Г.). Русско-японская война. 27. (Р. Г.).
Баронесса Л. Врангель — Семья Раевских. 46. (М. Гофман).
Б. П. Вышеславцев — Вечное в русской философии. 43 (прот. В. Зеньковский).
Евгений Гагарин — Звезда в ночи. 21. (В. Зензинов).
Проф. А. А. Гаккель — О православной иконописи. 50. (В. Завалишин).
Александр Галин — Израиль. Еврейское государство. 55. (Роман Гуль).
П. А. Гарви — Профессиональные союзы в первые годы революции 1917—1921. 54. (Д. Шуб).
Владимир Гессен — Герои и предатели. 27. (Р. Г.).
Александр Гингер — Весть. 4-я книга стихов. 50. (Ю. Трубецкой).
Глеб Глинка — На перевале. 39. (Г. Аронсон).
А. А. Гольденвейзер — В защиту права. 33. (Н. С. Тимашев).
Н. А. Горчаков — История советского театра. 47. (Ю. Елагин).
А. Т. Гречанинов — Моя жизнь. 27. (В. Пастухов).
О. Грузенберг — Очерки и речи. 10. (В. Зензинов).
Роман Гуль — Конь Рыжий. 34. (Георгий Иванов). Скиф в Европе. Бакунин и Николай I. 52. (Д. Анин). Азеф. Исторический роман. 58. (Ек. Таубер).
Неизданный Гумилев — Под ред. Г. Струве. 31. (Б. Филиппов).
С. И. Гусев-Оренбургский — Глухой приход. 33. (В. Завалишин).
Двухсотлетие Московского Университета (1755—1955). 48. (В. Г.).
С. М. Дубнов — Книга жизни. Воспоминания и размышления. 50. (А. Гольденвейзер).
В. Дудинцев — Не хлебом единым. 48. (Роман Гуль).
Н. Н. Евреинов — История русского театра с древнейших времен. 41. (А. К.).

«Еврейский мир». 9. (Г. Аронсон).
Иван Елагин — По дороге оттуда. Стихи. 23. (Е. Раич). По дороге оттуда. Стихи. 36. (Роман Гуль).
Ю. Елагин — Укрощение искусств. 30. (Б. Филиппов). Темный гений. Книга о В. Э. Мейерхольде. 44. (Н. Ульянов).
В. Б. Ельяшевич — История права поземельной собственности в России. 22, 29. (А. Петрункевич).
С. П. Жаба — Русские мыслители о России и человечестве. 44. (В. Варшавский).
Владимир Жабинский — Просветы. 53. (В. Завалишин).
Борис Зайцев — Юность. 24. (В. Александрова). Жуковский. 28. (Н. Б.). Древо жизни. 34. (П. Ершов). Чехов. 39. (П. Ершов).
Е. Замятин — Лица. 42. (Г. Струве).
Запісы беларускага інстытуту навукі и мастацтва. 31. (В. Днепровский).
В. Зензинов — Встреча с Россией. 10. (Д. Федотов-Уайт). Пережитое. 35 (М. Алданов).
Прот. В. Зеньковский — История русской философии. 22. (С. Франк).
Леонид Зуров — Марьянка. Рассказы. 54. (В. Варшавский).
Георгий Иванов — Петербургские зимы. 32. (Роман Гуль).
Р. В. Иванов-Разумник — Тюрьмы и ссылки. 33. (Б. Филиппов).
А. А. Игнатьев — Пятьдесят лет в строю. 5. (Б. Н-ский).
Из истории ВЧК, 1917—21 гг. 57. (М. Вишняк).
Галина Издебская — Встречи. Рассказы. 5. (Х. Кроткова).
Еп. Иоанн Сан-Францискій — Время веры. 39. (Глеб Глинка).
В. Н. Ипатьев — Жизнь одного химика. Воспоминания. 13. (Б. Н-ский).
В. Каьерин — Открытая книга. 40. (Петр Ершов).
О. Кайданова — Очерки по истории народного образования в России и СССР. 9. (Г. Вернадский).
Т. Карсавина — Воспоминания. 22. (Б. Бабкин).
А. В. Карташев — Воссоздание Святой Руси. 46. (М. Поливанов).
С. Каменский — Век минувший. Воспоминания. 54. (Вяч. Новиков).
Д. Кленовский — След жизни. 24. (Ю. Иваск). Навстречу небу. 31. (Н. Б.). Неуловимый спутник. 4-я кн. стихов. 47. (Г. Струве).
Николай Клюев — Плач о Есенине. 37. (С. Петров). Полное собрание сочинений. 38. (Роман Гуль).
Л. А. Коварская — Родные писатели. 2. (М. Ц.). Русские писатели. 41. (Роман Гуль).

Наталия Кодрянская. — Сказки. 27. (Е. Рубисова). Глобусный человечек. 46. (Н. Ульянов).

Д. В. Константинов — Я сражался в Красной Армии. 31. (Б. Ольшанский).

Вл. Корвин-Пиотровский — Воздушный змей. 25. (Ю. Иваск).

Михаил Коряков — Освобождение души. 30. (Б. Филиппов).

Н. Н. Краснов — Незабываемое (1945-56). 53. (Роман Гуль).

Д. В. Криптон — Осада Ленинграда. 31. (Б. Ольшанский).

Х. Кроткова — Белым по черному. 31. (Ю. Иваск).

Акад. А. Н. Крылов — Мои воспоминания. 7. (Д. Федотов-Уайт).

Ант. Ладинский — Роза и чума. Стихи. 25. (Ю. Иваск).

Гизелла Лахман — Пленные слова. Стихи. 32. (Д. Кленовский).

С. Левицкий — Трагедия свободы. 57. (Н. Лосский).

Л. Д. Леонидов — Рампа и жизнь. 43. (Ю. Сазонова).

С. И. Либерман — Дела и люди. 9. (М. Цетлин).

А. Лясковский — Мартиролог русских писателей. 51. (К. Солнцев).

В. А. Маклаков — Первая Государственная Дума. Воспоминания современника. 12. (М. Карпович). Вторая Государственная Дума. Воспоминания современника. 15. (М. Карпович). Речи. Судебные, думские и публичные лекции, 1904-1926. 24. (М. Карпович).

С. Маковский — Круг и тень. 25. (Ю. Иваск). На пути земном. 35. (Ю. Иваск). Потреты современников. 44. (М. Добужинский).

Сергей Максимов — Денис Бушуев. 23. (Мих. Коряков). Тайга. 30. (В. Завалишин). Бунт Дениса Бушуева. 45. (М. Коряков).

С. Малахов — Летчики. Пьеса. 30. (Ю. Елагин).

Осип Мандельштам — Собрание сочинений. 43. (Георгий Иванов).

Юрий Мандельштам — Годы (1937-1941). 25. (Ю. Иваск).

Арнольд Марголин — Основы государственного устройства США. 39. (А. Гольденвейзер).

Ю. Марголин — Путешествие в страну зе-ка. 31. (М. Вишняк).

В. Марков — Приглушенные голоса. 31. (Б. Филиппов).

С. П. Мельгунов — Легенда о сепаратном мире. 51. (Н. С. Тимашев).

К. Мочульский — Достоевский, жизнь и творчество. 22. (Н. Лосский). Андрей Белый. 42. (Д. Чижевский).

В. Н. Муромцева-Бунина — Жизнь Бунина. 56. (Роман Гуль).

Н. Нароков — Мнимые величины. 33. (Роман Гуль).

М. М. Новиков — Полстолетие научной деятельности. 51. (Р. Плетнев). От Москвы до Нью Йорка. Моя жизнь в науке и политике. 32. (М. Вишняк.).

Ирина Одоевцева — Оставь надежду навсегда. 39. (С. Юрасов).

Б. Ольшанский — Мы приходим с Востока (1914-51). 44. (Роман Гуль).

Николай Оцуп — Дневник в стихах. 27. (Ю. Иваск).

Мих. Осоргин — В тихом местечке Франции. 15. (М. К.). Письма о незначительном. 38. (Ю. Сазонова).

Памяти Рахманинова — Сборник. 14. (М. Карпович).

Б. Пантелеймонов — Последняя книга. 33. (Вяч. Завалишин).

П. Пирогов — За курс! 34. (Б. Ольшанский).

С. Н. Плаутин — Слово о полку Игореве. Исправленный и неисправленный тексты. 55. (Н. Ульянов).

Православная мысль — Труды православного Богословского И-та в Париже. 36. (Прот. А. Шмеман).

София Прегель — Встреча. 5-я кн. стихов. 55. (Ю. Трубецкой).

С. Поляков-Литовцев — Мессия без народа. 5. (Х. Кроткова).

С. Н. Прокопович — Сборник статей. 48. (Н. С. Тимашев).

С. Г. Пушкарев — Россия в 19 веке. 52. (Сергей Зеньковский).

А. С. Пушкин — Сочинения. В одном томе. 8. (М. Цетлин).

А. Ремизов — Пляшущий демон. 24. (К. Солнцев). Подстриженными глазами. 27. (Н. Берберова). В розовом блеске. 31. (Н. Б.).

А. Ренников — Минувшие дни. 39 (Мих. Коряков).

Л. Ржевский — Между двух звезд. 34. (Роман Гуль).

Елена Рубисова — Нью Йорк. 58. (И. Одоевцева).

Русский литературный архив под ред. М. Карповича и Дм. Чижевского. 48. (Г. Струве).

В. А. Рязановский — Обзор русской культуры. Исторический очерк. 23. (М. Карпович).

Ю. Сазонова — История русской литературы. Древний период. 44. (Р. Плетнев).

Сборник памяти С. Л. Франка. 42. (Ф. Степун).

Андрей Седых — Дорога через океан. 3. (М. Ц.). Звездочеты с Босфора. 19. (Г. Аронсон). Только о людях. 41. (Роман Гуль).

Н. Семенов — Советский суд и карательная политика. 31. (Н. С. Тимашев).

Н. Н. Сергиевский — Гишпанская затея. 1. (Н.).

Владимир Смоленский — Собрание стихотворений. 53. (Г. Струве).

Г. Струве — Русский европеец. 32. (Ю. Иваск). Русская литература в изгнании. 46. (М. Карпович).

П. Б. Струве — Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего. 33. (М. Карпович).

В. Сумбатов — Стихотворения. 52. (Ю. Трубецкой).

Л. Сухотин — Мои работы по истории опричины. 20.

Е. В. Тарле — Крымская война. 17. (Д. Федотов-Уайт).

Екатерина Таубер — Плечо с плечом. Стихи. 42. (Г. Забежинский).

Ю. Терапиано — Странствие земное 27. (Ю. Иваск). Встречи. 32. (Роман Гуль).

Александра Толстая — Отец. 40. (А. Тыркова-Вильямс).

Третий час — Вып. 1. 1946. 14. (Г. Федотов).

Кн. Ольга Трубецкая — Князь С. Н. Трубецкой. 34. (Н. Р.).

И. Тхоржевский — Русская литература. 18. (Г. Струве).

А. Тыркова-Вильямс — Жизнь Пушкина. 23. (М. Карпович). На путях к свободе. 31. (Ю. Денике).

Н. А. Теффи — Земная радуга. 30. (М. Алданов).

Н. И. Ульянов — Атосса. 32. (Н. Б-ва).

Нина Федорова — Семья. 33. (З. Юрьева).

Г. П. Федотов — Христианин в революции. 51. (Прот. А. Шмеман).

Андрей и Татьяна Фесенко — Русский язык при советах. 43. (П. Ершов).

С. Л. Франк — Этюды о Пушкине. 55. (М. Карпович).

Н. Хохлов — Право на совесть. 55. (Б. Прянишников).

Марина Цветаева — Лебединый стан. Стихи 1917-1921 г.г. 53. (Роман Гуль).

М. Цетлин — Пятеро и другие. 8. (М. Алданов).

В. М. Чернов — Перед бурей. Воспоминания. 35. (Ю. Денике).

Игорь Чиннов — Монолог. Стихи. 25. (Ю. Иваск).

О. Георгий Шавельский — Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. 40. (М. Карпович).

Александр Шик — Денис Давыдов. 25. (Н. Б.).

А. Шиманская — Новолунье. 2-я кн. стихов. 41. (Ек. Таубер).

Прот. А. Шмеман — Исторический путь православия. 40. (Глеб Глинка).

Анатолий Штейгер — Дважды два четыре. 25. (А. Шик).

Е. Щербаков — Свет и камень. 27. (Ю. Иваск).

Кн. Сергей Щербатов — Художник в ушедшей России. 45. (Роман Гуль).

С. Юрасов — Враг народа. 30. (Роман Гуль).

В. С. Яновский — Портативное бессмертие. 33. (Ю. Иваск). Челюсть эмигранта. 54. (Ф. Степун).
Ирина Яссен — Лазурное око. Стихи. 25. (Ю. Иваск).
Экономический бюллетень № 9-10 — Экономические причины войны. 2. (Х).
Георгий Эристов — Сонеты. 50. (Ю. Трубецкой).

КНИГИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ:

Akhminov, G. E. — Puissance dans l'ombre ou le fossoyeur du communisme. 32.
Д. Анин.
De Azcarate, P. — League of Nations and National Minorities. 12.
М. Вишняк.
Babkin, B. P. — Secretory Mechanism of the Digestive Glands. 10.
С. А. Комаров.
Barmine, Alexander — One Who Survived. 12.
М. К.
Bauer, Raymond A, Inkeles, Alex and *Kluckhohn, Clyde* — How the Soviet System Works. 49.
О. Анисимов.
Baykov, Alexander — The Development of the Soviet Economic System. 14.
Н. С. Тимашев.
de Beauvoir, Simone — Les Mandarins. 41.
П. Фатьянов.
Berchin, Michel and *Ben-Horin, Eliahu* — The Red Army. 5.
Д. Д.
Берлинг, Густав — Особый мир. 28.
М. Коряков.
Bernanos, George — La liberté, pour quoi faire? 34.
М. Коряков.
Bertensson, Sergei and *Leyda Jay* — Sergei Rachmaninoff. 46
Ю. Елагин.
Besharov, J. — Imagery of the Igor's Tale. 47.
Ю. Иваск.
Birdsall, Paul — Versailles Twenty Years After. 1.
М. В.
Burnham, James — The Struggle for World. 16.
С. Соловейчик.
Byrnes, James F. — Speaking Frankly. 17.
Ю. П. Денике.

Byzantion — International Journal of Byzantyne Studies. Vol. XV. 3.

Я. А. Бромберг.

Carr, Edward Hallet — The Soviet Impact on the Western World. 16.

М. Вишняк.

Chamberlin, W. H. — The Russian Enigma. 7.

М. Карпович.

Chekhov, Michael — To the Actor. 33.

Варвара Булгакова.

Childs, John L. and *Counts, George S.* — America, Russia and the Post-War World. 5.

Д. Шуб.

Cizevsky, Dmitri — Outline of Comparative Slavic Literatures. 40.

Рене Веллек.

Cole, G. D. H. — History of Socialist Thought. 53.

Д. Шуб.

Counts George S. — America, Russia and the Post-War World. 5.

Д. Шуб.

Counts, George S. and *Lodge, Nucia P.* — I Want to Be Like Stalin. 17.

Н. С. Тимашев.

Croisé, Jacques — Sortie de Secours. 39.

В. К.

Curtin, Jeremiah — Memories. 7.

Д. Федотов-Уайт.

Dallin, David J. and *Nikolaevsky, Boris I.* — Forset Labor in Soviet Russia. 16.

В. Зензинов.

Dallin, David — 'The Big Three' The United States, Britain and Russia. 11.

А. А. Г-ер.

The Real Soviet Russia. 10.

Д. Федотов-Уайт.

Russia and Postwar Europe. 7.

М. Карпович.

Soviet Russia's Foreign Policy, 1939-1942. 4.

Ю. П. Денике.

Soviet Espionage. 55.

П. Шпилевой.

Dean, V. M. — Russia: Menace or Promise. 16.

Н. С. Тимашев.

Eastman, Max — Reflexion on the Failure of Socialism. 41.

М. Вишняк.

Eska, Karl — The Five Seasons. 38.

Мих. Коряков.

Fedorova, Nina — The Children. 3.

В. Зензинов.

Ivan Fedorov's Primer of 1574. 45.

К. Солнцев.

Fedotoff-White, D. The Growth of the Red Army. 7.

Д. Далин.

Fedotov, George P. — The Russian Religious Mind. Kievan Christianity. 16.

М. Карпович.

Finletter, Thomas K. — Can Representative Government do the Job? 11.

М. Вишняк.

Fisher, George — Russian Liberalism: from Gentry to Intelligensia. 51.

М. Карпович.

Fisher, John — Why They Behave like Russians. 16.

Н. С. Тимашев.

Fisher, Raymond H. — Russian Fur Trade. 10.

М. Карпович.

Флери-Одарченко, П. — Azelle. 31.

Н. Б.

Foerster, F. W. — Europe and the German question. 1.

Д. Шуб.

Gafenco, G. — Préliminaires de la guerre à l'est. 12.

Н. С. Тимашев.

La Geste de Prince Igor — Texte établi, traduit et commenté sous la direction d'Henri Grégoire, Roman Jakobson, Marc Szeftel. 20.

Г. Федотов.

Gordey, M. — Visa pour Moscou. 29.

М. Вишняк.

Gordon, Mania — Workers Before and After Lenin. 3.

Д. Шуб.

Gorlin, Michel et *Bloch-Gorlina, Raissa* — Etudes Litteraires et Historiques, 52.

Е. Каннак.

Griffith, Thomas — The Waist-High Culture. 56.

М. Вишняк.

Grinioff, Vladimir — Tale of a Whistling Shrimp. 51.
В. К.

Guins, George C. — Communism on the Decline. 50
Н. С. Тимашев.

Soviet Law and Soviet Society. 38
Н. С. Тимашев.

Gurvitch, Georges — Sociology of Law. 3.
проф. М. Лазерсон.

Hamilton, G. H. — The Art and Architecture of Russia. 43.
Вера Коварская.

Harper, Sammuel N. — The Russia I Belive In, memories. 11.
Д. Федотов-Уайт.

Hecht, David. — Russian Radicals Look to America, 1825-1894. 19.
М. Лазерсон.

Hłasko Marek — Cmentarze. Następny do raju. 53.
Зоя Юрьева.

How to Tell Progress from Reaction. 11.
Н. С. Тимашев.

Inkeles, A. and *Bauer, R. A.* — The Soviet Citizen. Daily Life in a Totalitarian Society. 58.
Н. С. Тимашев.

Ipatieff, Wladimir N. — Meeting Chicago Section. 1.
Л.

Iswolsky, Helene — Light Before Dusk. A Russian Catholic in France. 3.
Ю. Денике.

Soul of Russia. 7.
Н. С. Тимашев.

Johnson, Hewlett Dr. V. R. — Soviet Russia Since the War. 18.
Н. С. Тимашев.

Journal of Legal and Political Sociology. 7.
А. А. Г-ер.

Kalashnikoff, Nicolas — Jumper. The Life of a Siberian Horse. 10.
Елена Извольская.

Karpovich, M. and *Vernadsky, George* — A History of Russia. 7.
Я. А. Бромберг.

Karsavina, Tamara — The Theatre Street. 22.
Б. П. Бабкин.

Kautsky, Karl — Social Democracy versus Communism. 15.
М. Вишняк.

Kelly, Marie Noëlle — 1. Mirror to Russia; 2. Picture Book of Russia. 33.

Вера Коварская.

The Kilgour Collection of Russian Litherature (1750-1920). 58.

К. Солнцев.

Kravchenko, Victor — I Chose Freedom. 14.

В. Зензинов.

Kucherov, S. — Courts, Lawyers and Trials Under the Last Three Tzars. 37.

Б. Гершун.

Labriskie, Edward H. — American-Russian Rivalry in the Far East. 13.

М. Флоринский.

Lanzeff, George V. — Siberia in Seventeenth Century. 10.

М. Карпович.

Laserson, Max M. — The Development of Soviet Foreign Policy in Europe, 1917-1942. 5.

Д. Д.

Russian and the Western World. 14.

Н. С. Тимашев.

Laski, Harold J. — Faith, Reason and Civilization. 9.

М. Вишняк.

The American Democracy: A Commentary and an Interpretation. 19.

А. И. Зак.

Reflection on the Revolution of Our Time. 7.

М. Вишняк.

Lauterpacht, H. — An International Bill of the Rights of Man. 12.

М. Вишняк.

Lednicki, Waclaw — Life and Culture of Poland as Reflected in Polish Literature. 9.

М. Карпович.

Leontovitsch, Victor — Geschichte des Liberalismus in Russland. 51.

М. Карпович.

Lermolo, Elisabeth — Face of a Victim. 41.

Мих. Коряков.

Leskov, N. — adopt. by Babette Deutsch and Avrahm Yarmolinsky. Steel Flea. 8.

Вера К.

Liddell Hart, B. H. — The Red Army. 52

Б. Прянишников.

Loth, David — Woodrow Wilson. The Fifteenth Point. 1.

М. В.

Lyons, Eugene — Our Secret Allies: The Peoples of Russia. 38.

М. Карпович.

Mahler, Elza — Altrussische Volkslieder aus dem Pečoryland. 28.

Игорь Чинов.

Margolin, Arnold D. — A Political Diary: Russia, the Ukraine and America. 14.

А. А. Г-ер.

Maritain, Raissa — Marc Chagall. 7.

Вера К.

Maurach, Reinhart — Handbuch der Sovietverfassung. 44.

А. Гольденвейзер.

Mehnert, Klaus — Stalin versus Marx. 32.

М. Коряков.

Michie, Allan A. — Retreat to Victory. 3.

Ю. Денике.

Adam Mickiewicz in World Literature. 51.

Зоя Юрьева.

Miliukov, Paul — Outlines of Russian Culture (Parts I-III). 1.

А.

de Monzie, Anatole — Ci-devant. 1.

У.

Moore, Harriet L. — Soviet Eastern Policy. 13.

М. Т. Флоринский.

Morgenthau, Jr., Henry — Germany — Our Problem. 13.

С. Соловейчик.

Nabokov, Vladimir — Nicolai Gogol. 9.

Г. Федотов.

The Real Life of Sebastian Knight. 2.

Мария Толстая.

National Socialism. Basic principles, their application by the Nazi Party and Foreign Organization etc. 5.

Д. Шуб.

Nolde, Boris — La formation de l'Empire russe: études, notes et documents. 33.

М. Карпович.

Orlov, Alexander — The Secret History of Stalin's Crimes. 37.

В. Р.

Pasternak, Boris — Essai d'Autobiographie. 54.

Е. Каннак.

Pavek, William J. — 200.000.000 Slaves Need a New Alphabet. 11.

Н. Вакар.

Pinson, Copper S. — Essays on Anti-Semitism. 3.

Д. Шуб.

Pipes, Richard — The Formation of the Soviet Union — Communism and Nationalism 1917-1924. 43.

Сергей Зеньковский.

Prokopowicz, S. N. — Russlands Volkswirtschaft unter den Sovjets. 14

Н. С. Тимашев.

Puchkine, A. — Eugene Oneguine. Traduction de Michel Bayat. 51.

М. Г.

Radkey, Oliver Henry — The Election to the Russian Constituent Assembly of 1917. 24.

М. Вишняк.

Raeff, Marc — Michel Speransky. Statesman of Russia. 51.

М. Карпович.

von Rauch, Georg — A History of Soviet Russia. 55.

Сергей Зеньковский.

Reswick, William — I Dreamt Revolution. 32.

М. Вишняк.

Rice, Tamara Talbot — Russian Art, a Survey of the Development, Architecture, Painting, Sculpture and Peasant Arts from X Century. 24.

Вера К-ая.

Rouët de Journel, M. J. — S. J. Monachisme et Monastères Russes. 32.

А. Борман.

Rounds, Frank, Jr. — A Window on Red Square. 34

В. К.

de Reynold, Gonzague — Le Monde Russe. 28

Глеб Струве.

Russian Epic Studies. Edited by Roman Jakobson and Ernest J. Simmons. 27.

Д. Оболенский.

Russian Ikons. Introduction by Philipp Schweinfurth. 38.

Вера Коварская.

The Russian Review, Vol. 1, No. 1-2. (X).

X.

Russische Heiligenlegenden. 34.

Прот. А. Шмеман.

Russo-Polish Relations An Historical Survey. 10.

М. К.

Salisbury, Harrison — Russia on the Way. 16.

Н. С. Тимашев.

Princesse Schakovskoy, Zinaida — Ma Russie habillée en URSS (Retour au pays natal). 53.

Вера Коварская.

Schechtman, Joseph B. — European Population Transfers 1939-1945. 18.

М. Вишняк.

Schirer, William L. — Berlin Diary. 2.

N.

Schuman, Frederick L. — Soviet Politics at Home and Abroad. 13.

М. Т. Флоринский.

Scott, John — Duel for Europe. 4.

Ю. Деникe.

Shore, Maurice J. — Soviet Education: Its Psychology and Philosophy. 17.

Н. С. Тимашев.

Shub, Boris and *Quint Bernard* — Since Stalin: a Photo History of Our Time. 27.

Р. Г.

Shub, David — Lenin. 19.

М. Картович.

The Slavonic Year Book, 1941. 3.

М. К.

Slonim, Marc — Modern Russian Literature. From Chekhov to the Present. 34.

Ю. Маклейн.

Soloviev, V. — Lectures on Godmanhood. 10.

Н. С. Тимашев.

Sorokin, Pitirim, — Russia and the United States. 8.

М. Картович.

The Crisis of Our Age. 3.

Николай Вакар.

Stanislavski's Production of the Sea-Gull. Publ. by Theatre Arts Books. 30.

Р. Прайзинг.

Stanislavski's Legacy by Elizabeth Reynolds Hapgood. 58.
В. Булгакова.
Steinberg, I. N. — In the Workshop of the Revolution. 36.
М. Вишняк.
Stepun, Fedor — Vergangenes und Unvergaengliches: Aus meinem Leben. 22.
Марк Вишняк.
Stern, B. J. and *Smith.* — Understanding the Russians. 16.
Н. С. Тимашев.
Stevens, Leslie C. — Russian Assignment. 36.
М. Карпович.
Strohm, John — Just Tell the Truth. 16.
Н. С. Тимашев.
Struve, Gleb — Soviet Russian Literature. 38.
Ю. Маклейн.
Thayer, Charles W. — Hands across the Caviar. 32.
В. К.
Through the Glass of Soviet Literature, ed. by E. J. Simmons. 34.
Д. Анин.
Timasheff, Nicholas S. — The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia. 14.
С. Соловейчик.
Religion in Soviet Russia. 5.
Елена Извольская.
Tolstoy, Leo — War and Peace. Publ. Simon and Schuster. 3.
А.
Treviranus, G. R. — Revolution in Russia. 11.
М. Вишняк.
Troyat, Henri — The Mountain. 35.
Вера Коварская.
Sir Vansittart, Robert — Black Record; German Past and Present. 2.
С. Соловейчик.
Vernadsky, George and *Karpovich, Michael* — A History of Russia. 7.
Я. А. Бромберг.
Vernadsky, George — Mongols and Russia. 36.
Ник. Андреев.
Viereck, Peter — Metapolitics. From Romantics to Hitler. 2.
М. Карпович.

Vishniak, Mark — An International Convention Against Antisemitism. 15
The Legal Status of Stateless. 11.
Н. С. Тимашев.

Voinov, Nicolas — The Waif. 41.
Роман Гуль.

Voyce, Arthur — The Moscow Kremlin. 40.
Вера Коварская.

Walter, Gerard — Lenine. 25
Н. Валентинов.

Webb, Sidney and Beatrice — Thruth About Soviet Russia. 4.
М. Карпович.

Weidlé, W. — Russie absente et présente. 28
Глеб Струве.

The Western Frontier of Russia. 10.
М. К.

Wouk, Herman — The Caine Mutiny. 34.
В. Петров.

Yakhontoff, Victor A. — USSR Foreign Policy. 13.
М. Т. Флоринский.

Zavalishin, Vyacheslav — Early Soviet Writers. 55.
Петр Ершов.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. — Второй фронт. Три года войны. Три месяца. 4.
Александрова, В. — Под прожектором войны. 5. Художественная проза в эмиграции. (Зайцев, Пантелеймонов, Жигалова). 21.
Аронсон, Г. — Отражения войны. 1. 4. 6. «Парижский вестник». Прогитлеровский орган на русском языке. 18.
Браиловский, Александр — Предисловие к поэме М. Волошина «Дом поэта». 31. О произведениях Н. С. Калашинкова. 43.
Вишницер, М. — Евреи в Советском Союзе. 27.
Вишняк, М. — Для истории. 34.
Гофман, М. Л. — По поводу истории академического издания сочинений Пушкина. 39. Новая книга о балете. 40. Существует ли неизданный дневник Пушкина? 43. По поводу книги «50 лет Пушкинского дома» (1905-1955). 53.
Давыдов, А. — «Государственные банкиры». 37.
Евреинова, А. — Записи под чертой. 40.

Ершов, Петр — Московские новинки о советском театре. 43.
Зернов, Н. — Православная Индия. 40.
К, Х. — Молодые поэты Советской России. 5.
Карпович, М. — Мое знакомство с Осипом Мандельштамом. 49.
Коварская, Вера — Выставка в Нью Йорке. 1. Выставки. 2. О течениях американской живописи. 3. Выставки в Нью Йорке. 4. Выставки 5. Русские успехи на фронте исскуства. 6. Художественные заметки. 7. Юбилеи и выставки. 8. Художественные заметки. 9. Художники Мира Искусства в Америке. 10. Гибель и реставрация исторических памятников России. 11.
Кохановская, А. — П. П. Чистяков. 43.
Крестинский, Б. — Происходит ли концентрация производства? 43.
Лурье, Артур — О Шостаковиче. 4.
Маковский, С. — К стихотворениям Максимилиана Волошина. 39.
Микуловская, З. — Впечатления с Гарвардской выставки «Слова о полку Игореве». 29.
Николаевский, Б. — Герценоведение в Сов. России. 10.
Редакция — Московская конференция. 6. К семидесятилетию М. А. Алданова. 46. 80-летие А. М. Ремизова. 49.
Родичева, А. — Ф. И. Родичев и П. А. Столыпин. 34.
Рубисова, Е. — В Лувре. 10.
Страховский, Л. — Фет и Ахматова. 49.
Струве, Г. — Чехов в советской цензуре. 37.
Тарсаидзе, А. — «День рождения» Красной Армии — 28 февраля 1918 года. 23.
Тотомианц, В. проф. — Журнал «Начало» и провокатор Гурович. 43.
Ц. — За железным занавесом. 4. Война и мир. 5.
Цетлин, М. — Восьмидесятые годы. 14.
Z. — Оставшиеся в Европе. 1. Россия в стане демократий. 3. Юбилей В. Н. Ипатьева. 4. «УНРА». 8.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Авксентьев — Памяти Н. Д. Авксентьева. 5. (М. Карпович). Н. Д. Авксентьев в молодости. 5. (Виктор Чернов). Н. Д. Авксентьев. 33. (М. Вишняк).
Алданов — М. А. Алданов. 48. (от редакции).
Альтшуллер — И. Н. Альтшуллер. 6. (С. Панина).

Бальмонт — К. Д. Бальмонт. 5. (М. Цетлин).
Барятинский — Кн. В. В. Барятинский, 1 (от редакции).
Бахметев — Памяти Б. А. Бахметева. 26 (от редакции).
Белоцветов — Н. Н. Белоцветов. 24. (Ю. Иваск).
Бердяев — Н. А. Бердяев — мыслитель. 19. (Г. Федотов).
Бернацкий — Памяти М. В. Бернацкого. 17. (Б. С. Ижболдин).
Билибин — И. Я. Билибин. 11. (Вера Коварская).
Биншток — Памяти Г. О. Бинштока. 40. (Евг. Кулишер).
Брамсон — Л. М. Брамсон. 1. (от редакции).
Булгаков — О. Сергий Булгаков. 9. (Н. С. Тимашев).
Бурцев — В. Л. Бурцев. 4. (В. Зензинов).
Вернадский — В. И. Вернадский. 10. (Н. Рашевский).
Вышеславцев — Б. П. Вышеславцев как философ. 40. (Прот. В. Зеньковский).
Гарви-Бронштейн — П. А. Гарви-Бронштейн. 8. (Б. Н-ский).
Гершельман — Памяти К. К. Гершельмана. 31. (Ю. Иваск).
Гессен — Памяти И. В. Гессена. 6. (М. Карпович).
Гессен — С. И. Гессен как философ. 25. (Прот. В. Зеньковский). Памяти С. И. Гессена. 25. (Ф. Степун).
Грузенберг — О. О. Грузенберг. 1. (от редакции).
Дан — Ф. И. Дан. 15. (С. Шварц).
Демидов — И. П. Демидов. 16. (Н. Вакар).
Деникин — Генерал Деникин. 17. (М. Карпович).
Добужинский — М. В. Добужинский как писатель. 53. (А. Александрова).
Жекулина — Памяти А. В. Жекулиной. 24. (С. В. Панина).
Зензинов — В. М. Зензинов. 36. (С. А. Васильев). Памяти друга. 36 (М. Вишняк). Из воспоминаний о В. М. Зензинове. 36. (Н. Калашников).
Зилоти — Памяти А. И. Зилоти. 12. (Н. Аверьино).
Иванов — Г. В. Иванов. 54. (от редакции).
Игнатьев — Памяти графа П. Н. Игнатьева. 11. (М. Карпович).
Калишевич — Н. В. Калишевич. 1. (от редакции).
Карпович — М. М. Карпович. Памяти друга. 58. (Г. Вернадский). М. М. Карпович — политик. 58. (М. Вишняк). М. М. Карпович — человек и редактор. 58. (Роман Гуль). М. М. Карпович. Памяти учителя. 58. (Фируз Каземзаде). М. М. Карпович. 58. (А. Керенский).
Кефали — М. С. Кефали. 6. (от редакции).
Кноринг — Ирина Кноринг. 6. (Г. Федотов).
Кулишер — Памяти проф. А. М. Кулишера. 2. (проф. Г. Гурвич).
Кульман — Проф. Н. К. Кульман. 1. (от редакции).

Кускова — Е. Д. Кускова. 56. (М. Карпович).
Лазерсон — Памяти М. Я. Лазерсона. 28. (М. Вишняк).
Лозинский — Г. Л. Лозинский. 4. (А. А. Васильев).
Маклаков — Памяти В. А. Маклакова. 50. (М. Новиков).
Малявин — Ф. А. Малявин. 1. (от редакции).
Мельгунов — С. П. Мельгунов. 48. (от редакции). Встречи с С. П. Мельгуновым. 48. (Н. С. Тимашев).
Мережковский — Д. С. Мережковский. 2. (М. А.).
Милюков — П. Н. Милюков. 5. (А. Керенский). Памяти П. Н. Милюкова. 5. (М. Алданов).
Нестеров — М. В. Нестеров. 5. (В. Коварская).
Нольде — Б. Э. Нольде. 19. (М. Вишняк).
Осоргин — М. А. Осоргин. Памяти друга. 4. (Г. Гурвич).
Панина — С. В. Панина. 48. (от редакции).
Пастернак — Л. О. Пастернак. 11. (В Коварская).
Поляков-Литовцев — Памяти С. Л. Полякова-Литовцева. 11. (А. Седых).
Португейс — Памяти С. О. Португейса (Ст. Ивановича). 8. (Б. Николаевский).
Рахманинов — С. В. Рахманинов 5. (М. Алданов).
Руднев — В. В. Руднев. 1. (от редакции).
Рузвельт — Франклин Д. Рузвельт. 10. (от редакции).
Струве — П. Б. Струве как экономист. 9. (Б. С. Ижболдин). П. Б. Струве. 10. (Б. Николаевский).
Сумский-Каплун — С. Г. Сумский-Каплун. 1. (от редакции).
Теффи — Н. А. Теффи. 6. (М. Цетлин).
Тимашева — Памяти Т. Н. Тимашевой. 27. (от редакции).
Толстой — А. Н. Толстой. 10. (М Цетлин).
Федоров — Памяти М. М. Федорова 24. (М. Мабо-Азовский).
Федотов — Г. П. Федотов. 27. (М. Карпович).
Фигнер — В. Н. Фигнер. 3. (М. А.).
Фондаминский — И. И. Фондаминский в эмиграции. 18. (Г. Федотов). Памяти И. И. Фондаминского-Бунакова. 18. (В. Зензинов).
Церетели — И. Г. Церетели. 57. (Ю. Д.).
Цетлин — Памяти М. О. Цетлина. 11. (М. Алданов).
Челищев — Памяти В. Н. Челищева. 31. (Г. Струве).
Чичибабин — Академик А. Е. Чичибабин. 12. (Н. В. П.)
Штейн — С. П. Штейн. 25. (Г. Федотов).
Юренев — Памяти П. П. Юренева. 12. (В. Оболенский).
Эльяшев — Памяти Л. Е. Эльяшева. 13. (от редакции).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

М. Н. Аитова — О К. Д. Бальмонте. 57.
Г. Аронсон — По поводу статей Б. И. Николаевского о власовском движении. 21.
М. Вишняк — Проблема организации мира. Ответ А. В. Гальперину. 2.
Д. Далин — По поводу статьи Н. С. Тимашева. 21.
Ю. Денике — Необходимые исправления. К статье В. Маркова о Моцарте. 46.
Георгий Иванов — Ответ г. г. Струве и Филиппову. 45.
Елена Извольская — О «Третьем часе». 15.
И. С. Ильин — Ответ А. Тырковой-Вильямс. 57.
В. М. Марков — Ответ на письмо в редакцию Ю. П. Денике. 48.
Влад. Налбандов — По поводу заметки Б. С. Ижболдина. 19.
Б. Николаевский — Ответ Г. Я. Аронсону. 21.
Р. Плетнев — О методах изучения Достоевского. Ответ на статью кн. Н. Трубецкого. 51.
А. Родичева — Письмо в редакцию. 38.
Н. С. Тимашев — Ответ Д. Ю. Далину. 21.
А. Тыркова-Вильямс — По поводу статьи И. Ильина «Революция» 57.
Б. Филиппов и Г. Струве — О рецензии Георгия Иванова на «Собрание сочинений» Осипа Мандельштама. 45.
Е. Юрьевский — О советской «бюрократии». 11.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Неизданные письма А. И. Герцена к Н. И. и Т. А. Астраковым. К печати приготовил Л. Л. Домгер. 46, 47, 48, 49, 50, 51.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1943-1958
СТИХИ

Вступительная статья **Романа Гуля**

Издание «Нового Журнала» Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати **Л. Л. Домгер**

Издание «Нового Журнала» Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост» Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «МОСТ» *Цена 3 д. 50 ц.*

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового «Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 1 дол. (10 цент. пересылка), начиная с книги № 26 — 2 дол. (10 центов пересылка).

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» КНИГА 54-я

Содержание: *Борис Пастернак* — Доктор Живаго. *Георгий Иванов* — Посмертный Дневник. *Олег Ильинский* — Письмо из Равенны. СТИХИ: *А. Величковский, Н. Туроверов, И. Чиннов.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *К. Мочульский* — Юность Валерия Брюсова. *П. Ершов* — Стилизация и музей на сцене. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *И. Манухин* — Воспоминания о 1917-18 гг. *Ек. Кускова* — Давно минувшее. *Н. Алексеев* — В бурные годы. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *С. Левицкий* — Н. Н. Страхов. *П. Шпилевой* — Добыча радия в СССР. *М. Вишняк* — К истории февральской революции. *Д. Анин* — Франция на распутье. *А. Зак* — Новые тенденции в американской экономике. *Эрге* — Неправда разума. *Лев Шестов* — Лютер и церковь. *М. Карпович.* Комментарии: Еще о русском мессианизме. ПАМЯТИ УШЕДШИХ: Г. В. Иванов. БИБЛИОГРАФИЯ: *Е. Каннак* — B. Pasternak. Essai d'autobiographie. *В. Варшавский* — Л. Зуров. Марьянка. *Ф. Степун* — В. Яновский. Челюсть эмигранта. *Вяч. Новиков* — С. Каменский. Век минувший. *Д. Шуб* — П. Гарви. Профессиональные союзы в первые годы революции (1917-21).

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» КНИГА 55-я

Содержание: *Бор. Зайцев* — Разговор с Зинаидой. *Н. Берберова* — Мыслящий тростник. — *Л. Ржевский* — Рябиновые четки. *Н. Ульянов* — Солнца свет. *Г. Андреев* — В дни короткого отпуска. СТИХИ: *Георгий Иванов* — Посмертный дневник. *Ирины Одоевцевой, А. Величковского, Ивана Елагина, Д. Кленовского, Вл. Корвин-Пиотровского, Н. Туроверова.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *Роман Гуль* — Победа Пастернака. *М. Коряков* — Термометр России. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Письма М. Горького к Л. Андрееву. А. Седых* — Бальмонт. *Н. Алексеев* — В Толстовском доме. *Вяч. Новиков* — Мои адвокатские воспоминания. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Ю. Денике* — Политический кризис Франции. *М. Вишняк* — Устои демократии в свете новой французской конституции. *С. Волин* — Смоленские документы. *Д. Шуб* — Бакунин, Нечаев и Ленин. *Г. Аронсон* — Из истории фальсификаций в СССР. БИБЛИОГРАФИЯ: *М. Карпович* — С. Л. Франк. Этюды о Пушкине. *Н. Ульянов* — С. Н. Плаутин. Слово о полку Игореве. *С. Зеньковский* — Georg von Rauch. A History of Soviet Russia. *Роман Гуль* — Акелсандр Галин. Израиль. *Петр Ершов* — V. Zavalishin. Early Soviet Writers. *Б. Прянишников* — Н. Хохлов. Право на совесть. *П. Шпилевой* — Soviet Espionage. By D. Dallin. *Ю. Трубецкой.* — С. Прегель. Встреча. — *Книги для отзыва.*

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» КНИГА 56-я

Содержание: *Алексей Ремизов* — Плачужная канава. *Н. Ильинская* — Вовина весна. СТИХИ: *Георгий Иванов* — Посмертный дневник. *Лидия Алексеева, Ирина Одоевцева, Виктор Ляпин.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *В. Александрова* — Тургенев в Америке. *М. Корякков* — Афиногенов и Пастернак. *Ф. Степун* — Б. Л. Пастернак. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *И. С. Ильин* — Революция. *В. Ледницкий* — Вокруг Маклакова. *И. Цитрон* — В. Г. Короленко под судом. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Б. Двинов* — Ленинский Интернационал. *Н. С. Тимашев* — Реформы в советском уголовном праве. *М. Карпович* — Е. Д. Кускова. БИБЛИОГРАФИЯ: *Роман Гуль* — В. Н. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. *М. Карпович* — М. Алданов. Самоубийство. *М. Вишняк* — The Waist-High Culture, by Thomas Griffith.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» КНИГА 57-я

Содержание: Из литературного наследства И. А. Бунина. *Николай Туроверов* — Степь. *Вл. Корвин-Пиотровский* — Два рассказа. *Г. Евангулов* — Кентавр, поэма. *А. Кашин* — В стране дракона. *Ю. Иваск* — Я уеду в Юкатан. СТИХИ: *А. Величковский, А. Гингер, О. Ильинский, С. Лифтон, А. Присманова, Вл. Смоленский, Л. Страховский, И. Чиннов.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *Н. Берберова* — Набоков и его «Лолита». *Н. Ульянов* — Арабеск или Апокалипсис? *П. Ершов* — «Анатэма» Л. Андреева. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *С. Бертенсон* — Письма О. Л. Книппер-Чеховой. *К. Штеппа* — В плену коммунизма. *Н. Алексеев* — В бурные годы. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *М. Вишняк* — Заключительное слово. *Д. Шуб* — Ленин и Вильгельм II. *Ю. Денике* — Партия без идеологии? *М. Карпович* — К друзьям и читателям «Нового Журнала». ПАМЯТИ УШЕДШИХ: *Ю. Д.* — И. Г. Церетели. БИБЛИОГРАФИЯ: *В. Сечкарев* — D. Tschizewskij.Das Heilige Russland. *Е. Каннак* — Rose Celli. L'art de Tchekhov. *Н. Лосский* — С. Левицкий. Трагедия свободы. *Е. Каннак* — Раиса Блох и Михаил Горлин. Избранные стихотворения. *Р. Плетнев* — Н. Арсеньев. Преображение мира и жизни. *М. Вишняк* — Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 1917-21 г.г. *Письма в редакцию.*